

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Azar Nafisi

Things I've Been Silent About

Memories of a Prodigal Daughter

Азар Нафиси

О чем я молчала

Мемуары блудной дочери

**LIVE
BOOK**

Москва
2024

УДК 82-3
ББК 84
Н 34

*Published by arrangement with Random House,
a division of Penguin Random House LLC.*

THINGS I'VE BEEN SILENT ABOUT

Copyright © 2008, Azar Nafisi

All rights reserved

Дизайн обложки Виктории Лебедевой

Фотография на с. 231 © Garofalo/Paris Match/Scoop,

остальные фотографии из личного архива автора.

В оформлении обложки также использовано изображение

из архива Shutterstock

Нафиси, Азар.

Н 40 О чем я молчала : мемуары блудной дочери : [пер. с англ.
Ю. Змеевой]. — Москва : Лайвбук, 2024. — 560 с. : ил.

ISBN 978-5-907784-17-8

Красочные, полные запоминающихся деталей мемуары Азар Нафиси, дочери мэра Тегерана, рисуют драматичную историю одной семьи на фоне политических потрясений в Иране. Отец Нафиси, блестящий политик, оказывается в тюрьме, а через какое-то время после освобождения уходит из семьи. Мать, с которой у Нафиси складываются крайне непростые отношения, избирается в парламент страны. Но из-за революционных событий она вынуждена отказаться от должности и, как все иранские женщины, надеть хиджаб. Пока страна раздираема политической борьбой, героиня взрослеет. Она учится, с упоением читает Фирдоуси и Набокова, влюбляется, выходит замуж, разводится, заводит новые отношения, преподает в университете, ведет подпольный литературный кружок, наконец эмигрирует. Ее будни — невероятный клубок радости, боли, страха, разочарований и надежд. И главный вопрос, которым задается Нафиси: какова цена свободы в стране, где свободы с каждым днем становится все меньше и меньше?

УДК 82-3
ББК 84

© Azar Nafisi, 2008

© Змеева Ю. Ю., перевод на русский язык, 2024

© Оформление. Livebook Publishing LTD, 2024

ISBN 978-5-907784-17-8

Любые искажения фактов — лишь искажения памяти.

Некоторые события, имена и характерные детали изменены; в отдельных сценах диалоги прописаны с целью достижения драматического эффекта.

В память о моих родителях
Ахмаде и Незхат Нафиси

Моему брату Мохаммаду Нафиси и моей семье:
Биджану, Негар и Даре Надери

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПРОЛОГ	11
--------	----

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | СЕМЕЙНЫЕ МИФЫ

ГЛАВА 1	<i>Саифи</i>	25
ГЛАВА 2	<i>Проклятые гены</i>	37
ГЛАВА 3	<i>Как я научилась лгать</i>	55
ГЛАВА 4	<i>Кофе и гости</i>	72
ГЛАВА 5	<i>Семейные узы</i>	87
ГЛАВА 6	<i>Святой человек</i>	97
ГЛАВА 7	<i>Смерть в семье</i>	111

ЧАСТЬ ВТОРАЯ | УРОКИ И УЧЕБА

ГЛАВА 8	<i>Отъезд из дома</i>	125
ГЛАВА 9	<i>История Рудабе</i>	139
ГЛАВА 10	<i>Скотфорт-хаус</i>	157
ГЛАВА 11	<i>Политика и интриги</i>	170
ГЛАВА 12	<i>Мэр Тегерана</i>	185
ГЛАВА 13	<i>Репетиция революции</i>	202

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ | ОТЕЦ В ТЮРЬМЕ

ГЛАВА 14	<i>Обычный преступник</i>	229
ГЛАВА 15	<i>Тюремные дневники</i>	240
ГЛАВА 16	<i>Карьеристка</i>	254
ГЛАВА 17	<i>Подходящая партия</i>	272
ГЛАВА 18	<i>«Такие» женщины</i>	290
ГЛАВА 19	<i>Супружеская жизнь</i>	308

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ | БУНТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ

ГЛАВА 20	<i>Счастливое семейство</i>	335
ГЛАВА 21	<i>Демонстрации</i>	342
ГЛАВА 22	<i>Революция</i>	355
ГЛАВА 23	<i>Другая другая женщина</i>	377
ГЛАВА 24	<i>Когда дом перестал быть домом</i>	384
ГЛАВА 25	<i>Чтения и бунты</i>	402
ГЛАВА 26	<i>Разрушенные мечты</i>	416
ГЛАВА 27	<i>Отец уходит</i>	429
ГЛАВА 28	<i>Богиня дурных новостей</i>	460
ГЛАВА 29	<i>В реальном мире</i>	483
ГЛАВА 30	<i>Последний танец</i>	512
ГЛАВА 31	<i>Опасности любви</i>	520
БЛАГОДАРНОСТИ		529
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА		536
ВАЖНЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ ИРАНА XX ВЕКА		538
ГЛОССАРИЙ		548
ОБ АВТОРЕ		558

ПРОЛОГ

Большинство мужчин изменяют женам, чтобы наслаждаться обществом любовниц. Мой отец изменял матери, чтобы сохранить счастливую семейную жизнь. Мне было его жаль, и я взяла на себя задачу заполнить пустоты в его жизни. Я собирала его стихи, выслушивала его жалобы, помогала выбирать подарки — сперва для матери, затем для женщин, в которых он влюблялся. Позже он утверждал, что его отношения с большинством этих женщин не носили сексуального характера, что он жаждал теплоты и принятия, которые они ему дарили. Принятия! Это от родителей я узнала, насколько смертельной может быть жажда принятия.

В нашей семье истории любили. Отец оставил после себя полторы тысячи страниц дневников, книгу изданных мемуаров и мемуары неизданные. Последние были куда интереснее. Мать не писала мемуаров, но рассказывала истории из прошлого

и заканчивала их словами «но я ничего не сказала, я все время молчала». Она была уверена, что никогда не болтает о своей личной жизни, хотя на са-



*Мои отец и мать,
Ахмад и Незхат Нафиси*

мом деле говорила только об этом, хоть и иносказательно. Она бы ни за что не одобрила моего решения написать мемуары, тем более — о семье. А я и не думала, что однажды напишу книгу о своих родителях. В иранской культуре сильна установка никогда не говорить о частной жизни: мы не полощем грязное белье на публике, как сказала бы мама, да и частная жизнь представляется чем-то неинтересным, о чем писать не стоит. Вот назидательные истории — другое дело, как те мемуары, которые в итоге издал мой отец. В них он описал картонную версию себя. Я же больше не верю, что мы можем молчать. Мы никогда на самом деле не молчим. Так или иначе — все равно выражаем случившееся с нами, становясь теми людьми, которыми являемся.

Отец завел дневник, когда мне было четыре года. Он адресовал его мне и отдал несколько десятилетий спустя, когда у меня уже были свои

дети. На первых нескольких страницах говорилось о том, как важно быть добрыми и учтивыми по отношению к окружающим. Затем начинались жалобы на мать. Отец жаловался, что она точно забыла, что он когда-то ей нравился и она радовалась его обществу. Я — его единственное утешение и опора, писал он, хотя я была еще ребенком. Он советовал мне искать в муже настоящего друга и спутника, если я когда-нибудь, разумеется, выйду замуж. Описывал один случай, когда они с матерью ссорились, а я, как «ангел мира», пыталась отвлечь их и развлечь. Моя эмпатия была опасной, как любая тайная деятельность: этот грех мне мать так и не простила. Мы с братом пытались угодить им обоим, но что бы мы ни делали — притом, что старались изо всех сил, — родители всегда оставались недовольны. Мать отворачивалась и смотрела вдаль, многозначительно кивая невидимому собеседнику и словно спрашивая: ну что я вам говорила? Видите? Она будто знала про будущую неверность отца задолго до того, как мысль об измене пришла в голову ему самому. Она воспринимала ее как свершившийся факт и, кажется, испытывала извращенное удовольствие, когда ее предположения сбывались.

Когда мать тяжело заболела — это случилось через несколько лет после того, как моя собственная семья уехала из Тегерана в Штаты, — мне сказали, что она отказывалась ехать в больницу, пока

не поменяют замки на дверях ее квартиры. Бормотала, что «этот тип и его потаскуха» вломятся, как уже было раньше, и вынесут все, что осталось от ее имущества. «Этим типом и его потаскухой» был мой отец и его вторая жена, которую мать винила во всех своих несчастьях, включая таинственное исчезновение коллекции золотых монет и двух сундуков с серебром. Ей, разумеется, никто не верил. Но мы привыкли к маминым выдумкам и не обращали на них внимания.

Ее окружали призраки давно ушедших людей — ее матери, отца, первого мужа, — и в их появлении она винила нас. В конце концов мы все оказались пленниками ее вымышленного мира. Она требовала преданности, но не себе, а своей истории.

Выдумки отца были проще; по крайней мере, так мне долго казалось. Он общался с нами посредством рассказов о своей жизни, жизни своей семьи и Ирана — он был почти одержим этой темой и черпал вдохновение из классических произведений персидской литературы. Так я познакомилась с литературой и узнала об истории своей страны. Он также рассказывал свою версию маминых выдумок, и нас постоянно бросало от одного призрачного мира к другому.

Всю жизнь мы с братом жили в плену вымысла, который внушили нам родители, — вымысла о самих себе и окружающих. И в каждой из версий положительным героем был тот, кто ее рассказы-

вал. Я чувствовала, что меня обманули, ведь нам, детям, никогда не позволяли иметь свою историю. Только теперь я понимаю, что их история была и моей тоже.

Когда умирают близкие, наш мир делится надвое. Есть мир живых, к которому мы так или иначе, рано или поздно, соглашаемся принадлежать, а есть царство мертвых, которое, как воображаемый друг, враг или тайная любовница, постоянно манит, напоминая об утрате. Что есть память, если не призрак, притаившийся в углах сознания и прерывающий обычное течение жизни, мешающий спать напоминаниями об острой боли или удовольствии, о том, о чем мы когда-то промолчали или что мы когда-то проигнорировали? Нам не хватает не только присутствия мертвых и их чувств к нам, но и всего того, что они позволяли нам испытывать по отношению к ним и себе.

Что позволяла нам чувствовать мать? Я могу справиться со своей утратой, лишь задав себе этот вопрос. Порой я размышляла, всегда ли она была для меня потеряна или я просто слишком сильно сопротивлялась ей, когда она была еще жива, и поэтому не замечала, что еще не потеряла ее. Она так трогательно рассуждала о себе и своем прошлом, будто сама была выдумкой, занявшей тело другой женщины, которая порой дразняще выглядывала на поверхность, мерцая, как светлячок. Теперь

я пытаюсь вспомнить эти светлячковые проблески. Как они характеризовали нашу мать и нас?

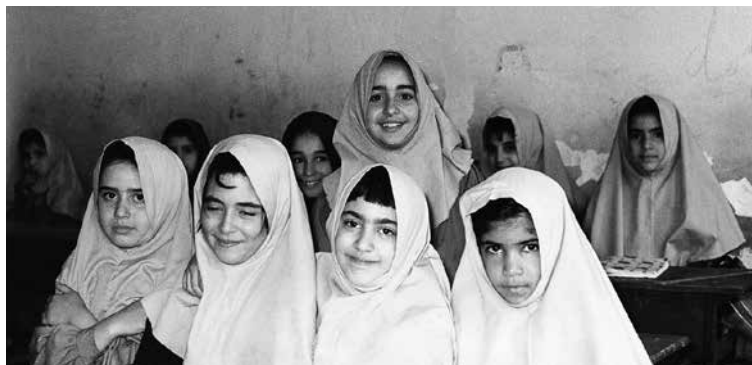
В последние годы жизни в Иране я зациклилась на воспоминаниях матери. Я даже забрала у нее несколько фотографий. Казалось, только так я могу проникнуть в ее прошлое. Я стала воровкой памяти и собирала ее снимки, фотографии старого Тегерана, где она выросла, вышла замуж и родила детей. Мое любопытство переросло в одержимость. Но это не помогло. Фотографии, описания, в какой-то момент даже факты — мне этого было мало. Определенные детали приоткрылись, но остались безжизненными фрагментами. А я искала просветы; искала то, о чем умолчали. Прошлое для меня — археологические раскопки. Просеивая гравий, натыкаешься то на один фрагмент, то на другой, наклеиваешь ярлыки, записываешь, где это было найдено, отмечаешь время и дату находки. Я искала не только главное, но и нечто одновременно более или менее осязаемое.

Я не задумывала эту книгу как политический или общественный комментарий или назидательную историю из жизни. Я хочу рассказать об одной семье, жившей на фоне турбулентного периода в политической и культурной истории Ирана. Об этом времени — между рождением моей бабушки в начале двадцатого века и рождением моей дочери в его конце — уже написано достаточно.

В этот промежуток случились две революции, сформировавшие современный Иран и вызвавшие так много расколов и противоречий, что турбулентность, которая по природе своей является преходящей, стала для иранцев единственной постоянной величиной.

Бабушка родилась, когда Ираном правила неустойчивая абсолютистская монархия. В стране главенствовали суровые религиозные законы, разрешавшие побивание камнями, полигамию и браки с девятилетними девочками. Женщинам редко позволялось даже выходить из дома; если они и выходили, то только с сопровождающим и покрытые с головы до ног. Женских школ не было, но знать нанимала дочерям частных репетиторов. Однако у этой истории была другая сторона — бледные проблески будущего, проявлявшего себя через культурные и политические кризисы, которым предстояло разрушить старые порядки. При бабушке случилась Конституционная революция 1905–1911 годов: первый переворот такого рода на Ближнем Востоке, открывший дорогу современному Ирану. Благодаря ей возникли новые прослойки общества: прогрессивное духовенство, меньшинства, интеллектуалы, отдельные представители знати и женщины, которые начали поддерживать революционеров, организовывать подпольные ячейки и требовать доступ к образованию. В 1912 году американский финансовый

консультант иранского правительства Морган Шустер поражался скачку, который совершили иранские женщины за столь краткий период. Они добились новых свобод, на обретение которых у женщин Запада ушли годы и даже века. «С 1907 года персидские женщины почти в одночасье стали самыми прогрессивными, если не сказать радикальными, среди женщин мира, — говорил он. — Не важно, что это противоречит традициям веков. Это факт».



Моя дочь Негар (вторая слева) и ее одноклассницы в Тегеране. Всем школьницам после революции предписывалось носить хиджаб

Как описать неустойчивую и раздираемую противоречиями природу детства и юности моей матери, пришедшую на середину 1920-х — 1930-х годов? К тому времени возможности женщин расширились до такой степени, что они могли появляться на улице без покрывала, посещать

французскую школу, встретить будущего мужа и влюбиться в него, танцуя с ним на свадьбе. Два десятилетия тому назад подобное было бы невозможно. Но у этого времени имелась еще одна характерная примета — нежелание отказываться от побежденного прошлого. Когда в 1936 году Реза-шах Пехлеви, пытаясь ускорить процесс модернизации, выпустил мандат, согласно которому женщин обязали ходить с непокрытой головой, а традиционный мужской костюм попал под запрет, моя бабушка со стороны отца, как и многие иранские женщины, отказалась выходить из дома. В 1941 году постановление отозвали, но память о нем до сих пор является причиной раздора и вызывает вопросы.

В моем детстве и юности — в 1950-е и 1960-е — мы уже воспринимали образование, книги, вечеринки и кино как должное. Мы видели, как женщины участвуют во всех сферах жизни, занимают управляющие посты в парламенте (в числе парламентариев была и моя мать), становятся министрами. А потом, в 1984 году, моя дочь, рожденная через пять лет после Исламской революции, стала свидетельницей возвращения законов, отмененных при моей бабушке и матери. Ее заставляли носить платок в первом классе и наказывали за непокрытую голову на улице. Поколению моей дочери постепенно предстояло найти свой способ мужаться и сопротивляться.

В этой книге меня интересует не общий пересказ исторических фактов, а хрупкие переплетения, места, где моменты индивидуальной частной жизни резонируют с общей, универсальной историей и становятся ее отражением.

Эти переплетения частного и общего волновали меня, когда я начала писать свою первую книгу — об Иране, о Владимире Набокове. Мне хотелось обсудить романы Набокова в свете сложных времен, когда я их читала. Это было невозможно не только потому, что я не могла откровенно писать о политических и общественных реалиях жизни в Исламской республике Иран, но и потому, что государство табуировало личный и частный опыт.

Примерно в это время я начала составлять список в дневнике и назвала его «О чем я молчала». В этом списке значились следующие пункты: *влюбляться в Тегеране. Ходить на вечеринки в Тегеране. Смотреть братьев Маркс в Тегеране. Читать «Лолиту» в Тегеране.* Я писала о репрессивных законах и казнях, обо всем в общественной и политической жизни, что вызывало мое отвращение, и в конце концов стала писать о личном предательстве, в которое оказались втянуты я и мои близкие так, как я даже представить себе не могла.

Молчание бывает разным: к нему принуждают граждан тиранические государства, они крадут воспоминания, переписывают историю, навязы-

вают санкционированную государством идентичность. Бывает молчание свидетеля, предпочитающего игнорировать или не говорить правду, молчание жертв, порой становящихся соучастниками совершенных против них преступлений. Есть молчания, касающиеся нас самих, личных мифов, и правила этого молчания мы насаждаем в реальной жизни. Задолго до моего понимания, как безжалостный политический режим насаждает гражданам собственное представление о том, какими они должны быть, крадет их личность и самоопределение, я пережила то же самое в своей личной жизни, в своей семье. Задолго до того, как я поняла, что значит быть жертвой или соучастницей преступлений государства, я на более личном уровне испытала стыд соучастия. В каком-то смысле эта книга — ответ моему внутреннему цензору и инквизитору.

Вероятно, нет более распространенного нарратива, чем история об умерших родителях и острая нужда заполнить пропасть, возникшую после их смерти. Этот процесс остается незавершенным — по крайней мере, таким он остался для меня, — зато позволяет *понять*. Понимание необязательно приносит покой, зато вызывает чувство, что этот нарратив — возможно, единственный способ признать наших родителей и в том или ином виде вернуть их к жизни, наконец освободившись и начав самостоятельно очерчивать границы своей истории.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЕМЕЙНЫЕ МИФЫ

И обещенен мой наряд
Растущим чувством крыл ¹.

Эмили Дикинсон
«И кокон жмет»



¹ Пер. В. Марковой и И. Лихачева. — Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.

Саифи

Я ЧАСТО СПРАШИВАЛА СЕБЯ, не выдумала ли мать историю о том, как встретила своего первого мужа. Если бы не фотографии, я бы усомнилась в реальности его существования. Подруга однажды заметила, что мать обладала «достойным восхищения умением сопротивляться нежелательному», а поскольку для нее нежелательным было почти все в жизни, она придумывала истории о себе и верила в них столь безоговорочно, что мы начинали сомневаться в том, в чем сами были уверены.

В ее воображении их ухаживание началось с танца. Мне же казалось более вероятным, что его родители попросили ее руки у ее отца и это был брак по расчету между двумя видными семействами, как было принято в Тегеране 1940-х годов. Но за годы мать ни разу не изменила свою историю, чего не скажешь о других ее рассказах. Итак, они познакомились на свадьбе ее дяди. Всякий раз она непременно упоминала, что утром

надела крепдешиновое платье с цветочным узором, а к вечеру переоделась в атласное, и весь вечер они протанцевали. «После того, как ушел мой отец, — говорила она и тут же уточняла, — поскольку в присутствии отца никто не осмеливался со мной танцевать». На следующий день Саифи попросил ее руки.

Саифи! Не помню, чтобы в нашем доме когда-либо произносили его фамилию. Мы звали его «мамин первый муж», соблюдая должную дистанцию, или называли полным именем — Саиф-ол-Молк Байят. Но для меня он всегда был Саифи, добряком Саифи, который являлся частью нашей повседневности. Он появлялся в нашей жизни с той же непринужденностью, с какой стоял за маминой спиной на их свадебных фотографиях, возникал неожиданно и тихонько увлекал ее прочь. У меня сохранились две фотографии со дня их свадьбы — больше, чем со свадьбы моих родителей. Саифи с его светлыми волосами и каре-зелеными глазами на них кажется спокойным и добродушным, а мать, изображенная в центре группового портрета, застыла, как одинокий букет посреди свадебного стола. Он кажется беззаботно и безоговорочно счастливым, но возможно, я ошибаюсь, и лицо его на самом деле выражает не надежду, а полную безнадежность. Ведь у него тоже есть тайны.

В ее истории меня всегда что-то настораживало, даже в детстве. Она казалась не столько не-

правдоподобной, сколько неестественной. Обычно, глядя на людей, мы понимаем, на что те способны, причем не только сейчас, но и в принципе. Я не говорю, что моя мать не умела танцевать. Все намного хуже. Она ни за что не пошла бы танцевать, даже если бы умела делать это очень хорошо. Ведь танец подразумевает удовольствие, а она очень гордилась тем, что отказывает себе в удовольствиях и прочем баловстве.

Все детство и юность и даже сейчас, в этом городе, таком далеком от Тегерана, каким я его помню, тень этой призрачной женщины, которая танцевала, улыбалась и любила, вторгается в воспоминания о женщине, которую я знала как свою мать. Мне почему-то кажется, что, если бы я могла понять, когда она перестала танцевать — когда перестала *хотеть* танцевать, — я бы нашла ключ к ее загадке и наконец



*Первая свадьба
моей матери с Саифи*

примирилась бы с ней. Ведь с самого начала, если верить ее историям, я ее отталкивала.

У меня есть всего три фотографии матери и Саифи. Две — с их свадьбы, но меня больше интересует третья, маленькая. На ней они сидят на скале на пикнике, смотрят в камеру и улыбаются. Она слегка приобнимает его, как делают близкие люди, которым необязательно крепко друг



*Мать и Саифи
на пикнике*

за друга держаться. Их словно тянет друг к другу. Глядя на эту фотографию, я вижу, что эта молодая и, вероятно, еще не бесчувственная женщина, может расслабиться.

В этой фотографии я вижу чувственность, которой нам всегда не хватало в нашей матери в реальной жизни. Когда, спрашивала я, когда ты закончила старшие классы? Через сколько лет после этого вышла за Саифи? Где он работал? Как ты познакоми-

лась с папой? Такие простые вопросы, а ни на один из них она толком не ответила. Она была слишком погружена в свой внутренний мир, всякие детали ее не волновали. О чем бы я ее ни спрашивала, она рассказывала мне одни те же заготовленные

истории, которые я знала наизусть. Позже, уже уехав из Ирана, я попросила одну из своих студенток взять у нее интервью и подготовила конкретные вопросы, но получила те же стандартные ответы. Ни дат, ни конкретных фактов — ничего, что выходило бы за рамки имеющегося у нее сценария.

Несколько лет назад на семейном собрании я встретила одну приятную женщину, австрийку, жену нашего дальнего родственника, которая присутствовала на свадьбе моей матери и Саифи. Она хорошо запомнила эту свадьбу, потому что у невесты таинственным образом пропало свидетельство о рождении, что вызвало панику и переполох (в Иране браки и рождение детей записываются в свидетельстве о рождении). С лукавой улыбкой она добавила, что позже выяснилось, что невеста была на несколько лет старше жениха. В новом мамином свидетельстве о рождении ничего не сказано о первом браке. Согласно этому документу, выданному взамен якобы утерянного, она родилась в 1920 году. Но сама она настаивала, что родилась в 1924, а четыре лишних года к свидетельству приписал ее отец, так как хотел раньше отдать ее в школу. А вот мой отец рассказывал, что, оформляя новое свидетельство о рождении — оно понадобилось для получения водительских прав, — мать вычла из своего настоящего возраста четыре года. Когда ее не устраивали факты,

она ни перед чем не останавливалась, чтобы сделать все по-своему.

Однако некоторые факты подтверждены документально. Так, ее свекор Сахам Солтан Байят был богатым землевладельцем, на чьем веку шахская династия Каджаров (1794 – 1925) сменилась династией Пехлеви (1925 – 1979). При смене власти он смог не только выжить, но и достичь процветания. Мать иногда хвасталась, что по материнской линии они с Саифи были родственниками и оба являлись потомками шахов из династии Каджаров. В моем детстве и юности, в 1950-е и 1960-е годы, никто не гордился происхождением от Каджаров, которых в официальных учебниках истории называли символом отжившей абсолютистской системы. А отец лукаво напоминал, что все иранцы так или иначе произошли от Каджаров; попробуй найти тех, кто от них не произошел, говорил он. Каджары правили страной 131 год; у каждого шаха было огромное число жен и детей. Подобно царям прошлого, они выбирали жен независимо от социального положения и класса: брали тех, кто приглянулся. Принцессы, дочери садовников, бедные деревенские девушки — коллекция была разнообразной. У одного из Каджаров, Фетх Али-шаха (1771 – 1834), по слухам, было сто шестьдесят жен. Мой отец, будучи человеком думающим, обычно добавлял, что это всего лишь часть истории; поскольку историю пишут победители,

особенно в нашей стране, все, что говорят о Каджарах, необходимо делить на несколько — ведь именно в эпоху их правления началась модернизация Ирана. Но они проиграли, поэтому про них можно рассказывать любые сказки. Даже в детстве я чувствовала, что мать упоминает о связи с Каджарами скорее чтобы бросить тень на свою нынешнюю жизнь с отцом, чем чтобы похвастаться прошлым. Ее снобизм был выборочным, а предрасудки действовали лишь в отношении правил и законов, существовавших в ее собственном личном царстве.

Свекор моей матери, Сахам Солтан, упомянут в учебниках истории и политических мемуарах. Где-то ему отведена всего одна строчка, где-то — целый абзац. Когда-то он был депутатом и вице-президентом парламента, дважды, в начале 1940-х — министром финансов, а на несколько месяцев — с ноября 1944 по апрель 1945 — даже становился премьер-министром. Если верить моей матери, именно тогда они с Саифи поженились. Хотя во Второй мировой войне Иран объявил нейтралитет, Реза-шах Пехлеви сделал ошибку, открыто симпатизируя немцам. В 1941 году союзники — Великобритания и особенно СССР, у которых имелись свои геополитические интересы, — оккупировали Иран, заставили Реза-шаха отречься от короны, сослали его в Йоханнесбург, а на трон посадили его молодого и более

податливого сына Мохаммеда Резу. Вторая мировая война так всколыхнула Иран, что в промежутке между 1943 и 1944 годом в стране сменились четыре премьер-министра и семь министров финансов.

О том, был ли ее свекор хорошим премьер-министром или плохим, мать ничего не знала, да и знать не хотела. Важнее было, что она воспринимала его как фею-крестную в своей сказочной жизни, предшествующей деградировавшему настоящему. Так я узнавала о многих иранских общественных деятелях — не из учебников истории, а по рассказам родителей.

Была ли мамина жизнь с Саифи на самом деле такой прекрасной, доподлинно неизвестно. Они жили в доме Сахама Солтана в тот же период, когда его первая жена умерла и он женился на женщине намного младше него, которая, по словам матери, была невыносимой. В отсутствие хозяйки дома эту почетную обязанность взяла на себя моя мать. «В первый вечер все глаз с меня не сводили», — рассказывала она, в подробнейших деталях описывая платье, которое надела тогда, и эффект, произведенный на гостей ее безупречным французским. В детстве я представляла, как она спускается по лестнице в шифоновом платье; черные глаза блестят, волосы уложены в безукоризненную прическу.

«В тот первый вечер приходил доктор Миллсπο... Как жаль, что вы этого не видели!» Доктор Миллсπο, глава Американской миссии в 1940-е, отправился в Иран по заданию администрации Рузвельта, а затем и Трумэна, с целью наладить работу современных финансовых институтов. Мама никогда не уточняла его национальность, и я почему-то долго считала его бельгийцем. Уже потом, вспоминая рассказы матери об этих званых ужинах, я с ошеломлением поняла, что на них никогда не присутствовал Саифи. Присутствовали его отец, доктор Миллсπο и другие персоны, занимавшие важное положение в обществе, но не связанные с матерью лично. А где же был Саифи? В этом крылась трагедия всей ее жизни: мужчина рядом был ей на самом деле не нужен.

Мой отец, пытаясь заставить меня и брата молчать о навязанной нам матерью версии реальности, а может, желая оправдать свое потакание ее выдумкам, раз за разом повторял, что в доме свекра мать жила как пленница, а хозяйничала там на самом деле Ходжи, властная домработница. В руках суровой Ходжи находились даже ключи от кладовки, и матери приходилось лестью и уговорами добиваться, чтобы та выдала ей отрез ткани на красивое платье. Отец говорил, что в доме свекра к ней относились как к нежеланной гостье, а не как к полноправной хозяйке.

Мать рисовала себя счастливой юной невестой, гордой героиней, которую завоевал прекрасный принц. Отец изображал ее жертвой мелочной жестокости других людей. Оба хотели, чтобы мы подтвердили их версии. Мать предъявляла прошлое в доказательство ущербности настоящего, а отец стремился оправдать ее тиранию над нами, пробудив в нас сочувствие. Ему было трудно соперничать с Саифи, который, во-первых, уже умер, во-вторых, отличался красотой и, в-третьих, был сыном премьер-министра и мог бы стать кем угодно, как казалось матери. Ум и доброта отца, его перспективы и амбиции — он занимал многообещающую директорскую должность в Министерстве финансов, — даже то, что они с матерью происходили из двух разных ветвей одной и той же семьи — все это казалось вторичным по сравнению с тем, что, по мнению матери, мог дать ей Саифи. Она никогда не радовалась отцовским успехам в обществе, будто они были не супругами, а соперниками.

Проблема заключалась не в том, что она рассказывала, а в том, о чем умалчивала. Отец заполнил пробелы: Саифи, первенец в семье, любимчик, страдал от неизлечимой болезни — хронического нефрита, и врачи поставили на нем крест. Один посоветовал прожить последние годы жизни в свое удовольствие. Велел семье баловать сына, разрешать ему все. Развлекайте его, как можете, сказал

врач, ведь у него осталось так мало времени. И когда его семья делала предложение моей матери, ей никто не сказал, что он умирает. Она узнала об этом в брачную ночь. Отец говорил, что у них никогда не было близости. Вместо этого в течение двух лет она выхаживала больного мужа, глядя, как каждый день тот становится ближе к смерти. Такой была любовь всей ее жизни, мужчину, которого она приводила нам в пример, напоминая о нашей несостоятельности!



Моя мать

Бывало, она заводила свою шарманку про Саифи, на лице у нее появлялось свойственное ей отсутствующее выражение, и мне хотелось встряхнуть ее и сказать: да нет же, все было не так! Но я, разумеется, не говорила. Думал ли он о том, что с ней станет, когда она узнает о его болезни, что станет с ней, когда он умрет? Мать была слишком гордой и упрямой; правда ее не интересовала. Она превратила реальное место и историю в фантазию собственного сочинения. С тех пор, как я себя помню, мы с братом и отцом пытались понять, чего именно она от нас добивается.

Мы все пытались отправиться в ее вымышленный мир, туда, куда вечно смотрел ее отсутствующий взгляд, словно проникавший сквозь стены настоящего дома. Меня пугали не ее вспышки ярости, а эта вечная внутренняя мерзлота, куда мы никогда не могли пробиться. Пока она была жива, я избегала ее всеми силами, презирала и не понимала, в каком разочаровании и одиночестве ей приходилось жить и как похожа она была на множество других женщин, о которых ее лучшая подруга Мина с ироничной улыбкой говорила: «Еще одна умная женщина, чья жизнь прошла напрасно».

Проклятые гены

МАТЬ часто повторяла, что с самого рождения я ее отторгала. Появившись на свет, я тут же кашлянула кровью, и все думали, что я умру. Она любила рассказывать, как в младенчестве я бросала грудь и позже отказывалась от еды, соглашаясь лишь когда мне начинали грозить уколами или повергавшей меня в ужас клизмой. Она не разрешала мне есть огурцы и почему-то орехи. Однажды влила в меня столько рыбьего жира, что я покрылась сыпью. Когда мы с братом заболели скарлатиной, нас сорок дней продержали в темной комнате: мать считала, что от света больные скарлатиной дети могут ослепнуть. Позже, уже будучи взрослой, я иногда рассказывала, как однажды утром она дала мне столько виноградного сока, что меня стошнило. Потом я тридцать лет не могла есть виноград, пока однажды дома у друга не уронила пару виноградин в бокал с вином и не обнаружила, как приятно расплющивать их зубами.

Мы часто ссорились из-за моих игрушек, которые мать запирала в чулане. Она всегда убирала именно мои игрушки и иногда доставала и разрешала мне с ними играть, но недолго, а потом снова прятала. У меня была маленькая куколка, которая умела ползать на четвереньках, и любимый зайчик, которого мамина подруга Монир-джун привезла из Парижа. Зайчик играл на барабане, был белый и пушистый, но из-за барабана обнять и погладить его не получалось. Как же мне нравилась мягкая белая шерстка этого зайчика-недотроги! Уже когда я уехала из дома, мать продолжала пополнять коллекцию кукол, уверяя, что однажды отдаст ее мне. А когда она умерла, этих кукол никто не смог найти. Они пропали вместе с ее редкими антикварными коврами, двумя сундуками серебра, золотыми монетами, фарфором, оставшимся с первого брака, и почти всеми драгоценностями.

Когда мне впервые разрешили поиграть с одной из моих любимых кукол — голубоглазой, фарфоровой, с длинными светлыми волосами в бирюзовом платье, — я стала подбрасывать ее в воздух и ловить, и в конце концов она упала на землю, и ее лицо разбилось. В последующие годы я не раз буду терять или уничтожать самые дорогие для меня вещи, особенно те, что подарила мать. Кольца и серьги, антикварные лампы, фигурки — я все их прекрасно помню. Потеря этих объектов — что она для меня значила? Может, я просто была

таким человеком — беспечным, теряющим людей и вещи?

Наше первое настоящее столкновение лбами произошло, когда мне было четыре года. Мы поспорили, где будет стоять моя кровать. Я хотела поставить ее к окну: мне нравилось это окно с большим подоконником, где можно было рассадить кукол и разложить кукольный фарфоровый сервиз. Мать же хотела поставить кровать у стены рядом со шкафом. Она то уступала мне, то снова начинала настаивать на своем изначальном плане. Однажды я вернулась домой от наших соседей-армян, с чьей дочкой дружила — с этой робкой четырехлетней девочкой мы были неразлучны, — и обнаружила, что мать придвинула кровать обратно к стене. Тем вечером я безутешно плакала и отказалась от ужина. В другой день она бы заставила меня поесть, но тогда сделала исключение, и я наплакалась и уснула.



*Я очень любила
эту фарфоровую куклу,
но разбила ее, как
только мне разрешили
с ней поиграть*

На следующее утро я проснулась в дальнем от окна углу, который ненавидела, и слезы

негодования брызнули из глаз. Пришел отец и, улыбнувшись, сел на кровать. У нас с отцом был ритуал: по вечерам он приходил и рассказывал мне сказку на ночь. Но в то утро принес мне угощение. Он поставил на прикроватный столик маленькую фарфоровую тарелочку с шоколадными конфетами и сказал, что если я буду хорошо себя вести и улыбнусь самой широкой своей улыбкой, он откроет мне секрет. Какой секрет, спросила я? Грустным девочкам, которые хмурят лбы, секреты знать не положено, отвечает он. Но я упряма и не подчиняюсь ему: он должен открыть мне секрет просто так. Ладно, отвечает он, все равно ты улыбнешься, когда услышишь мой план.

Давай придумаем кое-что новое, с видом заговорщика говорит он. Будем выдумывать свои истории. Какие, спрашиваю я? Свои собственные; любые. Я так не умею, отвечаю я. Нет, умеешь; подумай, что тебе больше всего хочется, и сочини историю об этом. Ничего мне не хочется, отвечаю я. А он говорит: может, ты хочешь передвинуть кровать к окну, но знаешь ли ты, чего хочет твоя кровать? Яжимаю плечами. А он говорит: давай сочиним историю о маленькой девочке и ее кровати... Слышала когда-нибудь о говорящей кровати?

Так и возник новый ритуал: с того самого дня у нас с отцом появился свой тайный язык. Мы сочиняли истории, в которых воплощались наши

чувства и потребности, и строили свой мир. Иногда эти истории были самыми простыми и бытовыми. Когда я чем-то заслуживала его неодобрение, он выражал это в виде истории, например так: «Жил-был один человек, который очень любил свою дочку, но когда та пообещала не драться со своей няней и не сдержала обещание, он очень обиделся...» Постепенно у нас появились другие тайные способы коммуникации: когда я начинала плохо себя вести в обществе, в знак предупреждения отец прикладывал к носу указательный палец. Если мне надо было запомнить что-то важное, я семь раз ударяла себя пальцем по носу, каждый раз повторяя, что должна сделать, — этим методом я пользуюсь до сих пор. В нашем тайном мире для моей матери не было места. Так мы мстили ей за тиранию. Потом я узнала, что в вымышленном мире всегда можно укрыться; там я могу не только придвинуть кровать к окну, но и вылететь на кровати в окно и отправиться в тайное место, куда закрыт вход всем, даже моей матери, и где никто не сможет меня контролировать.

*Я в пять лет*

В начале 1990-х годов мой отец опубликовал три детских книги на основе классических текстов. Одной из них был пересказ «Шахнаме», «Книги царей» эпического поэта Фирдоуси. В предисловии к книге отец объясняет, что рассказывал эти истории нам, своим детям, когда нам было три-четыре года, и в дальнейшем продолжил наше обучение, знакомя нас с другими классическими шедеврами персидской литературы: «Маснави» Руми, «Гулистаном» и «Бустаном» Саади и баснями «Калила ва Димна». Он также пишет, что потом мы прочли эти книги уже сами. В предисловии он подчеркивает, что современные иранцы должны больше узнавать о своих предках и их ценностях, и в этом им поможет внимательное чтение «Шахнаме». Говорит, что счастлив, что посредством книги «мы видим, слышим и чувствуем в своем доме Иран; он согревает наши сердца...»

Когда отец говорил о Фирдоуси, голос его становился почтительным. Он учил нас, что к поэтам следует относиться с особым уважением, отличающимся от того уважения, с каким мы относимся к учителям и старшим. Как-то раз, когда я была очень маленькой — мне, наверно, было года четыре, — я попросила отца рассказать мне еще какую-нибудь историю, написанную «господином Фирдоуси». Никакой он не «господин», поправил меня отец. Он — *поэт* Фирдоуси. После этого я еще долго просила рассказывать истории поэта

Фирдоуси. И мое первое представление об Иране сформировалось под влиянием отцовских пересказов «Шахнаме».

Сколько себя помню, родители и их друзья всегда говорили об Иране как о любимом, но непутевом сыне и постоянно спорили, рассуждая о его благополучии. С годами Иран стал для меня парадоксальной сущностью: с одной стороны, это было конкретное место, где я родилась и продолжала жить; я говорила по-персидски и ела иранскую еду. Вместе с тем Иран был чем-то мифическим, символом сопротивления и предательства и местом, возвращающим добродетели и ценности.

Для моей матери другой страны не существовало. Она иногда вспоминала места, где побывала, восхищалась ими, но Иран был ее домом. Отец постоянно размышлял и спорил о том, что значит быть иранцем, но для матери таких проблем не было. Некоторые вещи для нее были неоспоримы. Она впитала «иранство» с генами — оно передавалось ей от предков, как красивые темные глаза, настолько темные, что казались черными, и светло-оливковая кожа. Она могла критиковать иранцев и неодобрительно относиться к некоторым членам своего клана, но в ее восприятии их недостатки не были связаны с Ираном.

Как все иранцы, мать уважала Фирдоуси, но презирала наше увлечение литературой, считая его напрасной тратой времени. Позже я нашла более

интересное объяснение неприязни, которую она испытывала к литераторам: мне пришло в голову, что ей не хотелось иметь конкурентов. Она придумала свой мир и собственную мифологию и с неприятием относилась к тем, кто этим зарабатывал.

Думая об отце, я первым делом вспоминаю его голос. Он звучит в разных местах — на улице, в саду, в машине, в моей комнате, когда он укладывает меня спать. До сих пор чувствую покой, который испытывала, когда он что-то рассказывал мне. Я внимательно слушала, рассказы откладывались у меня в сознании, как не откладывался даже реальный жизненный опыт. Позже отец разбил мне сердце, и поскольку я любила его и доверяла ему, как никому другому, я также обидела его и разбила сердце ему. А истории — они частично реабилитируют его в моих глазах. Лишь эти совместные моменты остались незапятнанными чередой взаимных нападок и предательств.

Я боялась приступов материнской холодности и ее неослабевающих требований, но еще сильнее был неотступный страх потерять отца. Помню, вечерами я сидела у окна и ждала его возвращения, слушала его шаги в коридоре и наконец ложилась спать. Со временем я стала его самой преданной союзницей и защитницей. Мне казалось, что он,

как я, был жертвой тирании матери и потому ни в чем не виноват. Она ненавидела нас за то, что мы сочувствуем друг другу, и иногда из-за этого взрывалась. «Ты, ты с твоими проклятыми генами, как у твоего отца! — говорила она брату, когда ее охватывала ярость. — Вы все дожидаетесь моей смерти, чтобы получить наследство!» Иногда я думала, что, возможно, она права, и мне достались те же проклятые гены.

Мать любила повелевать и требовать, а вот отец заманивал и обманывал, как Том Сойер, заставлявший своих приятелей красить ему забор. Наши с ним отношения всегда были связью двух заговорщиков: когда мы шли по улице и он что-то рассказывал, или когда мы планировали угодить матери или задобрить ее. У нас с отцом был свой тайный мир, нас спланивали общие истории, и эта связь позволяла вырваться из окружающей реальности и перенестись в иные сферы, состоявшие из дразнящих фрагментов, сотканных его голосом.

По пятницам отец будил меня рано утром и вел на долгую прогулку. Чтобы я не жаловалась, приносил мне чашку, наполненную водой из нашего любимого фонтана. Он называл это нашим «особым временем»: он рассказывал истории и иногда останавливался, чтобы купить мороженого. Со временем герои «Шахнаме» стали мне родными, как собственная семья. Я не представляла жизни без

них, и саму книгу воспринимала как место, где мне хотелось бы побывать. Она была для меня чем-то вроде двери, куда можно постучать в любое время дня и ночи; за ней находилось пространство, где можно было гулять свободно и беспрепятственно. Позже это вошло в привычку, она со мной по сей день: я открываю «Шахнаме» на случайной странице и читаю. Я никогда толком не изучала эту книгу, не собиралась писать о ней научные работы; думаю, мне хочется сохранить ощущение чуда, которое я испытала, впервые услышав, как отец рассказывает мне что-то из нее.

Более тысячи лет назад Фирдоуси сочинил сказку об Иране, частично сотканную из обрывков реальной истории нашей страны. Его эпическая поэма охватывает период от сотворения мира до арабского завоевания в седьмом веке: унижительного поражения, положившего конец древней империи персов и означавшего смену нашей религии с зороастризма на ислам. Фирдоуси стремился пробудить в сердцах своих сограждан гордость за прошлое, восстановить их достоинство и чувство принадлежности к великой цивилизации. Отец неустанно напоминал нам с братом, что история нашей страны полна войн и завоеваний — персы воевали с древними греками, римлянами, арабами и монголами. Позже, после Исламской революции, он говорил, что мы столкнулись с самыми страшными завоевателями из всех, потому

что те пришли не извне, а изнутри, сами являлись иранцами и вместе с тем воспринимали граждан Ирана как покоренный народ.

Арабское завоевание было всепроникающим. Легенда гласит, что арабы стремились к абсолютному искоренению персидской культуры, особенно письменного слова. Многие персы, уставшие от расточительного правления династии Сасанидов и их могущественных жрецов — последнего из Сасанидов, царя Йездегерда III, в 651 году убил мельник, в чьем доме он остановился на ночлег, — с распростертыми объятиями приняли своих завоевателей, хотя считали их дикими варварами. Помню, в детстве мне рассказывали, как арабский халиф Омар велел солдатам сжечь все книги, найденные в Иране; мол, его народу нужна лишь одна книга — Коран. Отец учил нас, что в основе иранского национализма лежит антиарабская идея. Он говорил: мы, иранцы, слишком заботимся о своей хорошей репутации и хотим выглядеть невинными в глазах всего мира. Поэтому многие винят в завоевании арабов. И почти никто не задумывается о нашей собственной роли в поражении, но кто-то ведь открыл ворота царства варварам, кто-то способствовал вторжению?

В своей эпической поэме Фирдоуси стремился законсервировать и проанализировать прошлое, которое уже не вернуть, восхититься великой цивилизацией и оплакать ее гибель. Он воскресил

старую Персию², в первой части «Шахнаме» пересказав ее мифы, а во второй — реальную историю до арабского завоевания. Осиротевшие фрагменты нашей культуры и истории обрели в его поэме новый дом. Фирдоуси достиг невозможного: он не просто написал биографию целого народа, но предсказал будущее. После победы Исламской революции я раз за разом возвращалась к нашим поэтам, особенно Фирдоуси, пытаясь разглядеть невидимую нить, которая привела к созданию исламского государства.

В детстве моим любимым эпизодом из «Шахнаме» была история прекрасной Рудабе и ее любви к беловласому воину Залю³. Отцу больше нравилась сказка о Феридуне и трех его сыновьях; он придавал ей столь же личное значение, как я — истории Рудабе. Посредством этой сказки он словно хотел выразить что-то, что не мог сказать иначе.

² Слово «Иран», означающее «страна ариев», существовало много веков. Под «Персией» древние греки подразумевали регион, где находилась великая Персидская империя. Такое же название этого региона было в ходу у британцев. В 1931 году Реза-шах, основатель династии Пехлеви, официально сменил название государства на «Иран». — *Примеч. авт.*

³ Имена героев «Шахнаме» приведены как в переводе Ц. Бану под ред. А. Лахути.

Сколько бы раз он ни рассказывал мне свою любимую сказку, он всегда так увлекался, что мне начинало казаться, будто он рассказывает ее впервые, а я впервые ее слышу. Я и сейчас вижу, как он держит меня за руку; мы шагаем по широкому проспекту Шемиран, тянущемуся на север к заснеженным горам, чьи силуэты я помню очень отчетливо и могу вызвать в памяти в любой точке мира, где бы ни очутилась, — как и папины истории.

Сказка начиналась так: Феридун стал править миром после того, как спас человечество от арабского царя-демона Зохака, который заручился помощью Сатаны, убил отца Феридуна и завоевал Персию. Из плеч Зохака, куда его поцеловал Сатана, выползли две ядовитые змеи, и каждый день они требовали, чтобы им скармливали мозги двух персидских юношей. Феридун возглавил восстание против Зохака, одержал над ним верх, заковал в цепи и держал в плену у подножия самой высокой горы Персии — Дамаванд.

У Феридуна было трое сыновей: Сельм, Тур и Иредж. Он постарел, настало время делить царство, и он решил проверить храбрость сыновей и напал на них ночью. Двое старших бежали, но младший, Иредж, выкрикнул имя отца и приготовился вступить в бой. Узнав все, что хотел, Феридун скрылся в темноте.

Он решил поделить царство на три части и раздать их сыновьям. «Помнишь, что он отдал

каждому?» — спрашивал отец и поворачивался ко мне. «Да, — радостно отвечала я и нараспев произносила, подражая его рассказу: — Старшему, Сальму, он отдал Запад. Среднему, Туру — Китай и страну тюрков. Младшему, Иреджу, он отдал Персию».

«Верно, — одобрительно кивал отец. — Иреджу досталось самое драгоценное из владений Феридуна — Персия, страна воинов».

Двое старших сыновей завидовали Иреджу, ведь ему досталась лучшая земля. День и ночь в них копилась завистливая злоба. Они направили к отцу посланника и потребовали, чтобы тот «сорвал корону» с головы Иреджа и отправил его жить в «темный угол Земли». Феридун разгневался и дал им такой совет:

*Коль алчностью сердце твое не полно,
Что прах, что богатства царей — все равно⁴.*

Когда же отец пожаловался Иреджу на зависть сыновей, тот ответил:

*К чему изнывать у тщеславья в тисках,
Ведь все преходяще, все ветер и прах <...>
И вас, и меня, как придет наш черед,
Все та же судьба неизбежная ждет...*

⁴ Здесь и далее перевод «Шахнаме» Ц. Бану.

Последняя строчка особенно нравилась отцу, и он обычно повторял ее дважды — скорее для себя, чем для меня.

Иредж решил повидаться с братьями и попробовал их увещевать. Но ослепленные завистью и жадностью братья не приняли его мировую. «Помнишь, что сказал им Иредж?» — спрашивал отец, поворачиваясь ко мне и слегка пожимая руку. «Он просил не убивать его», — говорила я. «Не совсем, — отвечал отец. — Иредж сказал им: ради себя самих не становитесь убийцами. Когда намерение братьев выяснилось, он стал умолять их: ваша душа чиста, сказал он, разве можете вы отнять душу у другого? Но братья его не послушали. Тур достал кинжал и рассек тело Иреджа надвое. Сальм и Тур набили его голову камфарой и мускусом и отправили отцу, злорадствуя, что царский род Иреджа прервался».

Отец считал настоящим героем этой истории Иреджа, а не Феридуна. «Помни, Иредж был одним из самых благородных героев „Шахнаме“, — говорил он, снова отступая от своего рассказа. — Он готов был пожертвовать Ираном не потому, что боялся сражаться: он считал, что мирские блага не стоят того, чтобы разделять и ссорить братьев. Он обладал не только физической, но и моральной храбростью, а воспитать в себе второе гораздо сложнее».

Позже я перечитывала Фирдоуси уже сама и поняла, почему первой сказкой из «Шахнаме»,

которую рассказал мне отец, была история Иреджа. Он был одним из немногих героев эпоса, кто не жаждал отмщения. Он был не просто храбр; он был добр.

Отец питал слабость к доброте так же, как мать питала слабость к соблюдению приличий. Когда брат был маленьким, отец написал для него сказку и назвал ее «Человек, который хотел быть хорошим». На самом деле эта сказка была об отце и его жизни, о том, как он всегда был одержим несправедливостью и стремился быть хорошим человеком. Всю свою жизнь отец напоминал нам, что наш долг — быть хорошими людьми, и не уточнял, что это значит, хотя, разумеется, невозможно точно определить, что значит быть хорошим человеком.

«Братья Иреджа не ведали, что мир может быть жесток и к несправедливым. Жена Иреджа Мах Аффрид родила красавицу-дочь, а та родила внука Иреджа Менучехра. В эпической битве тот обезглавил сперва Тура, а затем Сальма, надел голову последнего на копье и отправил Феридуну с победоносным посланием», — отец рассказывал и искоса поглядывал на меня, следил за моей реакцией.

Услышав, что смерть Иреджа отмщена, Феридун отрекся от престола и передал его Менучехру, а оставшуюся жизнь оплакивал своих мертвых сыновей.

*И кровью он плакал, грустя все сильнее,
И вскоре дождался конца своих дней <...>
Царем иль слугою пройди бытие —
Лишь прервано роком дыхание твоё —
И радость, и скорбь, всё минует, как сон.
Жить вечно никто на земле не рожден.
Когда ты прославился доблестью дел,
Будь царь или раб — твой бессмертен удел.*

В этот момент мне бы порадоваться, ведь хорошие ребята наконец одержали верх, но всякий раз, когда отец рассказывал эту историю, он добавлял, что хотя Иредж был отмщен и его род восстановлен, с того момента в Иране не было покоя. «Так родился Иран, — заключал он. — И конфликты продолжаются по сей день. Иранцы в „Шахнаме“ — в большинстве своем люди добрые, храбрые, справедливые последователи Иреджа. Хотел бы я сказать, что в современном Иране живут такие же люди, но на самом деле наша страна больше похожа на страну Сальма и Тура, чем на край, где правил Иредж». Некоторое время мы шли молча, а потом отец сказал: «Может, мороженого?»

Иран Фирдоуси был великолепным раем, в существование которого я верила в детстве. Бескрайним зеленым полем, где обитали герои и царицы. Я долго жила во власти иллюзии, что моя страна так же великолепна, как письменные памятники, построенные из слов классическими поэтами.

Не только Дамаванд и его заснеженные пики, но и другие горы, навстречу которым мы с отцом шагали в моем детстве почти каждую пятницу, навеки связаны в моей памяти с героями «Шахнаме». Он так и остался там — другой мир за горами, где жили Феридун и его трое сыновей, Белый Демон, волшебная птица Симург и красавица Рудабе, и раз за разом повторялись одни и те же сказки.

Как я научилась лгать

МНОГО ЛЕТ НАЗАД ПСИХИАТР СКАЗАЛ, ЧТО мои проблемы начались с рождения моего брата Мохаммада. По его словам, именно это событие, когда внимание матери перестало всецело мне принадлежать, стало для меня переживанием, равноценным смерти. Мой психиатр был приверженцем школы Мелани Кляйн, и меня раздражало, что Кляйн, да и многие другие, сводят все к одному-единственному компоненту — смерти. Разве от смерти можно излечиться? Вскоре я начала с ним спорить, и наши сеансы проходили в разговорах о Мелани Кляйн, а не о моих проблемах.

И все же рождение брата, вероятно, явилось для меня травматичным переживанием. Мне еще не исполнилось пяти лет, но я помню ночь, когда мать забрали в больницу. Меня оставили с домработницей, которую моя мать любила и боготворила; мы называли ее *нане*, «матушка». Она отвела

меня на крыльцо, и там мы сидели до рассвета и ждали, когда отец вернется с новостями. Нане собрала вещи и приготовилась уйти, если выяснится, что ребенок — девочка. Она ненавидела девочек, и я прочувствовала это по полной программе за тот год, что она у нас работала. Она ходила по дому и приговаривала: «Девочка — как пламя свечи днем, мальчик — как лампа ночью». Никогда не произносила мое имя, а называла просто девочкой. Мать же была так ей предана, что игнорировала мои жалобы и всегда занимала сторону нане.

Думаю, моя мать любила Мохаммада, как никогда не любила меня. Она рассказывала, что когда родился Мохаммад, она почувствовала — вот он, сын, который ее защитит. Позже она отрицала, что так говорила. Меня всегда поражало, что мать, так пострадавшая от мужчин, возлагает столько надежд на одного из них.

С тех пор мы редко оставались наедине и уже никогда не нежничали. Она презирала меня за то, что казалось ей упрямством, а меня ранило и тяготило ее неприятие меня такой, какая я есть. Она была со мной холодна, а я пыталась оставаться непроницаемой к ее придиркам.

Я жаждала ее одобрения и никогда его не получала. Она хвалила меня за достижения, оценки и тому подобное, но меня неотступно преследовало чувство, что я ее разочаровала — вот только

что я такого сделала? Непонятно. Я хотела, чтобы она любила меня. Я противилась ей, но лезла из кожи вон, чтобы привлечь ее внимание. Когда мне было почти семь, я нарочно сбросилась с лестницы, ведущей от двери нашей квартиры во двор. В другой раз, вскоре после того случая, услышала разговор матери с подругой: те говорили о ком-то, кто покончил с собой, перерезав вены, и я попыталась перерезать вены отцовской бритвой в спальне перед зеркалом. Тут вошла ненавистная нане и даже не попыталась меня остановить, а сразу вышла из комнаты и позвала мать. Мой отчаянный жест не произвел на ту никакого впечатления: она просто заперла меня в комнате до вечера.



Мой младший брат

Мохаммад

Мне было около пяти лет, а Мохаммаду — несколько месяцев; мы только что переехали в новый дом. На окнах ставни, в комнате на первом этаже царит прохлада, полутьма и тишина. Мать усаживает меня на пол и садится напротив. Скажи, куда вы с отцом ходили в прошлый четверг, спрашивает она? В кино, отвечаю я. А кто ходил с вами? Никто. Снова и снова она задает один и тот же

вопрос и говорит, что ненавидит лгунов. Я всегда пыталась научить тебя одному, говорит она, — никогда, никогда не ври мне. Я и не вру, отвечаю я. Мне холодно и страшно. Хочется, чтобы она обняла меня и поцеловала, но она хмурится. Говорит, люди видели меня с отцом и другой женщиной. Признавайся, говорит она, признавайся, что за женщина?



*Мы с Мохаммадом;
ему около двух лет*

Но никакой женщины не было. Просто мы тайком ходили в гости к близкому другу отца; тот недавно женился на женщине, которую мать недолюбливала. Мать решила, что не хочет больше с ними общаться. Но отец любил своего друга и продолжал втихую с ним видаться.

Еще несколько дней после того случая она со мной не разговаривала. Помню, тогда они впервые поссорились по-новому. Они кричали и не заботились, что мы или слуги услышим. Я подслушивала под дверь. Я всегда подслушивала разговоры матери вполголоса с подругами, ее телефонные откровения. Женщина, которую она подозревала в тайных встречах с моим отцом, и была женой папино-

го друга. Ее звали Сима-ханум, она была очень красива и обладала нарочитой сексуальностью, которой никогда не отличалась мать. Оказалось, однажды они с отцом были почти помолвлены, а потом, пока он был в командировке, она внезапно обручилась с его лучшим другом и позже вышла за него замуж. То был первый раз, когда женщина разбила отцу сердце. Мать подозревала, что в роли посредника выступает папина секретарша, и расспрашивала меня и про нее, а также хотела знать, ходили ли мы куда-то вместе с отцом и Симой-ханум.

Я слышу яд в голосе матери, но не понимаю, что он значит. Мне пять лет. Я даже сейчас не знаю, понимала ли тогда, в чем она обвиняла отца, в каком именно предательстве. Меня в пять лет волнуют лишь их крикливые ссоры, враждебные взгляды матери, то, как рассеянно отец поглаживает меня по голове, и его нервный голос, каким он рассказывает мне вечером сказки. Потом она вдруг забирает моего брата и уходит из дома, оставив нас вдвоем с отцом и ненавистной нане. Я чувствую себя брошенной и ненужной. Отец в смятении, разговаривает со мной, а как будто с самим собой. Иногда берет меня с собой на работу, и там я новыми глазами смотрю на его коварную секретаршу.

Думаю, именно тогда я впервые солгала матери. Ложь была простой, но довольно хитрой для ребенка. Мать жила в доме подруги, и я пришла ее

навестить. Она больше не злилась. И в некотором смысле так было даже хуже. Она забросала меня вопросами, видимо, собирая доказательства. Вопросы задавала не напрямую, а хитро, пытаясь меня подловить. Время от времени они с подружкой переглядывались. Я чувствовала себя ужасно одинокой и далекой от всего происходящего. Ее попытки выудить из меня сведения, ее заговорщические взгляды пугали меня сильнее прямых обвинений в той холодной темной комнате. Мне так хотелось, чтобы она снова стала моей мамой, улыбалась мне, держала меня за руку, что я решила соврать и сделать так, чтобы она вернулась домой. Я придумала историю о том, как отец на работе подошел к своей секретарше миссис Джахангири и сказал, чтобы та никогда больше не упоминала о своей подруге. И добавил, что терпит Симуханум лишь потому, что дружит с ее мужем.

Поразительно, как часто нам удается предсказывать собственное будущее, особенно в отношениях с другими, и как часто мы предопределяем, как люди станут себя с нами вести. Когда мать обвинила меня во лжи и соучастии в отцовском предательстве, я была невиновна. Но вскоре я сделала все то, в чем она меня обвиняла. В некотором смысле она не оставила мне выбора. Моя преданность ей была абсолютной, а ей все было мало. Она хотела того, чего мы ей дать не могли. Вскоре она

вернулась домой, но все изменилось. Мы с отцом продолжали ходить в гости к его другу, а позднее я сопровождала его и на тайные встречи с любовницами. Я стала его самой доверенной сообщницей, а наши отношения скрепило взаимное несчастье, причиной которого, как нам казалось, была мать.

Я навсегда запомню день, когда она впервые отвела меня в сторону. Ненависти к ней у меня не было — я была для этого слишком мала. Она никогда меня не била, но я все равно чувствовала себя покалеченной. Помню, мне очень хотелось плакать. Я не умела защищаться и смутно чувствовала, что в чем-то виновата. Я также понимала, что, если признаюсь в том, что она хочет услышать, или начну обвинять отца, сказав, например, что тот заставил меня ходить к Симе-ханум, со мной ничего не случится. Но я не стала обвинять его. Позже я просто перестала ее слушать. Это вошло в привычку. Я притворялась, что слушаю, кивала, но не слышала ни слова. Ее голос лился, а я вытесняла его и в уме начинала разговаривать с воображаемой подругой, которой рассказывала сказки, услышанные от отца, прочитанные в книгах или те, что сама придумала. В моем воображении нашлось место, где я могла быть царицей собственного обширного и многоцветного царства.

Мне примерно пять. Ранний вечер. Отец только что вернулся с работы. Они с матерью

ссорятся в гостиной за закрытой дверью; я затаилась в коридоре, я знаю, что они спорят из-за меня. Днем мы с матерью сами поссорились. Во мне поселился демон, который, по словам взрослых, иногда искушает детей; он нашептывал мне оставаться на качелях и не идти домой обедать, когда мать меня позвала. Я знала, что поступаю неправильно, знала, что придется поплатиться, но ничего не могла с собой поделать.

Я до сих пор чувствую вкус этих нескольких минут неповиновения; я откинула голову, раскачиваясь на качелях, легкий ветерок дул в лицо, а я качалась вперед-назад, вперед-назад. Когда же наконец зашла в дом, помыла руки и села за стол, мать кипела от ярости. Она не пустила в дом моего приятеля, соседского сына, хотя раньше разрешала ему обедать с нами. Я униженно села за стол и отказалась есть. Чем больше она наседала, тем сильнее я сопротивлялась. Я возилась с ложкой и вилок. Лепила фигурки из хлебного мякиша. Когда я встала и направилась к выходу, мать велела мне вернуться и идти в комнату. «Будешь ждать возвращения отца, — сказала она, — и тогда решим эту проблему раз и навсегда, раз ваше величество не желает меня слушать. Кто я такая, чтобы говорить тебе, что можно делать, а что нельзя?»

Я просидела в комнате весь день. Чтобы подбодрить себя, придумывала истории: жила-была девочка, которая была очень несчастна... А что

потом? Жила-была... Вскоре я сдалась и стала плакать, долго плакала, а потом достала книжки с картинками.

Когда отец выходит из гостиной, его лицо чернее тучи. Но я чувствую, как всегда в таких случаях, что сердцем он со мной, что он хмурится, чтобы ее задобрить. Почему не слушалась маму, спрашивает он? Я не отвечаю. Надо извиниться, говорит он. Я по-прежнему молчу. Делай, как я говорю, иначе тебя запрут в погребу. Мать не выходит, но дверь приоткрыта, и я знаю: она слушает. Я молчу. Он ведет меня к лестнице. Мне не нужны бунтовщики в моем собственном доме, произносит он громко и немного неуверенно. После всего, что мама для тебя сделала... Зачем ты так себя ведешь, зачем? По пути в погреб его голос смягчается, в нем почти звучит мольба. Если извинишься, все будет по-другому, тихо говорит он. Давай же, Ази, будь умницей.

Он знает, как я боюсь погреба. Там сыро, промозгло, туда почти не проникает свет. Мы используем погреб для хранения, а зимой сушим там белье на веревке. В дальнем углу — угольный подвал, и мне кажется, что там таится какое-то существо, злонамеренное и угрожающее; оно как будто лежит в засаде и поджидает меня. Отец заставляет меня встать спиной к угольному подвалу. Я чувствую, что существо смотрит на меня, а сама я бессильна и не могу его увидеть. Сиди здесь,

пока я за тобой не приду, говорит отец. Я замираю на одном месте и не понимаю, почему отец меня бросил; это непонимание навсегда отпечатывается в глубине моего существа, как отпечатываются и все последующие случаи его предательства.

Мои лучшие воспоминания о матери связаны с нашими прогулками по улицам Тегерана. Есть одна улица, которая будет всегда символизировать Тегеран, который я люблю, Тегеран, куда я хотела бы вернуться даже сейчас, сидя за столом в городе, что отнесся ко мне гораздо более великодушно и в то же время не содержит в себе столько воспоминаний. Вспоминая ту улицу, я с удивлением осознаю, что она носила фамилию моего мужа: улица Надери.

Почти все мое детство прошло на улице Надери и в примыкающих к ней переулках. Там была лавка с пирожками, лавка с орехами и специями, рыбный рынок, парфюмерный магазин «Джилла», где мать покупала духи *L'air du Temps* от «Нина Риччи», а мне хозяйка магазина всегда давала пробники (мы называли их *échantillons*: духи всегда были французскими). Кофейня с иностранным названием (внезапно я вспоминаю: она называлась «Айбета»), где мама покупала себе конфеты. Из всех запахов и ароматов той волшебной улицы в памяти сильнее всего запечатлелся запах шоколада. Мы произносили это слово на французский

манер — *шоколя*, с ударением на последний слог. Рядом с клиникой, где мне делали прививки, находилась маленькая шоколадная фабрика, и после каждого похода к врачу мать баловала меня конфетами. Там я впервые попробовала белый шоколад и полюбила его не потому, что он был вкуснее, а потому, что он казался необычным.

Улица Надери переходила в улицу Истанбул, а от той влево ответвлялась улица Лалехзар — «проспект тюльпанов». Во времена правления Каджаров в конце девятнадцатого века на этом участке земли располагался огромный тюльпанный сад. Потом правительство проложило бульвар прямо через него, и здесь раскинулся один из самых оживленных районов Тегерана со множеством театров и кинотеатров. Теперь название совершенно не годилось для этой торговой улицы. На Лалехзар всегда пахло кожей. Мы с матерью заходили в магазины нижнего белья, тканей и кожгалантереи, где всегда было много народу. Мать обменивалась любезностями и сплетничала с продавщицами, а я ходила по залам и заглядывала в подсобки, желая увидеть тускло освещенные мастерские, где из полосок ткани и кожи шили бюстгальтеры, negligee, туфли и сумки.

Раз в месяц мы ездили в игрушечный магазин на улице Надери, который назывался «Иран»: мать считала его лучшим магазином игрушек в Тегеране. Я отчетливо помню неоновую вывеску над дверью:

большой веселый Санта-Клаус погоняет оленей. Нас это не удивляло, как не удивляли названия многих ресторанов и кинотеатров: «Ривьера», «Ниагара», «Рекс», «Метрополь», «Радио-сити», «Мулен Руж», «Чаттануга». Я привыкла к Санта-Клаусу, как привыкла к Ирану: мы называли его Баба Ноэль, «Дед Новый Год». Мы все это принимали как часть современного, модернизированного Ирана — и даже слово «модернизированный» было заимствованным, иностранным. Отец саркастично говорил об удивительной пластичности персидского языка, которую объяснял гибкостью нашего народа, которая, увы, приносила ему, народу, одни несчастья. Но были ли мы гибкими на самом деле и какую цену нам предстояло заплатить за эту гибкость?

На улице Надери и в ее окрестностях большинство магазинов принадлежали армянам, евреям или азербайджанцам. Армяне попали в Иран в результате вынужденного переселения в шестнадцатом веке, в период правления могущественного царя Аббаса Великого из династии Сефевидов. Некоторые армяне и евреи эмигрировали из России после революции или приехали из Польши и других стран Восточного блока после Второй мировой войны. Все покупали сладости и мороженое у армян, ткани и духи у евреев, но среди некоторых иранцев также считалось нормальным чураться меньшинств, считая их «нечистыми». Дети стучались в двери

и напевали: «армянский пес, армянский пес, ты в аду дворы метешь». Евреев не просто считали грязными: те вообще пили кровь невинных детей. Зороастрийцев причисляли к огнепоклонникам и неверным, а бахаисты — отколовшаяся от ислама секта — были не просто еретиками, но сплошь британскими агентами и шпионами, которых можно и нужно было убивать. Впрочем, мать такие вещи совершенно не интересовали; несмотря на кучу других предрассудков, она жила по правилам своей вселенной, где людей судили в зависимости от того, насколько те соглашались с ее выдумками и фантазиями. Большинство меньшинств принимали свое место в этом многослойном обществе, хотя иногда напряжение прорывалось наружу, и кровавая природа скрытых разногласий в полной мере проявилась через несколько десятков лет, после Исламской революции, в 1979 году, когда исламисты атаковали, отправили в тюрьмы и убили множество армян, евреев и бахаистов, заставив рестораны вешать на окна табличку «религиозное меньшинство», если хозяином был не мусульманин. Но нельзя винить во всем Исламскую республику, ведь предубеждения существовали всегда, а революция лишь вынесла их на поверхность и усилила стократ.

Вечером в четверг — выходные у нас начинались в четверг — я ходила по тем же улицам с отцом. Обычно мы заходили в большую кулинарию рядом

с кожгалантерейным магазином, брали сосиски, иногда ветчину и мортаделлу для особого пятничного завтрака. После гуляли в поисках подходящего фильма или спектакля. По вечерам улицы менялись, выглядели и звучали совсем иначе, чем днем. На улицах Надери, Истанбул и Лалехзар располагались рестораны, театры, кинотеатры и персидские кабаре, и у каждого была своя клиентура из разных социальных и культурных слоев. Чаще всего мы ходили в «Кафе Надери», его хозяином был армянин. В кабаре был красивый сад, летом там всегда играла музыка и устраивали танцы. Родители часто водили нас туда, даже когда мы были совсем маленькими. Правда, не помню, чтобы они танцевали, хотя мать все время напоминала, что раньше превосходно танцевала. А мы, дети, иногда выходили на сцену и присоединялись ко взрослым в ча-ча-ча или более медленном танго.

В нескольких кварталах находилось традиционное кафе, чье название выпало у меня из памяти; его посещали в основном мужчины, там звучала персидская музыка, а иногда и азербайджанская, и арабская, и танцы были куда более эротичными, чем ча-ча-ча и танго. В этом кафе и других ему подобных всегда было полно народу; там подавали пиво, водку и кебабы, а завсегдатаи являлись поклонниками определенных певичек, некоторые из которых потом прославились и стали легендой. Их и сейчас можно увидеть на Ютьюбе; они манят

нас, напоминая о прошлом, которое было побеждено, но не исчезло. А в нескольких улицах к югу существовал совсем другой Тегеран: религиозный, благочестивый и с презрением относящийся к излишествах языческой культуры.

Манящая какофония улиц постепенно растворялась в тихом монотонном голосе отца, который рассказывал мне очередную сказку. Я переносилась в другой мир, где герои и демоны Фирдоуси, его героини с волосами цвета воронова крыла жили бок о бок с непослушным Пинокио, Томом Сойером, зверями из басен Лафонтена и бедной девочкой со спичками из сказки Андерсена, чей призрак посещает меня до сих пор, спустя много лет, потому что я так и не смирилась с тем, что в награду за свою боль и страдания на земле она получила лишь смерть.

Однажды, когда мне было примерно четыре года, мы с мамой возвращались с занятий балетом, и я ее потеряла. Мы заходили в разные магазины, и как-то вышло, что я пошла дальше, а когда обернулась, она исчезла. Я продолжала шагать и тихо плакать. Я хорошо знала эту улицу; магазины, как хлебные крошки, вели меня в безопасное место. Игрушки, кондитерская, рыбная лавка, обувной, кинотеатры, ювелирные — и вот наконец я дошла до своего самого любимого места, булочной-кондитерской «Нушин». В «Нушин» мне нравилось все, особенно мороженое, политое

растопленным шоколадом, которое называлось «Вита-крем». У входа нас всякий раз приветствовал жизнерадостный хозяин, армянин, который любил дразнить меня и говорить, что присмотрел меня в невесты своему сыну. В этот раз он не успел вымолвить ни слова; я с порога выпалила, что потеряла маму, и заплакала. Он попытался меня успокоить, предложил бесплатно угостить мороженым, но я была вежливой девочкой и никогда не соглашалась ничего брать у других без разрешения родителей, а вдобавок была так напугана, что даже мороженого не хотелось.

Тревога в глазах матери перекрыла всю радость в ее голосе, когда, увидев меня, она кратко рывкнула: «Ази!» Мне в жизни не забыть панику в ее глазах, ведь в последующие годы и десятки лет я не раз видела ее снова: когда мы с братом немного задерживались и не приходили вовремя; когда отец не выполнял обещание зайти, или если нас не было дома, когда мама возвращалась с вечеринки. Позже она и внуков заразила тем же ожиданием трагедии, которое я бессознательно присвоила и начала считать и своим собственным переживанием.

Вернувшись в Тегеран после революции, я первым делом наведалься на эти улицы. У меня возникло чувство, будто я очутилась на страницах «Шахнаме» Фирдоуси, в одной из повторяющихся сцен, где героя приглашают на пир и он ждет, что

его встретят с гостеприимством, но вместо этого попадает в ловушку колдуньи. Даже в худших кошмарах я не представляла, что улицы Надери и Лалехзар однажды станут местом кровавых демонстраций, что по ним я буду убегать от отрядов народного ополчения и линчевателей — мимо магазина игрушек, кондитерской, лавок с орехами и специями, опустевшего кинотеатра, где посмотрела свой первый фильм на большом экране, и некогда будет даже остановиться и предаться воспоминаниям.

Кофе и гости

В ТЕЧЕНИЕ многих лет, сколько себя помню, мать приглашала в наш тегеранский дом множество гостей. Иногда те полноценно обедали, но чаще просто пили кофе с пирожными. У матери было несколько сервизов на каждый случай: одноцветные чашки с толстыми стенками — для близких друзей и семьи, более тонкий фарфор, кремовый с цветочками или белый с золотой каемкой — для официальных приемов. К нам приходили журналисты, светские львицы, таксисты, мамина парикмахерша — все в разное время дня. Мама с изяществом управлялась с маленькой кофеваркой. Разговоры велись разные, в зависимости от состава присутствующих; я обычно сидела в углу и замороженно наблюдала за этим ритуалом. Мать разносила кофе всем гостям и даже мне. Позже — и моим детям, когда им исполнилось четыре года; в ответ на мои яростные возражения лишь пожимала плечами. «Умоляю, — говорила

она, — не учи меня, как кормить детей». С этими словами она поворачивалась к моим удивленным детям и давала им кофе, который они не любили, и шоколад, который им, естественно, нравился, и говорила: «Не слушайте маму. Давайте, давайте. Пейте кофе и ешьте шоколад».

В детстве я всегда тихонько сидела в сторонке: иногда играла с бумажными куклами, позже читала книгу или журнал. В дни, когда мама бывала мной довольна, она иногда мне улыбалась или протягивала пирожное, а потом говорила, что для маленькой девочки проводить время за чтением противоестественно. Даже когда я впадала в ее немилость, мне не запрещали присутствовать на кофепитиях. Я даже думаю, она испытывала определенное удовольствие оттого, что я была там. Ее гнев нуждался в зрителях. Она наслаждалась, выставляя его напоказ.

По меньшей мере дважды в неделю примерно в десять утра она приглашала подруг, и они сплетничали, рассказывали истории и гадали. Мать была жаворонком и старалась назначить на утро как можно больше встреч. В общении с подругами она совсем не напоминала диктатора, каким обычно была с нами. Ее кофейные встречи смахивали на маскарад: все собирались в одном месте, чтобы раскрыть друг другу важные тайны. «Неужели она с ним спит?» «Разве она заслужила такого мужа?» «Как мужчины могут быть одновременно столь

жестокими и глупыми?» Об изменах супругов, скандальных разводах и смерти говорили таким тоном, что боль и скандал уже не переживались столь остро и казались сносными. Иногда женщины косились в мою сторону и начинали гово-



*Мы с матерью
на свадьбе
родственника*

рить тише. Одна все время показывала на меня и повторяла персидскую поговорку — в стенах водятся мыши, а у мышей есть уши, намекая, что в моем присутствии лучше не болтать.

Мои самые яркие воспоминания о матери связаны с вязанием. Мать и ее подруга, бывшая соседка Мунирджун с одинаковым интересом и одинаковым тоном перемывали косточки знакомым и обсуждали вязание.

Мать вязала в любое время года, даже летом, хотя в итоге всегда выходило что-то невразумительное. Она редко следовала схемам, предпочитала выбирать свои цвета и изобретать собственные выкройки, отчего результат становился совсем непредсказуемым.

К нам часто приходила мамина парикмахерша, молодая разведенная женщина по имени Голи. Она умела гадать; мама тоже время от времени этим

баловалась. Допив кофе, женщины опрокидывали чашки по направлению к сердцу и оставляли на блюде, пока гуща не подсыхала. Затем Голи по очереди брала чашки и сосредоточенно расшифровывала линии и завитки, образованные кофейной гущей, сплетая невероятные истории о прошлых, настоящих и будущих трагедиях и достижениях. Лицо у нее было квадратное, глаза большие, губы тонкие; переворачивая чашку, она поджимала губы, и те совсем исчезали в складках кожи. Мне нравилось на это смотреть, и я все ждала, когда губы снова появятся.

Мой взгляд скользит и останавливается на Мунир-джун, худосочной старой деве с острым носом, голубыми глазами и блекло-рыжими курчавыми волосами, сухими, как мочалка. Та изъясняется короткими отрывистыми фразами. Рядом сидит ленивая толстуха Фахри-джун, превосходная гадалка; она крутит кофейную чашку в своих пухлых руках с удивительно длинными пальцами. Благочестивая Ширин-ханум, с чьим приходом атмосфера обычно накалялась: ее ханжеские разглагольствования не выносил никто. Хочется задержать взгляд на моей тете Мине, которая всегда выбирала стул в самом укромном уголке и почти никогда не принимала участия в беседе. Когда другие уходили, она обычно оставалась на обед. Мы с братом называли всех близких друзей родителей и их родственников «тетями» и «дядями»,

но тетя Мина была особенной. «Настоящая сестра, которой у меня никогда не было», — говорила о ней мать. Вообще-то, настоящая сестра у нее была — точнее, сводная, Нафисе, — но отношения у них были шаткие и колебались между любовью и ненавистью.

Тетя Мина и мать вместе учились в школе Жанны д'Арк, одной из немногих школ для девочек в Тегеране, которой заведовали французские монашки. Обе учились на отлично и яростно соперничали между собой. Со временем конкуренция переросла в невольное уважение; они начали вместе готовиться к урокам и стали неразлучны. В течение многих лет, пока они с матерью не рассорились, тетя Мина приходила к нам почти каждый день. Они с матерью всегда ужинали или у нас, или у Мины, а выходные и праздники проводили вместе.

Тетя Мина была слегка полновата, только ноги у нее были изящные и стройные в противовес остальной фигуре. Длинные волосы, ни разу на моей памяти не стриженные, она собирала в пучок или в «ракушку», как у Брижит Бардо. Но словами не передать осязаемую ауру, которую она вокруг себя создавала. С ней постоянно случались какие-то неожиданные беды. В детстве она потеряла обоих родителей, и их с сестрой и двумя братьями взял к себе пожилой дядя, степенный политик, посол Ирана в России, у которого были две

собственные дочери. Мать иногда сочувственно говорила, что Мину преследует злой рок. Ее кузины поступили в университет и добились успеха в науке, а Мина смогла лишь закончить школу. У нее не было денег на высшее образование. Она вышла за мужчину, во многом походившего на дядю: амбициозного, чопорного, холодного. Но ему не хватало дядиной стойкости и того трудноописуемого качества, которое называют «характером». Ее старшая сестра и брат умерли очень рано, им было слегка за двадцать; второй брат умер через двадцать лет от сердечного приступа. Со смертью младшего брата тете Мине досталось все наследство, но было уже слишком поздно.

Ее муж реализовал свои амбиции только наполовину и, вероятно из-за этого, был домашним тираном. Мать очень им восхищалась, и хотя он снисходительно отзывался о моем отце, развешивала уши в его присутствии; тетя Мина, естественно, это замечала и высмеивала мамину любовь к авторитарным мужчинам. «Незхат не видит их слабостей», — говорила она. Мне же не нравился муж Мины, потому что он проявлял ко мне излишнюю симпатию. Застав меня одну, когда я спала после обеда или говорила по телефону с подругой в коридоре, он пытался обнять меня и твердил, какая я чудесная девочка и как ему нравлюсь. Родителям я пожаловаться не могла, поэтому просто пыталась его избегать. Порой я чувствовала



Моя мать (в центре в переднем ряду) на школьной фотографии. За ней в белом свитере — Озра-ханум. Маму отправили в школу в платье без рукавов, фотографироваться в таком виде было неприлично, и ей пришлось взять жакет у девушки, что сидит с краю в том же ряду

странное удовлетворение, понимая, как глубоко заблуждалась мать, восхищаясь этим человеком.

Пройдет много лет, и этот сильный авторитарный мужчина однажды утром пойдет в гараж, представит пистолет к голове и выстрелит. В записке, оставленной своим ошарашенным жене и детям, он объяснит, что больше не может выносить финансовые трудности. За последние годы он сблизился с моим отцом, и тот стал его доверенным

лицом. После его смерти отец оплатил похороны и пытался воспользоваться своим положением мэра и не допустить, чтобы новость о самоубийстве просочилась в газеты.

Хотя тетя Мина и была сиротой, ее детство было более счастливым, чем у моей матери, чья собственная мать умерла, когда она была очень маленькой, и оставила ее на милость мачехи и безразличного отца, путавшего любовь с дисциплиной. Ее сводные сестры и братья жили в комфорте и роскоши, а мать прозябала на чердаке и была вынуждена чистить зубы мыльной водой. В собственном доме к ней относились как к бедной родственнице, и от этого ее жизнь стала невыносимой. Но она нашла способ справиться с глубокой обидой и злобой на семью: она развила в себе непомерную гордыню. Тетя Мина однажды сказала, что они с матерью занимались по одним учебникам (мой дед попросту забыл дать матери денег на учебники) и начали вместе готовиться к урокам. «Так мы подружились, — сказала она. — Незхат всегда была лучшей в классе, она стремилась во всем быть первой. У нее не было красивой одежды и вещей, в этом она другим уступала. Но она могла превзойти всех в учебе, особенно в математике, и добилась в этом высочайших успехов». Ее сводных сестер и братьев отправили учиться за границу, а мать заставили прекратить образование после того, как она закончила школу.

«Я хотела стать врачом, — говорила она. — Я была лучшей ученицей в классе, самой перспективной, блестящей». Она не уставала напоминать нам с братом, что пожертвовала карьерой, чтобы сидеть с нами дома. Она, казалось, гордилась тем, что я «не гожусь в хозяйки», и когда я вышла замуж, хвасталась перед моим мужем, что я не умею даже заправлять кровать. «Моя дочь, — объявила она при первой их встрече, — была рождена, чтобы стать образованной женщиной, а не полумойкой». Вместе с тем она постоянно упрекала меня за то, что я работаю и провожу дома с детьми слишком мало времени.

После смерти матери я с удивлением узнала — от все той же дамы, австрийки, которая была у нее на свадьбе, — что одно время мама работала банковской служащей. Австрийка рассказывала, какое впечатление на нее произвела мать, столь непохожая на других женщин своего класса. Незнат была умна, красноречива, бегло говорила по-французски, но главное — работала в банке. В те дни если девушки ее круга и работали, то учительницами, иногда — врачами. После смерти Саифи мама не хотела полностью зависеть от отца и ненавистной мачехи и решила пойти работать. Но никогда об этом не упоминала, хотя с гордостью говорила о желании стать врачом и стремлении к независимости. Она лишь рассказывала, что друг нашей семьи господин Хош Киш, позже ставший

главой иранского Центробанка, был одним из ее преданных воздыхателей и ухажеров.

Думаю, мать была такой неприкаянной, потому что в глубине души ощущала себя бездомной. Не потому, что в своем доме она всегда чувствовала себя чужой, а потому, что не принадлежала ни к той категории женщин, кого удовлетворяет роль домохозяйки, ни к карьеристкам. Как многие женщины ее времени, она застряла где-то посередине и чувствовала, что обстоятельства не дают ее способностям в полной мере проявиться, а амбициям — реализоваться. Когда она говорила о своих оценках и светлом будущем, которое ей предрекали учителя, она часто качала головой и причитала: ах, если бы я была мужчиной! Я называла это «синдромом Элис Джеймс», имея в виду умную, но слабую здоровьем сестру Генри Джеймса, чьи способности и амбиции далеко превосходили ее реальные возможности.

Тетя Мина тоже была очень умна. У нее не было денег на образование, поэтому она вышла замуж: «еще одна умная женщина, чья жизнь прошла напрасно». Тетя Мина никогда не повышала голос, не смеялась громко и не выказывала эмоций. В отличие от матери, не лезла в драку и не бунтовала в открытую. Она не открывалась даже самым близким, словно прятала что-то драгоценное от мира, который столько у нее отнял. У Мины были свои отдушины: она играла в азартные игры и курила.

Мама хвасталась, что ей тоже нравились оба этих занятия, но она предпочитала воздерживаться от них, потому что это было неправильно (хотя партию в *джин рамми* она сыграть могла). Она пыталась заставить подругу отказаться от пороков, и этому крестовому походу не было конца. Тетя Мина улыбалась ироничной полуулыбкой и отвечала: «В отличие от тебя, Незхат, я не мазохистка». Ее немного раздражало, когда мать объединялась с мужем тети Мины Махбодом в борьбе с Миниными дурными привычками. Мина избегала открытых конфликтов и все делала по-своему, даже если приходилось скрывать свои действия от двух самых близких людей: мужа и лучшей подруги.

У моего отца с тетей Миной было особое взаимопонимание: их беспокоили и возмущали одни и те же вещи. Но Мина не поддавалась его обаянию. «Не рассчитывайте, Ахмад-хан, меня вам завоевать не удастся!» — повторяла она. Он ей очень нравился, и позже она обращалась к нему за поддержкой, но никогда не придавала значения его жалобам.

В моем детстве мать постоянно повторяла, что «в ее время» считалось, будто высшее образование получают лишь те девушки, кто не смог выйти замуж. Образованные женщины считались некрасивыми, над ними все смеялись. В некоторых семьях даже считалось, что чтение и письмо «открывают девушкам глаза и уши» и превращают

их в «распущенных женщин». Мой дед был прогрессивным человеком и не терпел подобного абсурда. Сводную младшую сестру матери, Нафисе, отправили учиться в Америку, но у матери не было такой возможности. «Меня некому было защитить, — говорила она. — У меня не было матери, никого не заботило, что со мной случится». Мать и тетя Мина так никогда и не пережили трагедию своего нереализованного потенциала, того, что Эмили Дикинсон называла «растущим чувством крыл». Возможно, именно поэтому они столько лет не расставались, несмотря на огромные различия в темпераментах и взаимное неодобрение по некоторым вопросам — точнее, даже не неодобрение, а неприязнь.

Мать любила закатывать сцены. Гордилась своей «абсолютной искренностью и открытостью». Иногда в раздражении говорила, что тетя Мина «себе на уме». «Это часть ее характера, — говорила она. — Вечно она все скрывает. Знает, как я ценю честность, и все же лжет или попросту отказывается говорить мне правду». «У твоей матери голова в облаках, она понятия не имеет, чего хочет от жизни, — говорила Мина. — Таких идеалисток еще поискать. Она наивна, как двухлетка».

Тетя Мина терпеть не могла, когда мать принималась вспоминать своего «более идеального» первого мужа. «Только вспомню, как Саифи ко мне относился... — заводила мать свою шарманку. —

С самого первого момента он смотрел только на меня. А теперь...» — она замолкала. «А что теперь? — огрызалась Мина с полуироничной, полуснисходительной улыбкой. — Теперь у тебя хороший муж и двое здоровых прекрасных детей. Незхат, спустись наконец с небес на землю!»

По пятницам в нашей гостиной собирались совсем другие гости. Эти мероприятия были серьезнее; на них присутствовали и мать, и отец. Гости начинали съезжаться ближе к обеду; их было то больше, то меньше, но некоторые приходили каждую неделю. Иногда являлась тетя Мина, но почти всегда молчала. Думаю, она приходила отчасти из любопытства, отчасти из преданности. Иногда все-таки произносила пару слов, если хотела возразить или опровергнуть какое-либо утверждение или заявление.

Я помню господина Халиги, коллегу отца по госслужбе, — он был старше его и по должности, и по возрасту. Наблюдал, как отец рос по служебной лестнице, а сам оставался на той же ступени и до самого выхода на пенсию был мелким правительственным функционером. Кажется, они познакомились, когда отец перешел в отдел планирования и бюджета и стал его зампредом. Господин Халиги с редким великодушием радовался успехам отца. У него было обыкновение сочинять юмористические стихи, приуроченные

к различным случаям, и у нас в гостях он зачитывал их вслух. Обычно он приходил раньше других и почти никогда не пропускал пятничные визиты. Мне казалось, что он не стареет — он лишь постепенно усыхал и уменьшался, пока однажды не исчез совсем, и мне сказали, что он умер.

Еще одним нашим постоянным пятничным гостем был полковник иранской армии, рано вышедший на пенсию, так как ему хотелось пожить в свое удовольствие. Он был красив, походил на кинозвезду из старых фильмов, носил усы, как у Кларка Гейбла, и красил эти усы и волосы в черный цвет. В отличие от господина Халиги, полковник обычно молчал, а на его губах под усами играла перманентная улыбка. Иногда он слушал разгоряченные споры — казалось, безо всякого интереса и желания в них участвовать.

Вскоре к нам начала ходить и жена полковника Ширин-ханум: сперва чтобы убедиться, что полковник не приводит с собой «шлюх», как она выражалась, а потом — чтобы участвовать в обсуждениях. В отличие от мужа, она всем интересовалась. Она была крупной женщиной, намного крупнее мужа — про таких говорят, что у них кость широкая. Голос у нее был низкий, и когда она говорила, казалось, что гром гремит: возможно потому, что в ней было слишком много энергии и индивидуальности и ее большое тело попросту не умело сдерживать позывы и импульсы. Полковник болел,

и Ширин-ханум приходилось работать. У нее была своя швейная школа, где она заставляла бедных молодых женщин, что приходили к ней учиться, овладевать ремеслом и зарабатывать на жизнь. Некоторые при этом работали у нее служанками, насколько я знаю, бесплатно. Ширин-ханум и тетя Мина друг друга недолюбливали и не скрывали своих чувств, так как обе были честны, только каждая по-своему.

А еще по пятницам у нас всегда бывало много молодых амбициозных мужчин — дальних родственников, которые надеялись встретить у нас высокопоставленных влиятельных людей и бывших функционеров, впавших в немилость. Окруженная толпой бывших и будущих карьеристов, Ширин-ханум чувствовала себя неловко. Никому не доверяла и утверждала, что мама слишком добра и не замечает дурных намерений окружающих. Она безапелляционно называла их нахлебниками, и даже мама не бралась с ней спорить. «У Незхат-ханум слишком доброе сердце, — говорила она и многозначительно добавляла: — С таким сердцем жди беды».

Семейные узы

Мой отец много лет писал мемуары. В черновом варианте рукописей было много случаев из его детства. Он рассказывал, как его четырехлетнюю сестренку убили, когда та отбивалась от человека, который хотел вырвать у нее из ушей золотые сережки. Она кричала, и вор ударил ее ножом. Этот случай с раннего детства вызвал у отца обостренное желание бороться с несправедливостью жизни. Душераздирающая история, очень эмоционально рассказанная, — но когда настало время издавать мемуары, отцу посоветовали убрать из книги все слишком личное. Мол, великие свершения на общественном поприще важнее убийства сестры. Когда позднее я читала эту книгу — она вышла в 1990-е, — я поразились, какой пустой и надуманной она стала без этих личных историй. В книге, где описываются важные вехи политической карьеры моего отца, не слышен его голос, которым пронизано все в его неопубликованных мемуарах.

Политическая карьера в опубликованной книге представлена во всех подробностях, но личность отца совсем не раскрыта.

Я так жалею, что невнимательно читала отцовские мемуары, когда тот был еще жив. Он дал мне почитать черновик после революции. Тогда я его проигнорировала, даже ощутила легкое снисхождение к этим пробам пера. Лишь после его смерти, когда брат прислал дневники и копию черновой рукописи, я поняла, как много упустила. В неопубликованной рукописи он на удивление откровенно рассказывает о превратностях своего воспитания, в том числе о сексуальных заигрываниях с соседской дочкой в возрасте восьми лет. Без стыда вспоминает о многочисленных случаях флирта с женщинами, которые, невзирая на общественные и религиозные ограничения, открыто заявляли о своих желаниях и потребностях.

Книга начинается с генеалогического исследования и прослеживает историю нашей семьи на шестьсот лет назад; ее корни восходят к Ибн-Нафису, врачу, ученому и хакиму⁵. Четырнадцать поколений мужчин в нашей семье были врачами, обученными также философии и литературе; некоторые являлись авторами важных трактатов. Мой отец подробно описывает достижения на-

⁵ Судья; также врач-мусульманин, лечащий по правилам традиционной арабской медицины.

ших предков в сфере науки и литературы. (Когда я начала преподавать в Тегеранском университете, он сказал, что портрет Ибн-Нафиса, который висел на стене на кафедре права и политологии, должен напоминать мне о трудной задаче преподавателя и писателя.) Я никогда не понимала, как относиться к своим знаменитым предкам. Мы с братом принадлежали к поколению людей, пытавшихся откреститься от прошлого; мы воспринимали предков скорее как обузу и стыдились их, не считая, что происхождение давало нам какие-либо привилегии. Лишь после революции прошлое семьи вдруг обрело для меня значение. При хрупком и ненадежном настоящем я обрела в прошлом суррогатный дом.

Отец моего отца Абдол Мехди был врачом и не интересовался ни политикой, ни обогащением. Семейная легенда гласит, что после смерти своего первого пациента он отказался от врачебной практики, некоторое время пытался преподавать, а потом сделал катастрофически неудачный выбор: занялся торговлей. Врачом он был хорошим, а дельцом никудышным; денег едва хватало, чтобы содержать большую семью. Он женился на моей бабушке, когда той было девять лет; она была из строгой религиозной семьи и первого ребенка родила в тринадцать.

Абдол Мехди был человеком суровым. Его серьезное отношение к миру отражало его высокие

требования к самому себе. У меня сохранилась одна его фотография: на ней он выглядит замкнутым и непроницаемым, человеком, полностью закрытым от мира. Отцовская семья принадле-



*Мой дед
по отцовской линии
Абдол Мехди Нафиси*

жала к шейхитам — диссидентской секте, противостоящей ортодоксальным шиитам, официальной религии Ирана. Дед был духовным наставником секты в Исфахане. Из-за его связей с шейхитами на семью смотрели косо, и она сплотилась в тесное и на первый взгляд самодостаточное интеллектуальное сообщество, возвращая иллюзию, что закрытость поможет защититься от упадничества и соблазнов внешнего мира.

Исфахан моего деда был аскетичным, полным страха и подавленных эмоций, но в неопубликованной части своих мемуаров отец говорит о другом Исфахане, представлявшем собой шоу разнообразных сексуальных извращений. В его воспоминаниях чиновник высокого ранга спит между двумя своими красивыми женами; другой соблазняет мальчиков, включая моего отца, приглашая их поплавать в своем саду. Тут отец делает

отступление и размышляет о сексуальном голоде иранцев, особенно среди юношей; он считает, что это в конце концов приводит к педофилии.

Он с любовью описывает красочные религиозные фестивали, особенно Мухаррам, когда шииты оплакивают мученическую смерть имама Хусейна в битве при Кербеле в Ираке. В ходе праздничных ритуалов толпы выходят на улицы посмотреть, как сотни и даже тысячи людей шествуют по улице, избивая себя тонкими цепями в знак солидарности с замученным имамом и его последователями. Некоторые при этом одеты в черные рубашки, разорванные на спине цепями; другие — в белые саваны. Фестиваль — один из редких случаев, когда мужчины и женщины могут свободно находиться рядом в общественном месте, не боясь, что их накажут. Траур по святому, с гибели которого прошло более 1300 лет, — странный способ выразить подавленные желания, и тем не менее все без исключения выходят на улицы, чтобы посмотреть на церемонию и театральное представление, изображающее мученичество Хусейна. Отцовский кузен Юсуф говорил, что этот праздник — лучший повод пофлиртовать с девушками, и делился с отцом историями своих «побед», которые обычно заключались в том, что ему удалось украдкой пожать кому-то руку. Отец рассказывал, что до начала двадцатого века священнослужители были не только охранителями

религии и морали, но также следили за строгостью чувств и частной жизнью людей. И разве мы могли предвидеть, что случится, когда в нашу жизнь войдут другие картины, звуки, запахи и вкусы, вино и рестораны, танцы, иностранная музыка и открытые отношения полов? Когда все это будет конкурировать со старыми ритуалами и традициями и даже их заменит?

В своих мемуарах отец описывал тех, кто жил в этом старом мире: свою робкую и добрую молодую мать, которая редко смотрела в глаза даже собственным детям; фанатичного дядю, постоянно пытавшегося спасти заблудшего племянника от адского пламени; благочестивых педофилов, напоказ учивших скромности, но вдали от посторонних глаз совращавших своих племянников и племянниц. Сейчас меня поражает даже не столько то, как в таком городе, как Исфахан, могло сосуществовать такое множество противоречий — это свойственно любому большому городу — сколько то, что мой отец всерьез хотел опубликовать эти истории. Публичный человек его поколения должен был быть очень дерзким или наивным (называйте как хотите), чтобы раскрыть так много личного о себе.

Если бы моя мать обращала внимание на отцовские истории, она, возможно, нашла бы в нем то, что искала. Его жизнь казалась намного романтичнее, чем все, что я знала о Саифи. Он был бунтарем

в своей большой семье. Его старший брат абу Тораб, любимчик родителей и очень умный человек, стал врачом, женился на приличной девушке и любил свою жену Батул, добропорядочную благочестивую женщину из той же семьи, что и его мать. Отец был вторым по счету ребенком и не дотягивал ни до абу Тораба, ни до Карима, который в детстве был послушным и подобоострастным, а вырос и стал самым религиозным и консервативным из всех девяти детей. Мой отец же был непутевым сыном; его бесконечно наказывали за мелкие проступки. В неопубликованных мемуарах



*Мой дед по отцовской
линии беседует с дядей*

Хасаном, 1980-е

он описывает, как бунтовал против ультрарелигиозного дяди, строгого учителя, даже против отца, а позже — против правительства. Он почему-то считал, что обостренное чувство справедливости и бунтарство — одно и то же. Рассказывал, что когда в восемнадцать лет решил уехать из Исфахана, тамошнее закрытое общество и узколобое учение отца уже сидели у него в печенках. Своему фанатично религиозному дяде он писал, что не может верить в Бога, который закрыл вход в рай всем,

кроме нескольких сотен шейхитов. Он также не хотел жениться по договоренности. Вероятно, его взгляды на брак сформировались, когда он пытался примирить пуританское религиозное воспитание со своими более романтическими стремлениями. Родители уже подыскиали ему «подходящую» жену. Он же отказался даже рассматривать ее кандидатуру; позже она вышла за его младшего брата.

Судьба распорядилась так, что жизнь моего отца радикально изменилась благодаря отцу моей матери Логману. Мои деды по отцовской и материнской линии были троюродными братьями; они носили одну фамилию. Логман Нафиси приехал в Исфахан по официальным делам, будучи главой особого правительственного агентства. Отец в то время работал в лавке моего деда; семья переживала финансовые трудности. Впечатлившись умом и энергией моего отца, Логман предложил ему попробовать устроиться на работу в местный филиал своего агентства. В отличие от моего деда по отцовской линии, Логман отличался общительностью, был богат, амбициозен и женат на красивой молодой женщине. Он был вспыльчив, играл в карты, пил, но считал себя правоверным мусульманином, молился и соблюдал религиозные ритуалы. Столкнувшись с подобным образом жизни, отец, должно быть, увидел в нем более привлекательную альтернативу трезвости и аскетизму своей исфаханской семьи. К вящему

неудовольствию своего отца, он последовал совету Логмана. Вскоре коллеги убедили его, что в Тегеране ждет большое будущее, и отец попросил о переводе, надеясь, что в Тегеране сможет и работать, и продолжать учиться. В восемнадцать лет, наперекор родительской воле, он уехал из дома без денег, отвергнув устроенную жизнь и не зная, что ждет его впереди.

В Тегеране он поначалу жил у тетки матери. Работал полный день, чтобы содержать себя; самостоятельно выучил французский и английский. Учился по ночам, доводя себя до полного физического истощения. Иногда, чтобы не уснуть, садился в неглубокий бассейн в теткинском дворе, держал книгу перед собой и читал при тусклом свете фонаря. Наконец Логман позвал его в свой дом. Но он начал ухаживать за моей матерью не там. После смерти Саифи мать покинула дом свекра, но, зная, что мачеха ей не рада, переехала к родственникам, бездетной паре, принявшей ее как родную дочь. У этих родственников они с отцом познакомились. Отца пленила ее красота и печаль, а, возможно, будучи человеком молодым и амбициозным, он увидел в ней выгодную партию.

Узнав о решении моих родителей пожениться, их семьи не обрадовались. Родители отца надеялись, что тот женится на девушке из более традиционной семьи, но Логман с его непредсказуемым характером, как ни странно, тоже выступил против

этого союза — вероятно, из-за жены, а может, потому что не считал бедного кузена хорошей партией для дочери. В конце концов он даже не пришел на свадьбу, которую сыграли в доме Аме Тури, родственника, который их познакомил.

Брат отца абу Тораб прислал телеграмму из Исфахана и сказал, что отец консультировался с Кораном по поводу этой свадьбы и получил негативный ответ. Дядя добавил, что, несмотря на это, семья удовлетворится любым решением отца и дает ему свое благословение. В день свадьбы пришла телеграмма. Чтобы брак считался узаконенным, отец невесты должен был дать письменное согласие, а поскольку подписью Логмана заручиться не удалось, отец соврал, что телеграмма, также подписанная фамилией «Нафиси», на самом деле пришла от Логмана. Так началась их совместная жизнь — со лжи.

Святой человек

Хаджи-ага Гассем был настолько свят, что само имя свидетельствовало о его религиозном рвении. В Исфахане все знали его под именем *хаджи-ага* — почетным титулом «хаджи» награждали тех, кто совершил паломничество в Мекку. Он приходился нам дальним родственником и был коллегой папиного дяди из Шираза. Аскетичный, худой, с ученой внешностью, он говорил, наделая глубоким смыслом даже самую незначительную фразу. Высказывался безапелляционно и с некоторым презрением к собеседнику. Он не был интеллектуалом, в отличие от моих многочисленных дядей, которые анализировали ислам и стремились увязать веру с философией и жизнью. Хаджи-аге Гассему было недосуг вдумываться в малопонятные учения; он приберегал силы для частых суровых наставлений. Дома музыку слушать нельзя. Бахаисты — дьявольское отродье. Конституционная революция — британский заговор.

Тонкогубый, с лицом, покрытым короткой щетиной (отличительный знак мусульманских мужчин), ага носил грязно-коричневые костюмы с белой рубашкой, застегнутой под горло. К отцу относился с неодобрением, а матери никогда не смотрел в глаза: еще один признак благочестия. Однажды мы пошли с ним на базар, мои кузены увидели серебряные ложки и захотели их купить, а ага сурово напомнил, что в исламе есть с серебра запрещено. Несмотря на свое чрезвычайное благочестие, он казался — а вероятно, и был — обманчиво любезным.

Я представляю его таким, каким увидела в первую встречу во время одной из поездок в Исфахан. Он говорит с матерью о религии, о дочери пророка Фатиме, ее послушании отцу и мужу, трагической смерти в возрасте восемнадцати лет и ее скромности. Согласись, тихо, но категорично произносит он, скромность не мешает женщине быть полезной или важной. Долг женщины в исламе священен. Мать на удивление восприимчива. Ей нравится его внимание и безапелляционность; в глубине души она также хочет насолить моему отцу, который терпеть не может подобную религиозную чушь. Мать соглашается с хаджи-агой: никто не ценит груз ответственности, который несет мать в семье, особенно дети. Надеюсь, ваши дети не такие, с заискивающим беспокойством возражает ага. Мать качает головой. Мне тогда было шесть,

брату не исполнилось и года, но она уже предвидела свое незавидное будущее.

Отец цинично подначивает хаджи-агу Гас-сема. Если смысл религии в любви к человечеству, почему же евреи, христиане, зороастрийцы, бахисты, буддисты и даже атеисты, раз на то пошло, считаются нечистыми? Правда ли, что только шейхитам открыт вход в рай? Он дразнит этого благочестивого человека, забавляясь почти по-детски. Но ага непоколебим. К беседе присоединяются мои молодые дяди, а мать пытается заставить отца замолчать, бросая на него гневные взгляды. Перед отъездом из Исфахана, к удивлению отца, она приглашает хаджи-агу остановиться у нас в следующем месяце — он едет в Тегеран по делам.

В детстве Исфахан пленял мое воображение. Даже сейчас я помню его широкие и пыльные улицы с тянущимися вдоль них рядами деревьев и великолепные арочные мосты над Зайендеруд — «рекой, дающей жизнь». Когда-то Исфахан был столицей царей из династии Сефевидов и родным городом самого могущественного правителя династии шаха Аббаса, построившего великолепные памятники, мечети, мосты и широкие зеленые проспекты, которыми город до сих пор знаменит. Исфахан был символом мощи и славы Сефевидов, а его название означало «половина мира». Именно

Сефевиды, не желая иметь ничего общего с вражеской Османской империей, в шестнадцатом веке сменили официальную религию Ирана с суннитского ислама на шиитский.

Исфахан отличался от Тегерана столь же разительно, как отцовская линия моей семьи — от материнской. В Исфахане слои древнего прошлого сосуществовали в асимметричной гармонии: руины зороастрийского храма, безупречный голубой купол мечети, памятник славным царям-Сефевидам. А Тегеран, в отличие от Табриза, Шираза и Хамадана, не мог похвастаться древним историческим прошлым. Эта маленькая деревня славилась лишь фруктовыми садами и свирепством местных жителей, но потом, в восемнадцатом веке, основатель династии Каджаров Ага Мохаммед-хан избрал Тегеран столицей. В городе мало что напоминало о древних победах или поражениях, а современным он стал лишь в наше время, при шахах Реза-шахе Пехлеви и его сыне Мохаммеде Резе. В лишенном грандиозного великолепия Исфахана Тегеране возникала иллюзия, что этот город можно трансформировать как угодно, в соответствии с любой фантазией, так как ему не надо было равняться на прошлое. Рядом с суровой красотой Исфахана он казался бесшабашным бродягой без роду без племени.

Шестеро из семерых братьев отца жили в Исфахане; его единственная сестра — в Ширазе. Ближе

всего к нам был абу⁶ Тораб, у которого было девять детей — пятеро сыновей и четыре дочери. Мы вечно гостили то у него, то в маленьком доме моей бабушки, где в саду рос виноград и гранаты. Деда я не помню: тот умер в 1948 году. Помню выложенный голубой плиткой фонтан в прохладном подвале у дяди, где летом нас укладывали на послеобеденный сон.

Отцовская семья практиковала суровую аскезу, которая пугала меня не меньше, чем одержимость хорошими манерами и престижным общественным положением, свойственная семье матери. Семья отца так никогда и не приняла мою мать: они притворялись кроткими и гостеприимными, но на деле держали ее на расстоянии вытянутой руки. Не то чтобы они относились к ней плохо — напротив, они были очень любезны, — но не заметить их молчаливое неодобрение было нельзя. Мать, в свою очередь, относилась к ним со снисхождением и входила в их дом с легкой неуверенностью и, пожалуй, даже вызовом.

У вас те же проклятые гены, говорила она нам с Мохаммадом, когда была нами недовольна; то же самое относилось и к отцу. И когда мы приезжали в Исфахан, становилось ясно, чьи гены нам нравились больше. Дядюшки и кузены одним количеством уменьшали ее авторитет: за одним обедом

⁶ Отец (фарси).

или ужином их могло собраться с два десятка. Со временем мать стала все реже ездить в Исфахан, а мы, невзирая на ее возражения, — все чаще.

Мне шесть лет; хаджи-ага Гассем впервые навещает нас в Тегеране. Его взгляд неотступно следует за мной по дому. Простите мою дерзость, осторожно и вежливо говорит он матери, но вы мне как сестра. Мать любезно улыбается и протягивает ему чашку турецкого кофе. Эта девочка, говорит он, поворачиваясь ко мне, в опасном возрасте, а многие люди не похожи на нас, богобоязненных мужчин. Вижу, у вас есть слуги мужского пола; этой девочке следует одеваться скромнее и покрыть голову.

Мать явно удивлена. Будь на его месте кто другой, она не стала бы терпеть такого поведения, но ему она велит не беспокоиться: мол, первое, чему она меня научила, — быть бдительной. («Опасайся незнакомых мужчин. Не позволяй им себя трогать. Никогда».) Мои родители ведут себя безукоризненно. Отец, хозяин дома, вежлив и лишь иногда сардонически поглядывает на хаджи-агу, когда тот невозмутимо читает свои нотации. Мама ведет себя на удивление тихо. «Люблю, когда люди не притворяются: какие есть, такие есть, — говорит она отцу за ужином тем вечером. — Жаль, что не все так тверды в убеждениях». Она ошибочно принимает упертость за силу, слепой фанатизм

за твердость принципов. Ее полного одобрения не заслуживает даже абу Тораб, глубоко религиозный человек, но с научным складом ума.

Хаджи-ага стоит за моей спиной, пока я делаю домашнюю работу, наклоняется и заглядывает в мою тетрадь. «Что пишешь?» — спрашивает он, тянется и берет учебник, при этом поправляет мне юбку и как бы ненароком проводит рукой по бедру.

В тот вечер родители уходят в гости. Хаджи-ага рано уходит в свою комнату. Мой годовалый братик спит в комнате нане, а я ложусь спать в родительской кровати — привыкла так делать, когда их нет дома. Эта привычка появилась у меня после рождения Мохаммада. Когда родители уходили, тот всегда шел спать в комнату нане, а я чувствовала себя покинутой и одинокой. Я шла спать к ним, а когда они возвращались, то относили меня на руках в мою комнату, и так я чувствовала себя в безопасности. Мне нравится их большая просторная кровать; нравится находить на простыне прохладные места и класть туда ноги.

Меня будит звук чьего-то неровного дыхания. Кто-то крепко держит меня сзади и трогает ниже талии. Мягкая ткань пижамы касается моих голых ног. Но больше, чем прикосновение, меня пугает дыхание, которое учащается, и сопутствующее ему кряхтение, когда он сжимает меня сильнее. Я стараюсь лежать очень тихо, почти задержав

дыхание и зажмурившись. Может, если я зажмурюсь и не буду шевелиться, он уйдет, думаю я. Не знаю, долго ли это продолжается, но он вдруг встает, и я не шевелюсь. Я слышу, как он некоторое время очень тихо ходит по комнате словно кругами по толстому ковру, а потом выходит за дверь. Даже тогда я лежу зажмурившись, боясь, что, если открою глаза, он вернется.

С той ночи я не могу засыпать одна в темноте. Родители решают, что я пытаюсь привлечь внимание, и выключают на ночь свет в моей комнате. Я плохо сплю. Он задерживается у нас в доме еще на одну ночь. Родителям я ничего не говорю, но его стараюсь избегать. Когда он спрашивает, все ли домашнее задание я сделала, я притворяюсь, что не слышу. Когда приходит время ему уезжать, мать зовет меня, чтобы я попрощалась, но я иду в ванную и запираюсь там. Она упрекает меня за грубость. Чему я тебя учила, раздраженно говорит она? Хаджи-ага Гассем — очень хороший человек. Он велел с тобой попрощаться. Сказал, что ты умная девочка.

После этого он приходил к нам домой еще дважды. Я всегда старалась его избегать, даже когда в комнате присутствовали другие. Сейчас я поражаюсь, как ему удавалось ни разу не выдать себя жестом или взглядом. На лице у него всегда было одно и то же отстраненное милостивое выражение. Однажды он застал меня врасплох. Я сидела

на своем обычном месте в глубине сада у маленького ручья. Мне нравились мелкие полевые цветочки, что росли на берегу. В тот день я занималась своим любимым делом: брала камушки, кидала их в воду и наблюдала, как они постепенно меняют цвет. Он подошел бесшумно, присел позади меня на корточки и тихо проговорил: «Что ты делаешь? Ты разве не должна учиться?» Я испугалась и дернулась, чтобы встать, но он схватил меня за талию, вытянул руки и коснулся камушков. «О, как красиво», — сказал он и его руки стали шарить по моим голым ногам. Когда я наконец встала, он встал вместе со мной, по-прежнему хватая меня так, что даже сейчас мне больно это описывать. Сначала у меня пронеслась мысль: придумаю воображаемую девочку, с которой это случилось, как будто не со мной. Но наша с папой игра оказалась слишком легкомысленной для этой истории. Стыд остался со мной надолго. Позже я узнала, что жертва часто чувствует себя виноватой, потому что молчание делает ее соучастником. Жертва испытывает вину также из-за смутного чувства сексуального удовольствия от предосудительного навязанного действия.

«Не позволяй незнакомым мужчинам себя трогать». Но вред чаще всего причиняют знакомые, и я узнала об этом задолго до того, как стала подростком. Опаснее всего те, кто ближе: вежливый

шофер, талантливый фотограф, добрый учитель музыки, уважаемый трезвенник — муж лучшей подруги, богобоязненный святой человек. Те, кому доверяют родители; те, в чьи преступления не хочется верить.

Отец в своих мемуарах описывает распространенность в иранском обществе определенной формы педофилии, которая, как ему кажется, возникает из-за того, что «контакт между мужчинами и женщинами запрещен, и подростки мужского пола могут находиться лишь рядом с матерью, сестрами и тетками». Он считает, что «большинство психических отклонений произрастают из сексуальной неудовлетворенности», и добавляет, что подобные отклонения существуют не только в Иране и мусульманских обществах, но везде, где сексуальность подавляется — например, в строгих католических общинах.

Я же не могу относиться к этому столь снисходительно. Умом я понимаю всю сложность ситуации, знаю, что когда-то браки с девятилетними девочками были не табу, а нормой, и лицемерие в данных обстоятельствах являлось не пороком, а способом выжить. Но все это меня не утешает. И не избавляет от стыда. Я благодарна, что общество, люди, законы и традиции могут меняться, что мы можем перестать сжигать женщин на кострах по обвинению в ведьмовстве, можем отказаться от рабства и забивания камнями, что в наше время

мы достаточно внимательны и защищаем детей от хищников. Поколение моих родителей жило в сумерках этого перехода, но мое выросло совсем в ином мире, где людям вроде хаджи-аги Гассема не было места. Его образ жизни стал табу так же, как инцест, некогда являвшийся общественной нормой, стал преступлением.

Хаджи-ага стал моим первым и самым болезненным опытом домогательств; другие были более случайными, краткими, хотя каждый усиливал чувство стыда, гнева и беспомощности. Я не могла говорить об этом с родителями, ведь те как-никак были взрослыми, как и мои обидчики. Кому они поверят — мне или хаджи-аге Гассему, которого мать уважала и слушала? С возрастом я научилась дистанцироваться от опыта, помещая его в укрупненный контекст. Я стала считать домогательства болезнью общества, а не личным опытом, и это оказало некоторый терапевтический эффект: у меня появилось ощущение власти над реальностью, которую я на самом деле контролировать не могла. Меня успокаивало и одновременно тревожило, что случившееся со мной было обычным делом не только в моей стране, но и везде, во всем мире; что у девочек и мальчиков из Нью-Йорка и Багдада были такие же тайны. Но боль и потрясение от пережитого оставались по-прежнему острыми. Я долго никому не рассказывала. Никогда не писала о хаджи-аге в дневнике, хотя

многократно прокручивала случившееся в голове и даже сейчас помню все очень ярко.

Много лет спустя я наконец поговорила о случившемся с одним из своих двоюродных братьев. Тот сказал, что хаджи-ага был известным совратителем малолетних, хотя, справедливости ради, таких, как он, было очень много. Гораздо хуже приходилось мальчикам, сказал брат, ведь помогать их было намного проще. Он усаживал мальчика на колени за стол, ставил впереди книгу и делал вид, что проходит урок, а сам трогал его и не пускал с колен. Этот разговор состоялся через двадцать лет после происшествия в родительской спальне.

В своих мемуарах отец пишет, что подобное поведение было очень распространено в Иране среди людей, имевших дело с детьми в силу профессии, особенно среди владельцев велосипедных магазинов, сдававших велосипеды мальчикам напрокат. Он упоминает о некоем Хусейне Хане, у которого был велосипедный магазин рядом с лавкой его отца на базаре. До середины 1970-х этот педофил по-прежнему работал в магазине.

Я далеко не сразу смирилась с тем, что в отцовской семье были свои тайны и недомолвки. В их семье тяга к интеллектуальным изысканиям соседствовала с крайним пуританством. Когда я сказала брату, что нельзя до такой степени

подавлять чувства, он ответил: «Возможно, именно так человек и взрослеет». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «То, что определяющими качествами для нас являются именно скрытые, а не выставленные напоказ». Он был отчасти прав, но мне всегда казалось, что того, о чем мы не говорим вслух, как бы и не существует. И вместе с тем в какой-то момент невысказанное, все, что глушится и подавляется, становится таким же важным, как высказанное, а то и важнее.

Ужаснее всего не то, что эти вещи происходили. Я отдаю себе отчет, что сексуальные домогательства и лицемерие, как любовь и ревность, универсальны. Невыносимым казалось то, что эти вещи замалчивали и не признавали публично. Вот что до сих пор кажется мне невыносимым. Полоскать грязное белье — так мы это называли. В четырех стенах, попивая кофе, мамы подружки рассказывали о девочках, которым до брака воспитывали девственность, накладывая швы. Скандалы случались постоянно, но сверху все это было прикрыто гладким глянцевым фасадом и невинно-розовыми выдумками. Защитная ложь была важнее правды.

Пройдет много десятилетий, и мне будет проще дать отпор дружинникам, патрулирующим улицы Тегерана, чем уснуть ночью в одиночестве. Будь хаджи-ага Гассем жив сейчас, смогла бы я взглянуть ему в глаза? Личные страхи и эмоции

подчас сильнее коллективной угрозы. Держа все в секрете, мы лелеем их, как злокачественную опухоль. Если хочешь от чего-то избавиться, нужно сначала заговорить об этом, а чтобы заговорить, надо признать, что проблема существует. Я могла говорить о политической несправедливости и противостоять ей, но о случившемся в тот день в родительском саду — не могла. И в течение многих десятилетий, уже после того, как я достигла совершеннолетия, секс являлся для меня актом подчинения, формой удовлетворения другого человека, в которой я не имела значения. В течение многих десятилетий я испытывала необъяснимый гнев на родителей, особенно на мать, за то, что меня не защитили. При этом мой гнев не был лишен иронии: она же пыталась защитить меня, запрещая встречаться с мальчиками моего возраста, но доверяла взрослым мужчинам и восхищалась их «силой характера», а они-то в итоге мне и навредили.

Смерть в семье

После смерти маминого отца мои родители еще долго размышляли о том, как все могло бы сложиться, проживи он дольше. Размышляли каждый со своей точки зрения. Мать любила и одновременно презирала отца; она считала своим долгом поддерживать с ним отношения на уровне видимости — встречаться раз в неделю, звонить через день, быть вежливой с его второй женой и демонстрировать свою обиду многозначительными молчаниями. И вдруг его не стало.

Он умер внезапно на рассвете от сердечного приступа. Ему было шестьдесят два года, а мне — около двенадцати. Отец уехал в Германию по делам. Я дулась за завтраком, потому что накануне мы с матерью сильно поссорились из-за свитера, который она мне связала. Она заставила меня его примерить, хотя свитер плохо сидел и цвет мне совсем не нравился. Во время завтрака мать позвали к телефону. Кто звонит в такой час?

За стол она не вернулась; вместо нее пришла служанка с взволнованным лицом. «Ведите себя хорошо, дети, — сказала она. — Хозяйка занята». Мы посмотрели друг на друга, поерзали, начали кидаться хлебом, выпили апельсиновый сок и поднялись наверх, ища мать. Я была поражена, увидев ее заплаканное лицо. Не выпуская трубку, она произнесла: «Иди подожди тетю Мину». Мы сделали, что велено, как обычно, без лишних расспросов, ошеломленные ее слезами.

Как сказать ребенку о смерти близкого родственника? Я благодарна тете Мине за то, что та была с нами честна и прямо. Она мягко сообщила о смерти деда и сказала, что мама очень расстроена. Что мы должны думать о ней и беречь ее чувства, особенно учитывая, что папы нет рядом. А можно ее увидеть, спросили мы? «Не сейчас, сейчас вам надо в школу», — сказала она. «Но мы уже опоздали», — пожаловались мы. «Ничего, — ответила она, — я напишу записку директору».

Волнение от нарушения привычного хода вещей и ощущение трагедии, еще не до конца уложившейся в сознании, смешивается в моей голове с бесстыдным чувством собственной важности, гордости от демонстрации своих ран. Я могу сказать одноклассникам и учителю: я опоздала, потому что умер мой дедушка; тем самым я вызову их сочувствие и любопытство. Позже я написала об этом сочинение («Событие, сильнее всего

повлиявшее на мою жизнь») и до сих пор немного стыжусь высокой похвалы, которой оно удостоилось. Любила ли я деда? Опечалила ли меня его смерть? Научила ли чему-то? В сочинении я даю утвердительные ответы на все три этих вопроса. Учитель попросил зачитать его в классе. Мать долго хранила тетрадь, где я его написала. Иногда доставала ее и читала гостям, выразительно зачитывала тщательно подобранные слова, и ее глаза наполнялись слезами.

В тот день после школы мы не пошли домой. Нас отвезли в дом к тете Мине, и ее дочери Мали и Лейла попытались нас отвлечь и развлечь. Я всегда ими восхищалась. Мать часто упрекала меня, что я на них не похожа. Они были моей полной противоположностью: играли на пианино, были образованными, но также очень правильными и придерживались всех традиций. Они были начитаны, но не умничали; независимы, но при этом прекрасно готовили и содержали дом в безукоризненном порядке.

Мы тогда съели много мороженого. Рассказывали дурацкие анекдоты. Накрасили моего милого и послушного братика, надели ему на голову соломенную шляпку с цветами и розовой лентой и заставили расхаживать по дому с дамской сумочкой. Перед ужином вернулась тетя Мина, и мы посерьезнели. Она сказала: «Незхат все еще там, она пытается помочь». «Она выполняет свой

долг», — сказал ее муж. «Незхат никогда не уклоняется от ответственности, — заметила Мина. — Даже напротив, она слишком ответственна...» Тут она осеклась и повернулась к дочери. «Лейла, — сказала она, — отведи ребенка в ванную и умой его как следует». Она взглянула на моего брата и ласково произнесла: «Ты не должен с этим мириться, ты же знаешь? Ты — не их игрушка».

Через несколько дней я увидела фотографию деда в газете, лежавшей на столе у тети Мины, и разрыдалась. Лейла сказала: «Не поздно ли плакать?» Я неловко попыталась объяснить, что не осознавала его смерть до тех пор, пока не увидела, что это написано в газете рядом с его фотографией. Мой ответ был правдой ровно настолько, насколько мое сентиментальное сочинение, но после того, как Лейла засомневалась, я больше открыто не плакала.

Через два дня после смерти деда мы пошли к нему домой. Стояло раннее утро, в доме царил тишина. Нас встретила младшая сестра мачехи моей матери, добрая женщина, которую мать очень любила, ее дочь и пожилой джентльмен, дальний родственник мачехи. Некоторое время мы сидели в прохладной затемненной гостиной. Я разглаживала складки на юбке. Брат вежливо сел рядом; нас угостили пирожными, мы взяли по одному и так и оставили их нетронутыми на тарелке. Мохаммад болтал ногами, сидя на стуле. Я разгля-

дывала фотографии на каминной полке. На одной был изображен мой дед в темном костюме и галстук-бабочке; на другой — мой красивый дядя Али, улыбающийся в камеру; тетя Нафисе с волосами до плеч в черном платье с бриллиантовой брошкой. Снова тетя с моим кузенком на руках; тетя с мужем. Мой взгляд упал на старую фотографию мачехи моей матери, сделанную много лет назад, когда у нее все еще были светло-каштановые волосы; она была в платье с открытыми плечами и смеялась, запрокинув голову — не просто улыбалась, а смеялась. Маминых фотографий тут не было, как и наших, — ни одной.

После нескольких вялых попыток завести разговор жена деда, которая рассказывала пожилому джентльмену, «как все произошло», встала и повела нас наверх, в комнату, где умер дед. Она шла впереди, а мы следовали за ней гуськом, будто она проводила нам экскурсию по дому. Перед рассветом деду стало плохо. Он вышел из спальни и направился в примыкающую к ней маленькую комнату — а может, то была его спальня и они спали в разных комнатах? В этой комнате, залитой солнечными лучами, у стены стояла маленькая кровать. Жена деда сказала, что он ее позвал, сказал, что плохо себя чувствует. Она, видимо, считала своим долгом рассказать нам, как он пришел в ее комнату, разбудил ее, как она позвонила врачу и в этой самой комнате, на этой узкой кровати,

с аппаратом для измерения давления на руке он и умер.

Через несколько десятков лет мне снова вспомнилась эта сцена. В день смерти отца я позвонила в Тегеран передать соболезнования его второй



*Мачеха моей матери.
Родная мать Незхат
умерла, когда та была
совсем маленькой*

жене. Та выслушала мои слова утешения, но не сказала, что ей жаль, что отец умер, не пожалела меня и моего брата. Вместо этого она долго и подробно описывала, как он держал ее за руку и говорил, что ей не надо волноваться и что он благодарен ей за поддержку и заботу. Она описывала, как он выглядел, и говорила о своем собственном горе. Но в ее тоне было что-то еще, кроме горя; думаю, это была жадность. После его смерти она хотела забрать себе

не только вещи, которые принадлежали ему при жизни, но и его самого. Она там была. Комната, в которой он умер, его последние слова, его беспомощность — все это принадлежало ей одной. Мы же были никем; нас выставили на мороз.

Через несколько дней вернулся отец, но они с матерью занялись организацией похорон, и нас оставили с тетей Миной. Я ходила из комнаты

в комнату, вылавливая обрывки разговоров. «Он был хорошим человеком, но наивным и впечатлительным, как Незхат, — сказал мой отец тете Мине. — Жена им понукала, но в последнее время он пожалел о том, как обращался с Незхат, и пытался загладить вину».

«Твоя мать с таким рвением взялась за похороны, — сказала тетя Мина. — Гордость мешала ей это признать, но она всегда чувствовала себя бездомной. Они относились к ней как к бедной родственнице, но теперь все позади, и они ей больше не нужны. Возможно, если бы она открыто выразила свой гнев, отец уделял бы ей больше внимания. Ешь яблоко, — добавила она через минуту с хитрой улыбкой. — Мамы рядом нет, но это не значит, что можно не слушаться!»

Позже я поняла, о чем говорила тетя Мина. У матери не раз была возможность изменить отношения со сводной семьей или стать выше неприязни, но она так этого и не сделала, и не потому, что они отказывались менять свое отношение к ней, а потому что она не могла изменить свое отношение к ним. До самого конца она нарочно позволяла им себя ранить. Ее собственные обида и гордость стали ее злейшими врагами.

Через несколько недель после смерти деда мы ехали к нему домой. Мать начала говорить, что потеряла своего единственного в мире

защитника. Тут тетя Мина не выдержала. Мой дед втайне поддерживал несколько бедных семей и скрывал это от собственной родни. Когда мать это обнаружила, она еще сильнее его зауважала и поверила, что он был альтруистом. Позже она утверждала (искоса бросая на нас гневные взгляды), что «люди» пользовались ее доверчивостью, как пользовались отцовской щедростью. «А что отец сделал для тебя после смерти Саифи? — сурово спросила Мина. — Он был хорошим человеком, но плохим отцом. Перестань уже об этом думать». «Не могу, — ответила мать. — Я всем ему обязана. Он оберегал меня, когда я была маленькой. Теперь у меня никого не осталось в целом мире». Тетя Мина закатила глаза.

«Надеюсь, хоть ты будешь жить своей жизнью, — сказала мне тетя Мина, когда мы высадили мать и поехали к ней домой. — Незхат все забыла. Ее „хороший отец“ посылал ее в школу на машине с шофером, но забывал покупать ей приличную одежду. Помню, однажды мы фотографировались с классом, и твоя мать была единственной, у кого не нашлось жакета. Ей пришлось взять жакет у другой девочки. Она держалась, но я помню, каким это стало для нее унижением».

Позже отец рассказывал, что в последний год жизни дед чувствовал себя виноватым из-за того, как обращался с матерью. Запоздалое чувство ответственности толкало его на попытки загла-

дить вину. Он предложил переводить на родительский счет ежегодные выплаты и даже профинансировал строительство нашего нового дома, так как своего дома у родителей никогда не было. «Незхат не повезло, — сказал отец. — Проживи он дольше, все могло сложиться иначе».

Пока дед был жив, у материнской обиды существовала живая мишень, а ее любимой сказкой была романтическая история их брака с Саифи. Она считала его принцем и своим спасителем. Она любила своего отца, но их разделяло недоверие и обида. Она считала себя благородной покинутой дочерью, которая никогда от него ничего не требовала. Пока он был жив, в его доме всегда имелась для нее комната, но что теперь, когда его не стало? «Этот дом, — говорила она тете Мине, — больше мне не принадлежит». «Незхат, заberi свою долю и забудь, — отвечала Мина. — Тебе никогда не отдадут то, что ты считаешь своим». После смерти деда мать возвысила его до святого и уже не могла винить его в несправедливостях прошлого; теперь она переключилась на мужа.

В пятницу после дедовой смерти в нашей гостиной собралась толпа на поминки. Хвалили его благотворительную деятельность, а неудачи на политическом поприще объясняли честностью. Несдержанность называли признаком искренности и неспособности терпеть лицемерие в любой форме. Мать повторяла, каким он был хорошим

отцом, твердила, что он уделял ее воспитанию гораздо больше внимания, чем другим своим детям. Никогда не забуду, как в доказательство его любви она привела в пример наказания, которые доставались только ей. Рассказала она и о том, как в прошлом году он позвонил ей и сказал, что оплатит строительство дома. Ни на чем не экономь, сказал он ей. Хочу, чтобы у тебя был дом, которого ты заслуживаешь. «Теперь я никогда не смогу жить в этом доме, — со слезами произнесла она. — Я этого не вынесу!»

Этот дом стал метафорой отношений моей матери с самыми близкими людьми. Вся семья потратила много часов на его строительство. Мои родители и молодой архитектор многократно обсуждали каждый угол и каждую комнату. У нас вошло в традицию регулярно ездить на стройку; мы навещали недостроенный дом, как старого друга. Я даже специально надевала юбку, чтобы показать маляру, какого цвета стены хочу в своей комнате. Помню, я сидела у свежеекрашенного бассейна и замороженно смотрела на белую мышку в углу, опьяневшую от токсичных паров краски. Когда дом был готов, мать стала придумывать всяческие предлоги, чтобы туда не переезжать. Сказала, что не сможет там жить, потому что дом напоминал ей об отце. Мой отец возразил, что с нашим нынешним домом связано намного больше воспоминаний. Мать ответила, что новый

дом слишком далеко от центра и это неудобно. В конце концов они сдали его, а потом и вовсе продали; мы так в него и не переехали.

В то время — летом 1960-го — отец редко бывал дома. Он имел большие карьерные амбиции и уверенно поднимался по служебной лестнице на государственной службе. Шах назначил его заместителем мэра Тегерана. Мы с матерью почти каждый день ссорились. Она не пускала меня гулять с друзьями. В дневнике я описывала, как злилась на нее, как чувствовала себя брошенной. 21 марта, накануне персидского Нового года, мы должны были ехать в отпуск на реку Сефид-Руд с семьей тети Мины. Тогда я написала в дневнике: «Я чистила зубы в ванной и услышала, как мать говорит брату: я так больше не могу, она испортит мою репутацию. Не поеду с ней на Сефид-Руд. Она меня не любит и только ждет, чтобы я скорее умерла».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

УРОКИ И УЧЕБА

Но не становятся ли сном
Свершившиеся факты?

Эмили Дикинсон



Отъезд из дома

Дома меня заставляли слушаться, но в школе я быстро заработала репутацию трудного ребенка. Моя форма была вечно заляпана чернилами. Я хорошо училась, но любила только литературу, историю и алгебру, а до остальных предметов мне не было дела. Мы с подругами создали тайное общество «Красные черти»; его целью было мстить учителям. Я подговорила других учеников уйти с урока английского, когда наша учительница слишком увлеклась личными проблемами и весь урок рассказывала нам о своем муже.

Мы с подругами сочиняли песенки о докторе Парсе, суровой директрисе с носом, как у мопса, и пели их в перемены и обеденный перерыв, расхаживая по школьному двору. По утрам директриса заставляла нас вставать перед входом в школу и подвергала осмотру. Тех, чья форма была слишком короткой, кто приходил в школу не в белых носках, а в нейлоновых колготках или пользовался

косметикой и красил ногти, ругали или отправляли домой. Мы смеялись над ней и гадали, есть ли у них с мужем секс. Нам казалось, что никто не может полюбить такую женщину. Однажды нашу подругу выгнали из класса, и я и еще трое «Красных чертей» объявили бойкот. Он длился всего два дня. Отца вызывали в школу почти каждую неделю, но последнее нарушение оказалось слишком серьезным. Нас предупредили, что могут отстранить от занятий.

Еще долго после окончания школы я испытывала дикую злобу всякий раз, когда слышала о докторе Парсе. Та была властной женщиной, как и моя мать, и мне инстинктивно хотелось противиться ей. Перед глазами вставало ее суровое выражение лица, бескомпромиссная строгость, командирский тон, услышав который, хотелось сорвать урок и подстегнуть других учеников к бунту. Лишь в 1979 году, когда она умерла, мне стало интересно узнать о ее жизни. Я выяснила, что ее мать была в числе первых женщин, боровшихся за женские права в Иране; за это ее подвергали нападкам и даже на некоторое время отправили в ссылку. Доктор Парса стала одной из первых женщин-парламентариев. Несколько лет была сенатором, в 1970-е стала министром образования. Ей приписывали изменение текстов учебников: она убрала из них уничижительные описания девочек и женщин. После революции ее арестовали

и в ходе упрощенного судебного процесса признали виновной в разврате, непокорности Господу, пособничестве проституции и сотрудничестве с империалистами. Ходили слухи, что, поскольку она была женщиной и к ней нельзя было прикасаться, во время казни на нее надели мешок. Метод казни не известен до сих пор: то ли ее расстреляли, то ли забили камнями. В последней биографии Парсы говорится, что ее повесили рядом с проституткой, но в свидетельстве о смерти в графе «причина болезни» указано «огнестрельные ранения». Значит, вот какой конец был уготован женщинам, чья жизнь прошла не напрасно?

Как многие поворотные моменты в жизни, решение родителей отправить меня учиться в Англию началось с праздного разговора. Отец сказал, что доктор Парса советовала мне уехать за границу, чтобы оградить меня от «дурного влияния» в нашей школе. Потом он говорил, что хотел защитить меня от враждебности матери, ее бесконечной злобы и гнева. На самом же деле родители решили отослать меня из страны по множеству причин. Они хотели, чтобы я получила «лучшее образование», но при этом настаивали, что их мотивы отличались от мотивов «благородных семейств», которые как раз в этот период начали посылать детей в модные британские и европейские школы-интернаты. Они ясно дали понять,

что, даже если эта идея была им по душе, денег на такую роскошь у них не было. И, посылая меня учиться за рубеж, они приносили жертву. В нашей семье отсутствие денег почему-то считалось символом благородства. А я так и не поняла, сколько денег считается «достаточным» их количеством.

Вопрос учебы за границей впервые встал, когда я училась в восьмом классе. Каждый день родители спорили, куда меня лучше отправить. Одно время рассматривали Америку. Отцу нравились Штаты. В начале 1950-х, когда он работал в Министерстве финансов, его послали учиться в Американский университет в Вашингтоне; там он получил магистерскую степень по бухучету и финансам. Его поразило добродушие и гостеприимство американцев, но больше всего — их свобода выбирать свою судьбу. Отец считал, что Америка — самое подходящее место для такой девочки, как я.

Мать была против: говорила, что люди в Америке грубые, и туда — слишком далеко. Рассматривали также Швейцарию; ее отвергли как чрезвычайно дорогой вариант. Мать сокрушалась: «Жаль, что Ази не говорит по-французски; мой брат Али за ней бы присмотрел». Али жил в Париже, где выучился на врача. Но мне казалось, что она на самом деле не хотела, чтобы я ехала во Францию или учила французский, так как это была ее территория. «Прошу, ни слова больше, — сказала она, когда в колледже я начала учить французский. — Твой

акцент ужасен. Или говори правильно, или вообще молчи». Потом она повторила то, что я прежде слышала много раз: когда два года назад она была в Париже, все так поражались ее владению французским, что принимали ее за француженку. В конце концов французский стал твердыней, которую мне так и не удалось покорить: в присутствии французов я краснела, тушевалась и чувствовала себя настолько неловко, что не могла ответить на простейшую фразу.

Мать считала французов кем-то вроде наших старших, более утонченных родственников; особенно ее восхищали мужчины вроде Наполеона и де Голля. Но наибольший восторг у нее вызывали британцы. Себе на уме, вежливые, но хитрые, они никогда не раскрывали свои истинные мысли. А как еще жители такого маленького острова смогли завоевать весь мир? До сих пор помню спор, разгоревшийся между родителями после приема в честь Линдона Джонсона, который тогда был вице-президентом США. Отец в то время занимал пост мэра Тегерана, и их пригласили на прием от имени Министерства иностранных дел. Мать попросила Джонсона порекомендовать лучшие американские школы, где можно получить основательное британское образование. «Ты разве не понимаешь, что это оскорбительно, так говорить вице-президенту Соединенных Штатов?» — раздраженно спросил отец. «Он должен радоваться, —

парировала мать. — Сам он наверняка закончил хорошую британскую школу».

Питая слабость к британской «правильности», мать убедила себя, что в Британии меня научат уму-разуму. Проблема решилась с помощью аме⁷ Хамдам, любимой кузины матери. Дети ее мужа жили в доме уважаемого англичанина господина Кампсти, владельца Скотфорт-хауса, большого особняка в Ланкастере. Я могла остановиться у него, жить под его опекой и посещать местную школу. Договорились, что мать поедет со мной на первые три месяца, проследит, чтобы все было в порядке, и решит, подходит ли мне это место.

Как-то раз, когда мы прогуливались по просторной террасе дома тети Нафисе, отец с гордостью заявил, что мне повезло, и у них с матерью никогда не было такой возможности; никто не беспокоился об их будущем и не продумывал его до мельчайших деталей. Он хотел, чтобы я была образованна и независима: и моя мать, и отец придавали большое значение образованию и самостоятельности. Он снова напомнил о своем решении уехать из Исфахана без гроша за душой, никого в Тегеране не зная. «Твое положение в обществе и уважение, которого ты добьешься, — сказал он, — должны быть только твоими и не зависеть от того, что ты унаследовала от родителей. Ты едешь в Англию

⁷ Сестра отца, тетя (фарси).

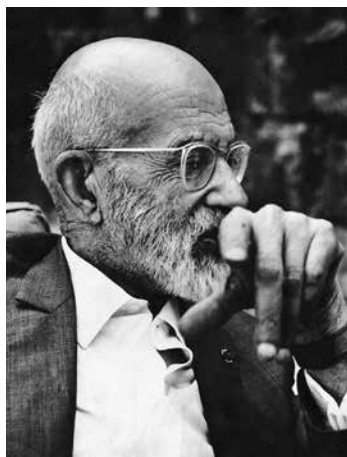
учиться, но мы рассчитываем, что ты вернешься и будешь служить своей родине. Твое место здесь, в стране, которая так много тебе дала». Положение в обществе, служение родине — в нашей семье все отягощалось смыслами.

Месяц перед моим отъездом прошел в вихре прощальных вечеринок. Мы ездили по старшим родственникам, чтобы со всеми повидаться. Одним памятным вечером родители отвели меня к старшему брату аме Хамдам Саиду Нафиси, которого мы называли аму⁸ Саид — дядя Саид. Аму Саид учился в Европе. Он был одним из самых известных современных интеллектуалов Ирана, знатоком литературы и истории. Написал множество книг по иранской истории и литературе и несколько художественных произведений; составил французско-персидский словарь и был автором многих переводов, в том числе «Илиады» и «Одиссеи» Гомера на персидский. Его слабым местом была склонность к графомании; из-за нее он мог быть одновременно глубокомысленным и поверхностным, точным и небрежным.

Мои родители часто водили меня к нему в гости; его дом стоял в конце переулка Нафиси, полузаброшенной улочки, в центре которой бежал пересохший ручей. Зимой в доме было холодно

⁸ Дядя (фарси).

и сыро; он казался темным, словно там всегда был вечер, в любое время суток. Мебель сливалась со стенами, и создавалось ощущение, будто потертые диваны и стулья были призрачными объ-



Аму Саид

ектами, бестелесными, как тайны, что крылись в темных углах этого удивительного дома.

Единственной светлой комнатой в доме была библиотека, где книги стояли на полках и стопками лежали на полу, грозясь обрушиться в любой момент. Книги казались живыми, как черепашки с квадратными спинками и невидимыми лапами.

Когда мы приходили в гости к аму Саиду, всякий раз наставал момент, когда тот улыбался из-под окладистой бороды — а улыбался он редко, — и посылал меня в библиотеку с заданием принести ему определенную книгу с определенной полки. Думаю, именно из-за Саида я всегда представляла волшебные замки из сказок не лучезарными сооружениями, а сумрачными руинами, чьи темные углы хранят тайны, и именно это делает их такими великолепными.

Сам аму Саид отлично годился на роль мага, загадывающего загадки, которые мне очень хо-

телось разгадать. Он был высоким и стройным, с необычайно длинным, вытянутым, словно резиновым, телом. Лицо его было очень живым, при этом ни добрым, ни холодным; из-под очков в роговой оправе выглядывали большие карие глаза, взгляд которых был будто вечно прикован к неизвестной и невидимой точке на горизонте. Поскольку он редко смотрел людям в глаза, меня всегда поражало, насколько он внимателен.

Аму Саид был старше моего отца лет на двадцать. Будучи еще юношей, он застал Конституционную революцию, урезавшую власть абсолютистской монархии и ортодоксального духовенства; на его глазах офицер Персидской казачьей дивизии, впоследствии ставший Реза-шахом Пехлеви, сверг династию Каджаров. Реза-шах поставил себе цель создать гармоничное национальное государство, добиться централизации власти с помощью сети железных дорог и реформировать армию. Иран совершил скачок вперед, но избавиться от старого абсолютизма так и не удалось; тот возродился, приняв форму современной политической диктатуры, которая постоянно подрывала деятельность собственноручно учрежденных институтов — парламента и системы правосудия.

В 1921 году аму Саид и несколько его коллег-писателей и интеллектуалов основали Иран-э Джаван (клуб «Молодой Иран») — объединение, чьей целью было установление в Иране демократии.

Группа призывала к отмене юридических и судебных привилегий для иностранцев, строительству железных дорог в разных частях страны, запрету опиума, бесплатному обязательному образованию, ослаблению ограничений для молодых иранцев, желающих учиться за границей, строительству музеев, библиотек и театров, эмансипации женщин и так называемому «принятию прогрессивных аспектов западной цивилизации». Наконец, участники требовали установления светского государства и отделения гражданского законодательства от религиозного. Следующее поколение иранцев — ровесники моих родителей — тоже состояло в клубе «Молодой Иран», но теперь тот был уже не активным культурным и политическим сообществом, а просто модным клубом, где люди общались и играли в карты. Вот как все изменилось за двадцать лет.

В нашей семье аму Саид был постоянным камнем преткновения. Он обрел скандальную славу, опубликовав «роман с ключом» «На полпути к краю», в котором разоблачал упадничество и политическую некомпетентность иранской элиты и ее подозрительную преданность западным державам, особенно вездесущим британцам. Известные иранцы, состоящие в масонском ордене, изображались в романе агентами британского правительства. После выхода книги у Саида ухудшились отношения с братом, министром финансов, чьих

друзей он раскритиковал в романе (некоторых совершенно незаслуженно). Его взгляды по этому вопросу были зачастую утрированными и граничили с паранойей.

Аму Саид был невозможным в общении человеком. Родственники гордились его литературной репутацией, но злились из-за его нападок на их друзей и коллег. Позже его вынудили восхвалять шаха и отказаться от критики, чтобы иметь возможность продолжить свою литературную карьеру и зарабатывать на жизнь. Несмотря на это и постоянные, годами продолжающиеся финансовые тяготы (что привело к конфликтам в семье и проблемам в браке), об аму Саиде в нашей семье отзывались с таким благоговением и почтением, что его образ жизни казался мне достойной альтернативой богатству и власти, которых мои родители и жаждали, и стыдились. Ни его финансовые, ни личные, ни политические неурядицы не помешали сформироваться образу мага: именно таким я его всегда воспринимала.

Тем вечером, когда мы пришли его навестить, аму Саид повернулся ко мне и, не глядя в глаза, произнес: «Возможно, ты этого не знаешь, но меня послали учиться в Европу, когда это было доступно немногим. Мир — наш мир здесь, в Иране, — тогда был куда более замкнутым. Мы тянулись к знаниям. Надеюсь, ты не будешь принимать как должное то, что у тебя есть». Не дожидаясь моего ответа,

он добавил: «Теперь ты будешь совсем одна. Уже думала, кем хочешь стать?»

У меня с языка чуть не сорвалось «хочу быть как вы», но это прозвучало бы слишком подобострастно, и я ответила, что не знаю. «Должна же у тебя быть ролевая модель», — сказал он. Я прошептала, что у меня ее нет. И не успела выговорить это — даже раньше, чем произнесла слова, — поняла, что навлекла на себя неприятности. «Но должен же быть кто-то, кем ты восхищаешься, кто-то, на кого хочешь быть похожей?» — спросил он. «На Рудабе», — выпалила я наконец, вспомнив свою любимую героиню «Шахнаме».

«Так-так, значит, не Ростем, а Рудабе. Неплохой выбор, — заметил он. — Странно, что ты о ней вспомнила. Иди в библиотеку», — и он велел принести определенную книгу с определенной полки. «Это мой прощальный подарок, — он вручил мне книгу. — Когда-нибудь ты прочтешь эту книгу и, возможно, поблагодаришь меня за это. Я дарю ее тебе, потому что ты восхищаешься Рудабе». Это оказалась поэма «Вис и Рамин» Фахраддина Гургани, жившего примерно в одно время с Фирдоуси.

Тем вечером, возвращаясь к машине по узкому извилистому переулку, по которому тек пересохший ручей, я чувствовала недовольство матери. Надо было сказать, что она — моя ролевая модель. Она никогда не умела отличать важное от три-

виального. В машине она сидела молча, и я тоже, потому что знала, что она злилась, и знала, что из-за меня. Отец, как обычно, попытался всех помирить и разрядить напряжение.

«Между прочим, — назидательным тоном говорил он, — когда аму Саид был маленьким, в нашей стране не было даже нормальных школ. Детей из привилегированных классов учили дома или в мектебе — маленькой комнате, куда набивались ученики всех возрастов и с раннего утра до вечера обучались под началом священника самого низкого ранга. Аму Саид одним из первых пошел в современную школу. Его отец, личный врач короля, одним из первых основал такую школу в Иране». Ни мать, ни я не ответили, но отец спокойно продолжал, решив, будто мы слушаем: «Твоя мать очень мудро подметила, что ты должна знать историю своей страны. Ты уже в таком возрасте, когда к таким вещам надо относиться серьезно. Недостаточно знать содержание „Шахнаме“; обращай внимание и на настоящую историю». Я терпеть не могла, когда отец говорил таким тоном, лишь чтобы ей угодить. Она бросила на него полный ненависти взгляд и отвернулась к окну.

Вечером, когда я попыталась поцеловать ее перед сном, мать отвернулась и произнесла: «Иди и поцелуй свою воображаемую ролевую модель, свою Рудабе». Я пошла в свою комнату, сдерживая слезы и сжимая в руке подаренную аму Саидом

книгу. В ней рассказывалась история двух возлюбленных, предназначенных друг другу судьбой, как в легенде о Рудабе. И что мне было делать с поэмой в несколько сотен страниц, написанной несколько десятков лет назад? Я попыталась читать ее в кровати. Но это было сложно, и я взяла другую, знакомую книгу. Лишь через двадцать лет, уже после революции, я поняла, какой редкий дар получила в тот день.

История Рудабе

Я ВНИМАТЕЛЬНО слушала все отцовские рассказы, но некоторых ждала, почти не шевелясь и затаив дыхание. Например, историю Рудабе. Она и в детстве вызывала у меня сильные чувства, и до сих пор их вызывает. Раньше я не понимала ее глубокий смысл, но повторяющиеся мотивы из сказки о Рудабе снова и снова возникали в моей жизни в разные ее моменты. Пока я не начала писать эту книгу, я даже не вспоминала, что выбрала имя «Рудабе» для своей воображаемой подруги, которая внезапно напоминала о себе с укором в самое неподходящее время и требовала безраздельного внимания.

Рудабе и Заль были родителями Ростема, главного персонажа «Шахнаме» и, пожалуй, самого популярного мифического героя персидской литературы. Ростем жил четыреста лет; храбрый, как Ахилл, хитроумный, как Одиссей, он был важнее царей, чьи империи защищал и отстаивал. Но мне

всегда было интереснее читать не про Ростема, а про его родителей: Рудабе и беловласого Заля.

*Такую растит он красавицу-дочь,
С которой и солнцу тягаться невмочь.
Как будто из кости слоновой она,
Как утро, прелестна, как тополь, стройна.
По снежным плечам два аркана скользят,
В блестящие кольца свиваясь у пят.
Лицо — что гранатовый цвет, алый рот —
Граната зерно, грудь — гранатовый плод.
Глаза — два нарцисса, питомца весны;
Как ворона крылья, ресницы темны,
И луку Тараза подобная бровь,
Как мускус чернеет, вселяя любовь.
Дыханье красавицы — амбры свежей;
Она затмевает светило ночей;
Как сад расцветающий, взор веселит,
Усладу, и негу, и счастье сулит.*

Бровь, подобная «луку Тараза», нос — «серебристый тростник», маленький рот — будто «сжавшееся сердце отчаявшегося мужа». Я столько раз заставляла отца повторять историю влюбленных Рудабе и Заля, что в конце концов выучила ее почти наизусть. Рудабе стала первой из долгой череды литературных героев, которыми я была одержима и с кем себя в той или иной мере ассоциировала.



Заль и Рудабе: иллюстрация из детской книги моего отца

Рассказывая историю Рудабе, отец начинал так: сын Наримана Сам был самым могучим воином в Иране. Его жена произвела на свет прекраснейшего в мире младенца с лицом, «лучезарным, как солнце», но волосы у него были белые, как у старика. При виде этих волос Сам пришел в ужас и велел бросить младенца в лесу. Мать пыталась спасти сына, оставив его рядом с высокой горой, где жила громадная мифическая птица Симург. Симург сжалился над Залем, укрыл его и накормил, и растил как своего птенца. Заль вырос славным юношей, был бесстрашен и силен. Однажды в горах проходил караван, увидел Заль, и о нем распространилась слава.

Поскольку, как говорит Фирдоуси, «не скроешь от света ни зла, ни добра», однажды Сам, снедаемый виной, увидел сон, в котором его брошенный сын оказался жив. В следующую ночь ему приснилось, что на вершине горы поднялось знамя и юноша возглавил армию; по одну сторону от него скакал мудрец, а по другую — высокопоставленный жрец. Тогда Сам пожалел о своем опрометчивом деянии и, посоветовавшись с мудрецами, отправился на поиски сына. Он нашел его во владениях волшебного Симурга, попросил прощения и пригласил ко двору. Заль не хотел покидать Симурга. Но птица-великан подарила ему свои перья и сказала, что, случись ему попасть в беду, надо бросить перо в огонь и призвать ее на помощь; тогда птица прилетит, приняв форму черного облака.

Царь Манучехр, внук Иреджа, призвал Сама на войну, и тот оставил Залью управлять своими владениями. «Сын, будь справедлив, живи беззаботен, и щедр, и счастлив», — наказал он Залю. Заль последовал отцовскому совету, созвал мудрецов со всех концов своего царства и долго учился под их началом. Потом он решил объехать свои обширные владения. Странствия завели его в Кабул (столицу современного Афганистана), тогда бывший столицей владений царя Мехраба⁹.

⁹ Написание имени как у Ц. Бану.

Дочь Мехраба, прелестная принцесса Рудабе, подслушала разговор родителей и узнала о красоте Заля, его мужестве и героических подвигах. Она влюбилась в юношу. Она призналась служанкам, что влюблена и ее любовь «подобна морской волне, чей гребень тянется к небесам». «Я засыпаю и даже во сне он никогда меня не покидает. А место в сердце, где должен быть стыд, наполнено любовью, и днем и ночью я представляю его лицо. Помогите, что вы мне посоветуете? Нам нужен план, мы должны освободить мое сердце и душу от этого мучительного чувства».

«Совсем стыд потеряла? — упрекнули ее служанки в ответ. — Ты думала о том, что это будет значить для твоего отца?» Неужели Рудабе и впрямь захочет обниматься с тем, кто выращен птицей в горах, кто стал притчей во языцех за свою странность?

Служанки напомнили, что при желании Рудабе может взять в женихи любого; к чему сохнуть по незнакомцу, который похож на старика и выглядит чересчур эксцентрично?

Для меня странность Заля была одной из его самых привлекательных черт, и то, что Рудабе выбрала такого жениха, лишь возвысило ее в моих глазах. Я также симпатизировала ей, потому что отец расставил в этой истории определенные акценты. И когда я сама ее прочитала, меня было уже не оторвать. Отец же говорил: «В то время

для девушки было немыслимым не подчиниться родителям. И ты не думай, что это правильно. Если идешь наперекор родителям, на то должна быть уважительная причина».

Однако Рудабе уже решилась, и никакие мольбы и предрассудки не могли заставить ее передумать. «Бессмысленно слушать ваши глупые разговоры. Не нужен мне ни китайский император, ни царь Запада, ни владыка всей Персии. Сын Сама, Заль — вот кого я хочу в женихи. Лишь он с его львиной силой и статью меня достоин. Зовите его хоть стариком, хоть юношей — он станет моим телом и душой».

Сцену, в которой Заль впервые навещает Рудабе во дворце, я знала наизусть. Я столько раз представляла ее во всех подробностях, что даже была немного разочарована, прочитав ее описание у Фирдоуси. Стоя у окна на верхнем этаже дворца, Рудабе услышала Заль и распустила волосы; те заструились с высокой ограды: «за змейкой змея, за колечком кольцо». «Хватайся за косу, взбирайся! Она, возлюбленный мой, для тебя возвращена», — сказала Рудабе Залью. Заль пораженно уставился на ее лицо и волосы, но отказался карабкаться вверх по волосам. Вместо этого он сделал лассо из аркана своего слуги и молча накинул петлю на зубец башни. Петля зацепилась, и Заль вмиг преодолел шестьдесят локтей. Они с Рудабе обнялись, поцеловались и выпили вина.

*И с каждым мгновеньем любовь их росла,
Рассудок далеко, страсть близко была.
И так до рассвета часы протекли...
Но вот барабаны забили вдали.
Прощаются дева и Заль: обнялись,
Подобно утку и основе сплелись.*

Семьи влюбленных противились их союзу. Хотя царство отца Рудабе теперь находилось под управлением Ирана, он происходил от злейшего врага Ирана царя-демона Зохака, и семьи друг другу не доверяли. Царь Манучехр и отец Заля Сам упрекали Заля в том, что тот захотел жениться на девушке из рода Зохака. Возлюбленным пришлось преодолеть множество препятствий и испытаний и вступить в тайный сговор, прежде чем они смогли наконец пожениться.

Вскоре после свадьбы Рудабе понесла. Беременность протекала тяжело; лицо ее «пожелтело, как шафран». Она жаловалась матери, что в не в силах выносить тяжелый груз; ей казалось, она умирает. Однажды она лишилась чувств, и врачи не смогли привести ее в сознание. Убитый горем Заль вспомнил о перьях, которые дал ему Симург, велел призывать его на помощь в минуту беды. Он бросил перо в огонь; явился Симург. Он сказал, что Заль должен радоваться: скоро у него родится сын, храбрости и доброте которого не будет равных во всем мире.

Ненасытный Ростем питался молоком десяти кормилиц, а после отлучения от груди ел за десяти-терых взрослых мужчин. Он был красив и силен, как его легендарный дед, и унаследовал от него воинскую доблесть. Более четырехсот лет Ростем защищал Персию и сражался за нее; ни один царь без него не чувствовал себя в безопасности. О его храбрости и смекалке ходили легенды.

Позже, когда я читала «Шахнаме» сама, мне пришлось голову, что отец изобразил Ростема почти безупречным, но была у него одна роковая слабость: его настолько увлекали дела государственные, что для дел сердечных попросту не оставалось места. Он по ошибке убил в бою своего сына Сохраба. И мне хотелось думать, что отказ открыться любви дорого ему обошелся. Но это уже другая история.

Определяющим качеством мужчин в «Шахнаме» было проявление физического мужества; они были воинами, хотя герои, которым читатель больше всего сочувствовал, — герои наподобие Иреджа — отличались сложной натурой и тонкостью чувств, моральной крепостью и честностью. Но женщины, подобные Рудабе, обладали храбростью иного рода, проявлявшейся на более личном уровне, но от этого не менее важной. Рудабе привнесла в историю чувства и эмоции, которых мужчины наподобие Ростема чурались и избегали. Однако вся слава великих воинов блекла по сравнению

с любовью, ради которой Рудабе готова была пожертвовать жизнью.

Многие главные героини «Шахнаме» были иностранками, и Рудабе — не исключение. Ее помнят как мать Ростема; ее свекор, муж и позже сын совершали отважные подвиги, сражались в войнах и прославили свою страну. Женщины же у Фирдоуси увековечены как матери, жены, возлюбленные. Они тоже проявляют храбрость, но иную: вопреки всему отстаивают свою любовь и выбирают любимых мужчин. В параллельном мире художественного вымысла Фирдоуси создал персонажей, не подчинявшихся нормам общества, в котором он жил, и нарушавших его табу. Эти женщины, не имевшие никаких социальных притязаний, обладавшие открытой, свободной чувственностью и твердой настойчивостью, казались мне куда романтичнее и привлекательнее героев-мужчин.

В «Шахнаме» есть героини, проявляющие физическое мужество: они надевают мужское платье и сражаются на поле боя. Такой была красавица Гордафрид. Но именно благодаря Рудабе в моем сознании зародился образ иной героини, чье мужество проявляется на личном, более незаметном уровне. Она ни на что не претендует, не стремится спасти человечество и победить силы Сатаны; она тихо бунтует и совершает смелые поступки не чтобы заслужить похвалу, а потому что не может по-другому. Такую героиню можно упрекнуть

в ограниченности и уязвимости, но эта уязвимость дерзка; она бросает вызов мизогинному взгляду поэта и его времени.

Ролевыми моделями моего детства были именно такие героини, воображаемые женщины из отцовских историй, эротичные и чувственные героини Фирдоуси, а вовсе не пассивные сказочные принцессы и хорошие девочки, получавшие награду за свою «правильность». Позднее, когда я наконец прочла поэму «Вис и Рамин» — прощальный подарок аму Саида перед моим отъездом в Англию, — я познакомилась еще с одной удивительной историей, которая глубоко на меня повлияла. Все эти произведения были пронизаны едва уловимым привкусом подавленной чувственности, которая пробивалась наружу в идеализированных женских образах. История Вис и Рамина, написанная через сорок лет после «Шахнаме» Фирдоуси, повествует о доисламском зороастрийском Иране и является очередной попыткой восхвалить и вернуть ушедшую иранскую культуру. Рассказчицей выступает Вис, прекрасная и отважная. Ее красноречивая приземленность и здоровая чувственность вселяют жизнь в абстрактные поэтические строки. Взгляните на этих великолепных женщин, думала я; они являются порождением мизогинных иерархических обществ, но именно вокруг них закручивается сюжет вопреки литературным традициям. Ведь все должно вращаться вокруг героя-

мужчины. Однако активное присутствие этих женщин меняет ход событий и заставляет героя сойти с традиционного пути, очнуться и изменить образ своего существования. В классической иранской литературе активная героиня всегда в центре внимания; она является катализатором событий. Продолжая читать иранскую поэзию, я ничуть не удивилась, наткнувшись на стихи Фору́г Фаррохзад, нашей поэтессы, которая спустя почти тысячу лет после Гургани восхваляет своего возлюбленного в строках, полных неприкрытой чувственности и абсолютной честности. Наша лучшая поэзия всегда нарушала правила и подрывала устои, переформулировала и переформатировала реальность и наше ее восприятие. В творчестве современных поэтесс прослеживаются черты непокорных героинь Фирдоуси и Гургани. Такие героини встречаются не только в произведениях Фору́г Фаррохзад, Джалех Аламатадж и Симин Бехбахани, но и в западной литературе. Кэтрин Эрншо из «Грозового перевала», остиновская Элизабет Беннет, Доротея Брук из «Мидлмарча», Джейн Эйр Шарлотты Бронте и стендалевская Матильда де Ла-Моль — все это героини такого типа. Даже кроткая София Вестерн из «Истории Тома Джонса» и раздражающе благочестивая Кларисса Харлоу Ричардсона выделялись из ряда традиционных женских героинь тем, что противостояли родительскому авторитету, обществу и общественным

нормам и заявляли о своем праве выйти замуж за собственных избранников. Возможно, именно потому, что в реальной жизни женщины были так много лишены, в литературе они становились бунтарками и не принимали навязанные им авторитеты, вырывались из рамок старых структур и упорно отказывались подчиняться.

Несколько недель до моего отъезда в Англию пролетели незаметно. Тогда в Иране была популярна песенка знаменитого певца об отъезде своей возлюбленной. Он называет ее «моей наступившей весной», оплакивает прощание и надеется, что она останется ему верна. Услышав песню, мать всякий раз поворачивалась ко мне, и в ее глазах блестели слезы. Приготовления к нашему путешествию отняли у нее все время, и ей было некогда со мной ссориться, хотя поводы все же находились: мы спорили из-за одежды, из-за того, как поздно можно задерживаться, гуляя с друзьями. Они с Монир-джун вязали шарфы и свитеры, чтобы мне хватило на много лет вперед. В Англии холодно, говорила мать; мне понадобится много теплой одежды. Брат объявил прекращение огня, и мы перестали ссориться; он даже не подслушивал мои разговоры с подругами. Несмотря на нашу сильную привязанность друг к другу, мы с Мохаммадом всегда соперничали. С моей стороны это выражалось в ревности из-за внимания, которое уделяла

ему мать. Мохаммад относился ко мне более трогательно: хотя я иногда его обижала и мать вела ему всегда ей жаловаться, он ни разу на меня не донес. Вероятно, он даже не желал со мной соперничать, а, напротив, хотел, чтобы я приглашала его в свои игры, ведь я как-никак была старшей сестрой. Он подслушивал мои разговоры с подругами и в подражание мне тоже завел дневник и стал писать в нем «мемуары». У меня до сих пор сохранилось несколько страниц этого дневника, исписанных его детским почерком. «Дорогой дневник, мне девять лет, я пишу в блокноте своей сестры...» Но Мохаммад, ко всему прочему, был очень изобретателен; он пытался устроить дома то химическую лабораторию, то библиотеку — с помощью нашего дяди. Со временем мы перестали соперничать и начали общаться искренне, поняв, что у нас общие интересы.

День отъезда запомнился мне чередой очень шумных прощаний, перемешанных с бесстыдными слезами, истерическими протестами и внезапной тишиной, наступившей в самолете и возвестившей о неизбежном свершившемся факте, который уже не могла изменить никакая жалость к себе. Я тихо сидела у окна, и мне вдруг показалось, что мы с мамой остались одни во всем белом свете. Она показала мне, как пристегиваться, и взяла меня за руку, а я пыталась совладать со слезами. Через некоторое время она очень тихо заговорила.

Мне повезло, сказала она, у меня есть родители, которые обо мне заботятся и любят меня так сильно, что согласились на разлуку. Вот у нее никогда не было матери, поэтому она была несчастна и никому было ее утешить. «Хочу, чтобы у тебя было все то, чего не было у меня», — произнесла она. Вскоре ее голос стал мечтательным, и она нараспев рассказала историю, которую впоследствии повторяла еще много раз.

«Мне было четыре года, — сказала она и взяла меня за руку, будто боялась, что я сбегу. — Тогда мы жили в Кермане, в доме, окруженном огромным садом. Сейчас их осталось так мало — старых персидских садов с высокими деревьями, журчащими ручьями и маленькими полевыми цветочками, растущими по берегам. Ночью меня разбудил женский плач. Я бросилась в гостиную и увидела тетю, мою *нане* и служанок — они все там собрались. Отец тоже был с ними. На меня никто не обращал внимания. Отец вышел на веранду, и я пошла за ним. Было очень темно, но, по-моему, луна уже взошла. Я боялась деревьев и их теней и почти бежала, чтобы угнаться за ним. Он шел по берегу большого ручья, что тек через весь сад. Потом он вдруг остановился. Я тоже остановилась. Там, на земле у ручья, лежало тело моей матери».

Больше о матери она ничего не помнила. Позже, снова пересказывая мне эту историю, она уменьшила свой возраст с четырех лет до трех и наконец

до двух. Вторая жена деда говорила, что когда моя бабушка умерла, мать была уже взрослой девочкой, ей было не меньше семи-восьми лет, но ее показания расходятся со словами тетки матери со стороны отца (моего деда), которая поддерживала ее в сговоре против мачехи: та тоже говорила, что Незхат была совсем маленькой, когда умерла ее мама. Также никто не может точно сообщить возраст бабушки на момент смерти: сначала мать сказала, что ей было восемнадцать, потом уменьшила возраст до шестнадцати. Впрочем, это не имело значения; суть в том, что она умерла очень рано, когда моя мать была совсем ребенком.

Сейчас меня поражает, что всякий раз, когда мать рассказывала эту историю — а за годы это случалось многократно, — это всегда происходило одинаково. Сперва ее тон становился мечтательным и словно механическим; этим тоном она всегда выкапывала воспоминания, которые мы не могли с ней разделить. Как ни странно, из-за этого ее рассказ проникал в самое сердце. Я совсем не знала женщину, что когда-то танцевала с Саифи, но эта, застывшая от страха при виде трупа матери, была мне слишком хорошо знакома.

История всегда обрывалась в момент, когда она видела тело. В прошлом богатые люди омывали своих мертвых в ручьях, что текли у них в саду, и только потом передавали в морг. Я часто пыталась представить эту картину и мысленно шагала

за матерью вдоль берега ручья, останавливаясь у тела бабушки. Я представляла, что было дальше. Поняла ли она, что случилось? Заметил ли ее отец, увел ли прочь? Обнял ли он ее?

Наши мертвые навек застывают в одном и том же обличье в созданных нашим воображением саркофагах. Мы меняемся, и они тоже меняются, особенно те, кто умер в молодости, как Саифи и моя бабушка. Сейчас мне кажется странным не сам факт, что бабушка умерла, а то, что ни у кого не осталось о ней воспоминаний. Никто ни разу не сказал: о, это было любимое блюдо твоей бабушки; это напоминает мне Шамолук-ханум. Дед никогда о ней не упоминал. Мы даже не знали, где ее похоронили. Думаю, мать никогда не была у нее на могиле и не знала, где та находится. Все это причиняло мне сильную боль и заставляло сочувствовать матери, даже когда я на нее злилась, ведь она не помнила о своей матери ничего, кроме ее смерти, и никогда не говорила, какой та была при жизни.

Перелет в Лондон запомнился мне по многим причинам, однако те несколько минут, что мать рассказывала мне эту историю, сила, с какой она сжимала мою руку, и тишина, последовавшая за ее рассказом, навсегда отпечатались в моей памяти. Тогда я ничего не чувствовала к покойной бабушке, о которой ничего не знала. Лишь со временем я начала о ней задумываться. Но история ее смер-

ти оказала чудотворное действие на мои чувства и отношение к матери. Я начала сопереживать маме и понимать, почему она так зла на мир. Я жалею, что нельзя воскресить бабушку и сделать так, чтобы им с мамой не пришлось переживать эту сцену, ту самую ночь, когда бабушка умерла. Мне захотелось утешить мать. Теперь я жалею, что так этого и не сделала. Вместо этого я беспечно спросила: «А что было дальше?» Мать не ответила. В отличие от отца, который мог говорить о себе бесконечно и анализировал все с ним случившееся, мать выстраивала свои истории таким образом, что у них не было начала и конца. Как правило, они состояли из одного события — грандиозного события, которое преподносилось нам как загадка, наделенная всевозможными смыслами и толкованиями.

Подобно Саифи, бабушка отсутствовала в нашей жизни, однако мы отчетливо ощущали ее присутствие. С годами мы поняли, что ее смерть сформировала мать и сделала ее такой, какой мы ее знали. В «Золушке» и «Белоснежке» покойная мать — всего лишь сюжетный ход, ее отсутствие важнее присутствия. Сказка не может существовать без конфликта и горя; сказочные герои обязательно боятся потерь и всегда надеются вернуть утраченное. Если бы моя бабушка выжила, у матери не было бы мачехи. Злая мачеха — всегда самый яркий персонаж сказки, она живет всех живых,

ее злонамеренность запускает целую череду действий и реакций. Моя мать разыгрывала свою версию «Золушки», но ее прекрасный принц умер. И в награду за долготерпение она не получила вечного покоя и счастья.

Но чтобы привлечь принца, даже Золушка должна была вести себя определенным образом, а моя мать такой способностью не обладала. Со временем ее злость на прошлое ослабла и превратилась в фоновое недовольство настоящим. Ей казалось, что мы ее подвели. С каждым днем ее призраки становились все более реальными, а мы, семья — далекими и недостижимыми.

Не знаю, что бы случилось, если бы я не провела эти три месяца в Ланкастере в обществе своей матери. Тогда я этого не понимала, но мой опыт остался со мной навсегда и породил новое чувство: если хотите, слабость к ней, на основе которой я в дальнейшем переоценила все наши отношения. Он стал маленькой каплей, хранящей память о том, что когда-то мать была частью большой многоводной реки, и стоило один раз представить эту реку, как забыть ее было уже невозможно.

Скотфорт-хаус

МЫ ПРИВЫЛИ на вокзал Ланкастера обманчиво солнечным днем. Вскоре я узнала, что в Англии вечно идет дождь, а небо всегда серое, и стала страшно скучать по иранской погоде; но без дождя и серого неба не было бы ослепительно изумрудных лугов и волшебных синих колокольчиков. На вокзале нас встретил высокий дородный мужчина на костылях; его сопровождала Этель, экономка.

По слухам, господин Кампсти, известный под прозвищем Шкипер, служил капитаном корабля и получил ранение в результате несчастного случая, вероятно, во время войны. Но с ним была связана и более любопытная история — рассказывали, что у него был роман с бывшей хозяйкой Скотфорт-хауса, богатой женщиной. Они полюбили друг друга, и он бросил свою жену и детей. После смерти хозяйка оставила ему особняк и все свои деньги. Я видела бывшую семью Шкипера

один раз, через три года после моего приезда в Англию, когда он умер и оставил все свое имущество экономке Этель. Все это вызывало сомнения в его порядочности, а также в том, является ли этот человек подходящим для меня опекуном, но его порекомендовала сестра аму Саида, безупречная аме Хамдам, а та не могла посоветовать плохого.

Мать приехала со мной, чтобы помочь мне обустроиться, но с момента нашего приезда перевернула дом вверх дном, пытаясь обеспечить мне комфорт, в котором, как ей казалось, я нуждалась. Условия проживания в Скотфорт-хаусе ее ужасали; обитатели дома, в свою очередь, ужаснулись, столкнувшись с ее поведением. Мать была всем недовольна: в ванной не было душа, посуду мыли плохо. Она следовала по пятам за Кристиной, робкой горничной, чьи руки вечно тряслись от страха, заходила на кухню, отнимала у нее тарелки и заставляла бедную женщину промывать и споласкивать тарелки, не касаясь раковины. Шкипер обещал исправить ситуацию в ванной, но вскоре стало ясно, что устанавливать душ ради временной жилички он не собирается, и в конце концов мать купила мне пластиковый ручной душ и заставила им пользоваться, а ванну принимать запретила.

Этель приносит завтрак, а Кристина убирает со стола. Овсянка, глазунья из двух яиц — я тут же раздавливаю желтки, намазывая яич-

ницу на тост, — сливочное масло, джем, чай. В первый школьный день мы садимся на стулья и завтракаем; мать смотрит на меня и прыскает со смеху. На мне школьная форма: темно-синяя юбка, белая рубашка, темно-синий свитер, блейзер с эмблемой школы на кармашке и темно-синий берет, который я сразу возненавидела. Она снимает берет — тот все время сползает — и кладет его на стул рядом с портфелем. За завтраком не надо сидеть в берете, говорит она, хотя, пожалуй, пора привыкать. Она повязывает мне школьный галстук, снова смотрит на меня и опять смеется. Бедная Ази, производит она с несвойственным ей сочувствием. Я в недоумении, ведь мать так редко смеется и улыбается: мы привыкли лишь к ее саркастическим улыбкам, которыми она напоминает нам о промахах. Что такое, сердито говорю я? Глаза наполняются слезами, и она похлопывает меня по руке. Ну полно, говорит она, по-прежнему смеясь. Позже я учусь прикидываться несмышленной иностранкой



*Господин Кампсти
(Шкипер). Мать
поручила меня ему
на время обучения
в Англии*

и однажды забываю дома берет, потом теряю галстук и наконец «случайно» прихожу в школу без блейзера.

Мать свято верила в пользу физических упражнений. Сколько себя помню, по утрам она всегда прыгала с воображаемой скакалкой. В Ланкастере единственным местом, где она могла упражняться, была небольшая мощеная площадка в саду под окном моей комнаты на втором этаже. Каждое утро перед завтраком она спускалась и начинала прыгать с воображаемой скакалкой. Она хвасталась, что прыгает тысячу раз в день. Иногда



Скотфорт-хаус в Ланкастере

я стояла у окна и смотрела на нее, а она поднимала голову, смотрела на меня и улыбалась: она любила выступать перед зрителями. Этот образ матери накладывается на другой: мне было три или четыре года, я сидела за стеклянной дверью родительской спальни и смотрела, как мать пры-

гает через скакалку солнечным ветреным утром на террасе. На миг наши взгляды встретились, и она улыбнулась. До сих пор вижу эту улыбку, а глаза следят за движениями воображаемой скакалки: вверх-вниз, вверх-вниз.

Вечерами я возвращалась в свою огромную комнату, где мать с сияющим целеустремленной решимостью лицом протягивала мне тарелку очищенных апельсинов, шоколадных конфет и фиштакшек. По вечерам я составляла для нее список английских слов, и к следующему утру она знала их значения, посмотрев в словаре; список ждал меня утром на письменном столе. Целый час и даже два после ужина она помогала мне заучивать слова. А позже, через много лет, обиженно напоминала, что если бы не она, я бы вообще не выучила английский. Причем, скорее всего, она была права. Когда я начала учить английский в первом классе, мать не знала ни слова (сама она учила французский). Но каждый день они с тетей Нафисе заучивали заданные мне страницы в учебнике английского, а по вечерам она меня проверяла. Когда мать хотела, чтобы мы чего-то добились, она бралась за дело с поразительной энергией и сосредоточением.

Ее заикленность и неослабевающая мотивация не были нацелены на достижение конкретной цели, хотя со стороны она казалась очень целеустремленной. Ей владела лишь одна компульсивная мотивация: она четко знала, кем и чем никогда

не хотела бы стать. Она любила курить, но не курила; любила играть в карты, но почти никогда не играла; прекрасно танцевала, но никогда этого не делала. Рядом с ней нам всегда казалось, что мы недостаточно стараемся.

Эта отрицательная мотивация иногда побуждала ее браться за проекты, никак друг с другом не связанные. И каждому, каким бы банальным он ни был, она уделяла безраздельное внимание. В моем детстве у нее несколько лет была цель начать бегло говорить по-английски. Она даже уезжала в Лондон на пять месяцев, жила там в пансионе и почти все время проводила на занятиях или зубрила дома. После этого она ходила на курсы флористов, и весь дом был заставлен ее громоздкими букетами; потом в один день она охладела к этому занятию, и больше мы о нем не слышали. С тем же рвением она взялась за обучение в автошколе. Мой отец почему-то был против, причину я уже не помню. Но он даже пытался воспользоваться своим влиянием и договориться с офицером полиции, чтобы ей не выдали водительские права; чистая правда, мать это не придумала.

Самым амбициозным ее проектом было стремление создать образцовую семью. В детстве никто не обращал внимания на ее благополучие: всем было все равно, как она питалась, занималась ли спортом, что носила. Теперь она хотела, чтобы у нас было все, чего не было у нее. Она превра-

тила стремление к идеалу в свою профессию: ее семья, друзья, страна — все должно было быть идеальным. Тоталитарные натуры уничтожают человека не запретами, а неожиданными проявлениями доброты. Будь она всегда жестокой, мне было бы легко оборвать с ней все отношения. Но мы все чувствовали себя в ловушке, ведь хотя она управляла нашими жизнями, но была также очень уязвимой, и хотя она порой меня ненавидела, но также многим ради меня пожертвовала. Она хотела, чтобы я была красивой, ухоженной, утонченной, умной, послушной дочерью, успешной и образованной женщиной, добившейся всего на карьерном поприще. Однако я стала ее главным разочарованием.

Сейчас мне больно осознавать, что, глядя на меня, она, вероятно, видела молодую женщину, какой была когда-то: ненужную и всеми брошенную. Возможно, это объясняет, почему она порой смотрела на меня, чуть не плача, качала головой и причитала: бедняжка Ази! Ах, бедная, бедная Ази.

На третий день в новой школе, вернувшись домой и увидев приготовленную матерью тарелку с апельсинами и фисташками, я расплакалась. Я чувствовала себя беспомощной. Первым уроком шла английская литература; мы читали «Много шума из ничего». Урок вела сиплая миссис Уивер; я не понимала ни слова из ее лекции. И дело было

не только в Шекспире. Я не понимала и добродушную учительницу биологии, и злючку учительницу музыки, и кондуктора в автобусе. А ведь дома я была лучшей ученицей по английскому в классе! Почему я их не понимала? Мать усадила меня, пробормотала слова утешения. Погладила меня по голове, помогла снять форму и надеть чистую одежду, покормила апельсинами, кладя мне их прямо в рот, и сказала:

— Если не хочешь, можешь не продолжать. Скажем обо всем отцу, и уже на следующей неделе вернешься в Тегеран.

— Но я думала, ты хочешь, чтобы я поехала сюда, чтобы чего-то добилась, — возразила я. Ласково глядя на меня и продолжая почти механически кормить меня апельсинами и фисташками, она ответила:

— Я хотела, чтобы у тебя было то, чего у меня не было. Сама знаешь, я училась лучше всех в классе. Была любимицей своей учительницы, Озрыханум. Она так надеялась, что я продолжу образование, как другие женщины из нашей семьи, как аме Хамдам или Мах Монир...

Она хотела меня успокоить, но также хотела утихомирить призраков прошлого. Мать считала аме Хамдам своим кумиром. Та была среди первых иранок, кого отправили учиться в Европу в 1920-е. После возвращения она не вышла замуж, а отправилась работать: сперва учительни-

цей, потом проректором престижной старшей школы для девочек в Тегеране. Я хорошо ее помню, потому что она сильно отличалась от других женщин, что приходили к нам домой. Она не красилась и всегда одевалась в спокойно-коричневые тона. Иногда мы приходили к ней в гости, я садилась в ее мягкое светло-коричневое кресло и слушала успокаивающую монотонную музыку ее спокойного, но властного голоса, прерываемого мамиными нервными возражениями. Что же меня так в ней привлекало? Может, ее рассказы о женщинах поколения моей бабушки, которые носили пистолеты под черными чадрами и помогали конституционалистам? Она говорила, что я многим обязана этим женщинам, ведь именно они основали первые бесплатные школы для девочек в Иране. За такую деятельность их били, подвергали остракизму, иногда даже выгоняли из родных городов. «Женщинам всегда приходилось бороться, чтобы получить желаемое, — тихим монотонным голосом говорила аме Хамдам. — И не только в нашей стране — везде. Еще недавно британкам приходилось отдавать мужьям все заработанные деньги и имущество. Девочка должна ценить возможности, которые у нее есть, нельзя принимать их как должное», — добавляла она, поворачиваясь к матери.

Только потом я поняла, что казалось мне в ней таким романтичным: в обществе, где каждый знал, какой должна быть женщина, и считал своим



Свадьба аме Хамдам.

*Она вышла замуж, когда ей было уже за сорок;
на фото она в центре в белом платье,
справа от нее — отец моей матери Логман Нафиси.
Мы с матерью в первом ряду*

долгом указать ей на это, ее отказ соответствовать привычным понятиям о женской роли был чем-то очень смелым и исключительным. Аме Хамдам и ей подобные стали первопроходцами: очень образованные, как правило, незамужние, они посвятили себя работе и выработали нарочито «неженственный стиль».

И даже несмотря на все ее достижения, аме Хамдам жалели. Кто-то считал, что она принадлежала к категории женщин, которые напрасно потратили свою жизнь, потому что были «не-

женственными». Общество признавало успехи аме Хамдам, но ее считали физически непривлекательной. Как в любой пуританской культуре, когда речь заходила о женщинах, сексуальность и уважение не могли сосуществовать бок о бок. Когда меня решили отправить учиться за границу, некоторые мамины подруги говорили ей, чтобы она ни в коем случае не ставила мне в пример аме Хамдам, которая вышла замуж только после сорока — за одного фармацевта, отца четверых детей. Нас предупреждали, что такая судьба ждет всех слишком образованных женщин: им уготовано заботиться о чужих детях. Я же никогда не понимала, за что жалеть аме Хамдам. Муж любил ее и уважал, она была привязана к его детям, а они к ней. Лишь много позже я поняла, что жизнь ее сложилась намного счастливее, чем у сплетниц и зануд, которые ее осуждали.

Но вернемся в тот день в Ланкастере, когда мы с матерью сидели в моей огромной комнате с жизнерадостными обоями в цветочек, выцветшим ковром и большой кроватью, накрытой разноцветным покрывалом. Мать тогда сказала, что больше всего в жизни мечтала стать врачом, как ее брат и дяди, как многие в нашей семье. Но после школы отец не разрешил ей продолжить учебу. Я часто думала, что обязана своим образованием отцу, его историям и интеллектуальной среде, которую он и его семья для нас создавали. Но если бы

в тот день мать не отнеслась ко мне с пониманием, если бы не рассказала мне о себе и аме Хамдам, я бы не смогла продолжить учиться в Англии. Именно тогда я начала считать, что должна получить образование не для того, чтобы стать хорошей гражданкой своего государства и гордостью своей семьи. Я решила сделать это ради матери; это был бы мой ей подарок. Я хотела стать такой, какой когда-то стремилась стать она.

Поездка в Англию и три месяца, что мы провели вместе, воплотили для меня все то, что я любила в матери и потом оплакивала. Когда мы с Мохаммадом в ней нуждались, она умела становиться ласковой и заботливой, будто добрый дух в ней просыпался от долгого сна. Мать воспринимала меня и относилась ко мне так, как к ней самой никогда не относились в детстве и в юности. Она уделяла мне внимание, которого была лишена. Ирония в том, что для того, чтобы стать такой, какой она хотела меня видеть, мне пришлось от нее отдалиться. Я не могла быть ее марионеткой. И когда позже я решила жить самостоятельно, она так и не поняла, что это ее заслуга и что она добилась всего, чего хотела.

Она уехала из Ланкастера ранним вечером в конце декабря. Было холодно и облачно; это видно на фотографии с вокзала, сделанной в тот день. На мне коричневый плащ, который она мне купила, — он нам обеим очень нравился, —



*Мы с матерью прощаемся на вокзале в Ланкастере
в декабре моего первого года в Англии*

а на ней — черно-красное пальто. Она стоит, наклонившись ко мне, и улыбается. Хотя мы не смотрим в камеру, очевидно, что мы обе знаем, что нас снимают. Мать смотрит на меня, положив ладонь мне на спину и словно желая меня защитить. Этот жест и выражение лица часто встречаются у нее на фото, где требуется изобразить материнскую любовь и заботу.

«Не хочу, чтобы ты грустила, — сказала она тогда и взглянула на меня с такой жалостью, будто я лежала при смерти. — Не успеешь оглянуться, и уже лето, приедешь домой на каникулы. Не грусти», — с улыбкой произнесла она. А вы бы на моем месте грустили?

Политика и интриги

ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА МАТЕРИ я еще долго ощущала полную растерянность. И дело было не только в чужом языке, культуре и среде, не только в тоске по дому, семье и друзьям, но в резкой смене образа жизни, который так же отличался от моего иранского, как ланкастерское серое небо и постоянные дожди — от голубого солнечного неба Тегерана и его заснеженных гор. Моя жизнь в Тегеране была упорядоченной, меня оберегали от внешнего мира: почти каждый мой шаг был выверен, мать следила за моим питанием, меня возили в школу и из школы на личном автомобиле с шофером, я никуда не ходила без родителей и без их согласия. Теперь же я осталась одна с опекуном, который не знал, чем я занята, и не особенно этим интересовался. Я была предоставлена самой себе.

Большинство молодых иранцев, которых отправляли за границу, учились в школах-интернатах с проживанием, но меня послали в самую

обычную школу в маленьком городке, большинство жителей которого даже никогда не слышали об Иране. Я была единственной иностранной ученицей в этой школе. Учителя относились ко мне с терпением и осторожностью; одноклассников я забавляла. Мне задавали вопросы снисходительным и насмешливым тоном, в котором сквозило слабое любопытство: сколько верблюдов у твоих родителей? Ты когда-нибудь целовалась? Их очень веселило, что я не знала, что такое «взасос», и как-то раз всерьез спросила одну девочку, какой вкус у поцелуя. Но вскоре я стала как все — почти. В классе было много детей, которых считали чудачками, и я просто влилась в их ряды. У меня были подруги: застенчивая художница Шейла, шутница Элизабет, прилежная Дианна и моя лучшая подруга Барбара. Мы с Барбарой сблизились по принципу «противоположности притягиваются». У нее были голубые глаза, короткие каштановые волосы, а на губах вечно играла улыбка. Ее дружба меня успокаивала, потому что со стороны казалось, что жизнь ее намного проще, чем моя (а возможно, так было на самом деле). Она знала, чего хотела. Ее родители были добры, жили скромно, наслаждались обществом друг друга и прекрасно ладили с детьми и между собой. Барбара была очень умна, но в четырнадцать уже обзавелась постоянным парнем, который сделал ей предложение; впрочем, ее отец вышвырнул его за порог.

Она не испытывала навязанного чувства долга по отношению к своей семье и стране и была беззаботно счастлива, как у меня никогда бы не получалось. Я всегда чувствовала себя немного виноватой, и если была счастлива, мне становилось немного тревожно. В Барбаре мне нравилась ее прямота и простота. Конечно, не бывает так, чтобы у всех в жизни было все просто, но мне тогда так казалось.

Днем я училась и общалась с друзьями, но вечером мне бывало очень одиноко. Обычно после ужина, примерно в половине седьмого, я уходила в свою огромную комнату. Я закрывала шторы и не выключала свет, даже когда ложилась спать. Я часто страдала от сильного одиночества, мне было грустно и иногда страшно. Я читала все книги, что попадали мне в руки. В комнате стоял ужасный холод, и, чтобы нагреть ее, надо было бросать монетки в обогреватель; тот обжигал, если сесть к нему слишком близко, и совсем не грел на расстоянии. И я начала читать в кровати, забравшись под теплое одеяло с грелкой (помню, я прочитала книгу «Как быть чужаком», и там говорилось, что у континентальных европейцев есть секс, а у британцев — грелка). У моей кровати всегда лежали две книги: сборники стихов Хафиза и Форуз Фаррохзад, современной феминистской поэтессы. Но чаще всего я читала романы. И благодаря Диккенсу и Достоевскому, Остин и Стендалю наконец

почувствовала себя как дома в этом прекрасном, но сером и сыром краю, а их герои поселились вместе со мной в моей большой пустой комнате.

Вернувшись домой на каникулы, я оказалась не готова к той сцене, что ждала меня в аэропорту. В море лиц выделялись несколько незнакомых, но сиявших от радушия. Наконец я заметила мать и тетю Нафисе, стоявших рядом с весельчаком средних лет в потрепанной одежде; тот держал огромный букет ядовито-розовых гладиолусов. Мамина парикмахерша Голи стояла за его спиной, махала и сияла, но мой взгляд был прикован к этому мужичку с гладиолусами, который улыбался так отчаянно, словно очень хотел со мной подружиться, хотя мы были не знакомы. «Это господин Зиа, — сказала мать, расцеловав меня в обе щеки. — Коллега твоего отца». Тетя Мина и ее дочь Лейла стояли рядом с отцом и братом, а еще я увидела дядю Резу, одного из младших братьев отца; недавно он поступил в Тегеранский университет и временно жил у нас. Но там было много людей, которых я вовсе не знала, и всем им, кажется, был известен какой-то секрет. Я видела это в жестах матери и льстивой улыбке господина Зиа, который, как оказалось, был начальником отдела кадров и работал под руководством отца в мэрии. С того самого дня, куда бы я ни отправилась, меня повсюду окружали незнакомые люди, которые вели себя так, будто были моими близкими

друзьями, ведь мой отец стал самым молодым мэром Тегерана за всю историю. Это продолжалось до тех пор, пока зимой 1963 года его не посадили в тюрьму; тогда отношение поменялось на прямо противоположное. «Добро пожаловать в Тегеран твоего папы!» — саркастически прошептал мне на ухо дядя Реза.

«Твоя мама, — писал мне отец, — так сильно по тебе скучает, что постоянно обвиняет нас в черствости и безразличии к твоему бедственному положению. Она отказывается отапливать дом, потому что „бедняжка Ази“ целыми днями дрожит от холода в огромном особняке в Англии». От матери приходили письма, полные сочувствия и беспокойства о моем состоянии. Она заставила отца присылать мне вырезки из женских журналов, в которых говорилось о пользе виноградного сока и о том, как чистить пятки пемзой. Присылала сушеную вишню, чернослив и курагу, собственноручно связанные носки, варежки и свитеры, которые, как правило, оказывались мне слишком малы или велики. Это задавало тон нашим отношениям на годы вперед: находясь в разлуке, мы с матерью тосковали друг о друге, но стоило провести вместе несколько дней, максимум неделю, как мы возвращались к старым привычкам.

Фирузех-э Бу-эсхаги Хош Деракшид вали доу-латаш мостаджаал буд. Войдя в гостиную в первую

пятницу после моего возвращения из Англии, я услышала знакомый голос, декламирующий строки классического персидского поэта Хафиза, в которых говорилось об Эсхаке, царе, чье правление продлилось недолго из-за махинаций его врагов. Хафиз оплакивает звезду Эсхака, сиявшую ярко, но закатившуюся слишком рано.

Тем утром в гости пришли многие мои старые знакомые: давний друг отца господин Халиги, мамина парикмахерша Голи, красавец-полковник и дядя Реза, который шепотом сообщил, что так стыдится новой должности моего отца, что никому не признается, что они родственники. Многие иранцы считали, что поступить на высокую государственную должность — по сути то же, что продать душу дьяволу. Тетя Мина тоже пришла, и когда я вошла в комнату, она подозвала меня и велела сесть рядом.

Были в гостиной и новые лица: господин Зиа, тот самый, что принес мне букет ядовито-розовых гладиолусов, сидел на стуле с высокой спинкой, но каким-то образом умудрялся сутулиться; рядом с ним — молодой, худощавый и смуглый мужчина, которого, как я потом выяснила, звали господин Мешгин, он работал репортером. Среди гостей также был неприметный мужчина с подобострастной улыбкой, которого отец представил как господина Эсмаили, своего заместителя по вопросам парков и озеленения.

А цитировал Хафиза господин Халиги; тепло поприветствовав меня, он произнес:

— Хафиз жил семьсот лет назад, но все, что он говорил о талантливом царе Эсхаке, справедливо по сей день. Наш дорогой Ахмад молод и амбициозен. Он стремится к добру и справедливости. Но не знает, что в правительстве нашей страны нет места для добрых намерений. Доброта не может выжить.

— Ты меня перехвалил, — смеясь, ответил отец. — Мои амбиции невелики; я не представляю угрозу для приближенных шаха. И не отчитываюсь перед ними. — Я слушала его со смешанными чувствами, обдумывая сказанные шепотом слова дяди. — Мало того, — продолжал отец, — шах это знает. Он не чувствует во мне угрозу.

— Мой дорогой, шах чувствует угрозу отовсюду, — парировал Халиги. — И, пожалуй, он прав. После случая с Моссадегом шах не верит никому. Он убежден, что любой сколько-нибудь красноречивый и популярный политик метит на его место. Поэтому подумай, — он наклонился ближе к отцу, — прежде чем вверять свою судьбу человеку, который не верит даже себе самому.

Халиги упомянул Моссадега, премьер-министра Ирана, занимавшего этот пост в начале 1950-х и отличавшегося большим упрямством; он противился шаху и пытался национализировать нефтяной сектор иранской промышленности, который

в то время контролировала Великобритания. Это привело к скандальному и напряженному международному конфликту, главным образом между Ираном и Великобританией, и инициированному британцами бойкоту иранской нефти, который ухудшил и без того плачевное положение иранской экономики. Шах был вынужден на некоторое время покинуть страну, а Народная партия Ирана — Туде, коммунисты, поддерживаемые Советским Союзом, — воспользовалась кризисом и устроила беспорядки. Один из учителей аятоллы Хомейни, аятолла Кашани, поначалу поддерживал Моссадега, но потом обернулся против него и заключил мир с роялистами, поддерживающими шаха. Результатом стал военный переворот 1953 года против Моссадега, организованный при поддержке американцев и британцев. Шах вернулся в Иран, а сам Моссадег и переворот, в результате которого его отстранили от власти, с тех пор оставались острой темой для иранцев и предметом бесконечных споров. Кто был прав, а кто виноват? Кто кого предал и какую цену нам пришлось заплатить за эти предательства?

Моссадег был и до сих пор остается для многих самым популярным иранским политическим деятелем. Мои родители ему сочувствовали, а мать любила рассказывать историю о дне переворота, который закончился противоречивым судебным процессом над Моссадегом и его ссылкой

в принадлежащее ему имение Ахмедабад. Оборвавшаяся политическая карьера Моссадега стала символом нереализованного стремления Ирана к демократии. Он заразил нас разрушительным очарованием нереализованной мечты. Но спустя много лет, в 1978 году, когда у нас был шанс выбрать последователя Моссадега Шапура Бахтияра, известного представителя либерального национализма и последнего премьер-министра, назначенного шахом, большинство иранцев предпочло не его, а аятоллу Хомейни, фигуру куда более деспотическую, чем шах. По прошествии времени возникает вопрос: а можно ли доверять народу, что горюет по Моссадегу, но голосует за Хомейни?

В первое утро после моего возвращения много говорили о судьбе иранского народа. Кое-кто из гостей предположил, что все наши беды объясняются упрямой одержимостью культом личности шаха. Без одобрения шаха нельзя выпить даже стакан воды, заметил кто-то из присутствующих.

— Но он не виноват, — возразил господин Мешгин, смуглый репортер. — Это у нас в крови; так мы относимся к своим лидерам. Для нас они цари царей, тень Бога на Земле. Даже самый кроткий человек рано или поздно начинает верить тому, что слышит. И у Моссадега были авторитарные склонности. — Он повернулся к отцу. — По-

лагаться на шаха, друг мой, значит глубоко себя обманывать. Вы же знаток Фирдоуси. Часто ли цари предавали своих советников?

Отец не успел ответить; господин Халиги повернулся к матери и произнес:

— Незхат-ханум, надеюсь, вы со мной согласны. Многие хорошие люди из вашей семьи уже поплатились за службу шаху.

Мать, весь разговор хранившая молчание, что было ей совсем не свойственно, кивнула и с горькой улыбкой подняла голову.

— Меня никто не слушает, — промолвила она. — Мне остается лишь одно: расплачиваться за последствия. То же самое пытался втолковать ему аму Саид. — Моя мать была в восторге от своего нового статуса супруги мэра, но ни на минуту не забывала о судьбе других членов семьи Нафиси, известных своим упрямством, которые в разные исторические периоды попадали в немилость и либо отправлялись на короткий срок в тюрьму, либо в ссылку, лишившись при этом своих государственных должностей. Об этих людях вспоминали с гордостью, хотя они навлекли беду на всю семью, и со стороны казалось, будто речь не об опальных политиках, а о победителях, удостоенных почестей и повышения по службе.

— Все куда сложнее, — в свою защиту сказал отец. — Я не Моссадег, времена изменились. Нужно делать все, что в наших силах.

В личных дневниках отца за тот период чувствуется такое же тихое ликование, что я тогда в нем ощущала. Позже я поняла: оно объяснялось не тем, что все сложилось хорошо, а надеждой, что все могло быть еще лучше и что ему доверили власть и ответственность, чтобы все исправить. В таких ситуациях, как я позже сама убедилась, человек ощущает себя нужным и испытывает восторг, верит, что его возможности безграничны, — как ребенок, в чьи руки попало бесконечное количество кубиков «Лего» и у него голова идет кругом, когда он представляет, сколько замков можно из них построить. Разумеется, это самообман, и ответственность за последующее разочарование нельзя всецело перекладывать на шаха или аятоллу Хомейни.

Отцовские дневники изобилуют восторженными описаниями планов, которые он задумал для Тегерана. Он хотел строить парки и создать первую подробную карту города, учредить местные городские советы, бороться с коррупцией. Он описывает свои бесконечные беседы с шахом, предстающим в его рассказах человеком внимательным и обаятельным. Сама его речь кажется очень активной: глаголы точные, фразы утвердительные, повествование энергичное, слова конкретные. Таким я его в те годы и помню. Он был полон энергии, которую в более поздние годы своей жизни я видела в нем лишь изредка, когда он

возился с растениями в саду. Он не сомневался, что шах ему доверяет. С каждым проявлением доверия от шаха он сам наполнялся уверенностью и гордился своей честностью в суде, который, по его мнению, состоял из одних лизоблюдов. Я помню, как он хвастался, что отказался принять от шаха подарок — участок земли на берегу Каспийского моря. «Я не боюсь критиковать, — твердил он, — и открыто выражаю несогласие».

С самого начала между отцом и другими высокопоставленными чиновниками возникли разногласия. Его главными оппонентами были премьер-министр Ассадолла Алям и министр внутренних дел Сейед Мехди Пирасте. «Хитрый, как лиса, — говорила мать об Аляме, — никогда не доверилась бы такому человеку». Премьер-министр слыл безжалостным человеком. Ходили мрачные слухи о том, как он расправлялся с врагами; тех же, кто соблюдал субординацию, он щедро вознаграждал.

Хотя отец искренне считал себя человеком, лишенным честолюбия в привычном смысле слова, его амбиции намного превосходили амбиции премьер-министра и его приспешников. Думаю, он бессознательно желал доказать им их поверхностность, продемонстрировать, что все, чего они жаждали — статус, богатство, — не имело для него никакого значения. Отказываясь от шахских подарков, он подрывал статус других чиновников

в глазах правителя. Но он также подрывал и свой собственный статус, который являлся для него одновременно предметом гордости и презрения. Мать тоже бахвалилась своими резкими высказываниями в адрес королевской семьи и враждебных чиновников. В этом и заключалась беда моих родных: они хотели, чтобы власть имущие реализовали их идеалы, но сами не желали пятнать себя политической деятельностью. Это отчасти объясняет навязчивую симпатию родителей тем, кто впал в немилость правящей элиты, хотя они сами к этой элите принадлежали.

Несмотря на уверенность отца, на протяжении всего этого эйфорического периода я чувствовала в нем глубокую тревогу, подводным течением пронизывающую всю нашу жизнь и проникавшую даже в мои сны. Время от времени, когда политические разногласия обострялись, он говорил нам: «Я подал в отставку, но шах отказался принять заявление». Хотя мать впоследствии не раз повторяла, что предвидела катастрофический поворот, который примет отцовская карьера, он не рассказывал ей о своих проблемах, а поскольку она всегда тревожилась из-за всего подряд, не думаю, что она могла почувствовать реальную угрозу. Когда отец возвращался домой на десять минут позже положенного, или неожиданно звонил телефон, или на лицах домашних появлялось обеспокоенное выражение, она немедленно вскрикивала «что? что

стряслось?», и в голосе ее слышался такой накал, будто она гордилась своей тревогой.

Ее давнишнее соперничество с отцом и фоновое неудовлетворение жизнью не позволяли ей в полной мере насладиться новыми обстоятельствами, но она получала искреннее удовольствие от власти, которой они ее наделили. Однако даже в этот период она постоянно напоминала нам о своей чудесной жизни с Саифи в доме своего свекра. Она будто боялась, что, признав, какое удовлетворение приносит ей жизнь с отцом, она тем самым предаст Саифи. «В доме Сахама Солтана всегда было так шумно и суетливо, — говорила она. — Политики тогда были другими, у них был характер». Однажды отец, будучи в хорошем настроении, произнес спокойно, но с явным сарказмом: «А ты замечала, что когда твоя мама вспоминает дни былой славы, она никогда не упоминает о Саифи? Что такого замечательного он сделал? Кроме того, что был сыном своего отца — он хоть чего-нибудь добился? Ее послушать, так мой главный недостаток состоит в том, что я не умираю».

Порой мы впадаем в слишком сильную зависимость от представления о себе, созданного нашим собственным воображением, и уже не можем от него отказаться. Мать с самого начала решила, что брак с моим отцом был ошибкой, жалким подобием ее жизни с Саифи, и, хотя все очевидно свидетельствовало об обратном, она так и не смогла

отказаться от своего первоначального убеждения. Тетя Мина говорила, что мать очень любила отца, но не умела проявлять любовь, и та выражалась в тревоге за его безопасность, агрессивной защите его действий на политическом поприще и беспрестанном беспокойстве о его здоровье. Но я бы не стала спорить, что она на него злилась; это было очевидно.

Мэр Тегерана

ПОЧТИ КАЖДОЕ УТРО отец выходит из дома около пяти. Перед тем, как поехать в мэрию, он любит прокатиться по городу, иногда заглядывает в пожарные части и на санэпидемстанции и частенько наведывается на большой фруктово-овощной рынок Тегерана, к его неофициальному начальнику хаджи Тайебу. Поговаривают, что раньше тот сам устанавливал цены на рынке, запугивая торговцев. Отец гордился, что ему удалось приручить Тайеба и заставить его соблюдать муниципальные правила и постановления.

У матери имелась своя шпионская сеть, с помощью которой она вмешивалась в городские дела. В чем-то она знала Тегеран гораздо лучше отца. Всю свою взрослую жизнь она бродила по улицам города в поисках самых качественных товаров и выгодных цен, торговалась, умасливала, ссорилась и заводила друзей среди хозяев магазинов. Она знала, что торговцы фруктами припрятывали

лучший товар и продавали его богатым клиентам по завышенным ценам; друзья и знакомые названивали ей и доносили на мясников и пекарей. Чувственность, которой ей так не хватало в личных отношениях, проявлялась в ежедневных вылазках на рынок, где она устраивала скандалы, а спустя минуту уже флиртовала и любезничала с торговцами. Она могла по полчаса болтать с продавцом фруктов, держа в руке апельсин или яблоко, нюхая его, осматривая кожицу и угадывая, какой у плода вкус. Сопровождая ее в этих походах, я чувствовала, что мы сближаемся, как в детстве, когда, рассеянно держа меня за руку, она переходила от магазина к магазину, уверенно ориентируясь в мире шоколада, кож и специй.

Мои родители воспринимали Тегеран совершенно по-разному, и это влияло на их представление об Иране в целом. Отец любил город и интересовался его прошлым, но также стремился модернизировать его и оставить свой след в истории. Матери же нравился некий абстрактный образ Тегерана, его обычаи и ритуалы, пыльные переулки, где жили традиции, сохранить которую она считала необходимым любой ценой. Иногда, переходя из лавки в лавку, оглядывая и ощупывая товар, она словно хотела удостовериться, что реальность была именно такой, какой она ее представляла. Само собой, у нее были враги, люди судачили за ее спиной, но здесь, на городских улицах, ей подчи-

нялись и ее уважали — в отличие от собственного дома.

Ей нравилось нарушать отцовские правила и порядки, и она часто приглашала к нам домой своих любимых торговцев. По пятницам у нас можно было встретить не только репортеров, но и зеленщиков или пекаря-армянина, вежливо сидящего на краешке стула. Раздосадованный отец твердил, что это могут воспринять как фаворитизм. «Меня обвинят в коррупции, скажут, что я брал взятки, — предупреждал он. — Так делать нельзя». Дошло до того, что он втайне от матери просил торговцев не приходить к нам домой, и те слушались, как слушались наши слуги, которых он подкупал, чтобы они не обращали внимания на истерики матери и не увольнялись.

Примерно через три недели после моего возвращения из Ланкастера мы с родителями пошли навестить аму Саида. Мохаммад напросился с нами. Он охладел к химии и задумал более грандиозный проект: решил организовать домашнюю библиотеку. Он уже раздобыл себе экслибрис и придумал для него название — «Процветающий Иран», в честь журнала, который основал и возглавлял отец, когда работал в организации планирования и бюджета. Совершенно не стесняясь, Мохаммад выпрашивал книги у родственников и друзей. Родители всячески его поощряли. Даже мать, постоянно

упрекавшая нас обоих, что мы слишком много читаем, решила, что этот проект очень хорош, и хвалилась им на каждом углу. Одно дело валяться на полу с книжкой и совсем другое — собрать библиотеку, где книги распределены по категориям. Мохаммад решил пойти с нами, чтобы заручиться поддержкой аму Саида. В награду за труды тот подарил ему два романа и книгу по персидскому мистицизму, проявил огромный интерес к его начинанию и всячески его поддержал.

В тот день я была обижена и жалела себя, и даже волшебная атмосфера дома аму Саида мне не помогла. Все утро мы ссорились с матерью. Вечером я хотела пойти в гости к близкой подруге. Та через неделю уезжала и пригласила меня и еще двух подруг на ночевку. «Это не вечеринка, — сказала я матери. — Там будут только девочки». Но та внезапно захотела, чтобы я осталась дома. Мол, она по мне соскучилась. Не пристало детям игнорировать семью, вернувшись домой на каникулы, и совсем не проводить время дома. «Мам, ну пожалуйста», — взмолилась я. «Нет, — ответила она. — И точка. Ни слова больше». Все закончилось, как обычно: криками, упреками и долгим обиженным молчанием.

Стоило нам усесться в гостиной, как аму Саид стал дразнить меня по поводу моего недавнего появления на телевидении. Несколько дней назад я сопровождала отца в ходе экскурсии по Те-

герану, которую тот устроил для американцев, приехавших в город с Агентством США по международному развитию. Нас снимали для новостей, и я попала на камеру.

— Обычно зарубежным гостям показывают лучшие районы города, — сказал отец, — но мы начали с самых бедных кварталов, чтобы американцам было о чем подумать. Они удивились, что Тегеран так молод. Моей собственной дочери это тоже не понравилось; кажется, ей нужен урок истории.

— Неужели? — ласково спросил аму Саид. — А я считал тебя очень образованной девушкой. — С этими словами моя мать почти неслышно хмыкнула. Аму Саид принялся рассказывать, что до того, как Каджары назначили Тегеран столицей в восемнадцатом веке, тот был маленькой деревней с прекрасными садами, и его обитатели жили в подземных пещерах, таким образом оберегая себя от набегов.

— С тех времен почти ничего не сохранилось, — сухо произнес отец, стараясь не обращать внимания на безмолвный гнев, закипающий между мной и матерью.

— Верно, — ответил аму Саид. — Хвалиться славным прошлым легче, чем сохранять его. Прошло меньше века с тех пор, как Каджары отреклись от трона, а от большинства зданий их времен уже ничего не осталось. Правительство запустило

программу модернизации. — Отец объяснил, что раньше у правительства не было четкого плана развития города. Тот просто хаотично разрастался. И похвастался, что нанял добросовестного инженера, немца, чтобы составить пятилетний план развития и более длительный, на двадцать пять лет.

Отец с аму Саидом продолжали разговаривать, иногда обращаясь напрямую к матери. Та кивала, не проявляя к беседе большого интереса, а я то слушала их, то теряла нить. В какой-то момент речь зашла о Тегеране времен Конституционной революции 1905 – 1911 годов.

— Сады и парки Тегерана хранят память об этой революции, — сказал аму Саид. — Надеюсь, призраки наших отцов все еще здесь, в городе.

В тот день они много говорили о тегеранских садах, ставших для конституционалистов и прибежищем, и могилой. Но я думала только о том, что упускаю, не попав к подруге на ночевку. Когда мы собрались уходить, я решила, что уеду из Тегерана сразу же, как только мы вернемся домой.

Мы сидим на террасе одного из самых модных тегеранских ресторанов: мой отец, тетя Нафисе и я. Как все модные тегеранские рестораны, этот носит иностранное имя: «Соренто». Я не знаю, где моя мать. В последнее время отец и тетя Нафисе очень подружились. С тех пор, как он стал мэром,

они сблизились. Тетя любит вечеринки и внимание влиятельных людей; она большая кокетка.

Мечась между желанием понять мою мать и помочь ей и обидой на ее поведение, отец делился своим недовольством с окружающими. Полагаю, он делал это не намеренно, но так ему удавалось добиться сочувствия. Он был обаятельным и открытым человеком, и общаться с ним было намного приятнее, чем с матерью, которая словно дала себе слово никогда не получать удовольствия от жизни. А тетя Нафисе любила веселиться, пила, играла в карты, ходила в театры и кино. Она радовалась жизни, а ведь именно на это надеялся отец, женившись на матери, — на полную жизнь, которую истово отрицала его аскетичная семья из Исфахана. И хотя он сочувствовал матери и рассказывал, как злая мачеха лишила ее наследства, он также обхаживал мою тетку, а той, в свою очередь, льстило его внимание.

Они сидят напротив. Я рада провести вечер в компании двух моих любимых людей. Я так и не смогла полюбить жену деда, холодную и злую, но мне нравится бывать дома у тети Нафисе, так что я отчаянно пытаюсь ей угодить. Их глаза сияют, они смотрят на меня, и я таю, слушая их комплименты. Но между ними происходит еще кое-что, что не имеет ко мне никакого отношения. Безмолвное волнение, которое касается лишь их двоих: молодого привлекательного и успешного

мужчины и женщины. Им весело вдвоем; они восхищены друг другом.

Хотя мы не делаем ничего плохого, после меня обуревают чувство вины. Отношения отца и тети



Отец, тетя Нафиси и я

ограничивались дружбой с налетом легкого кокетства; подозрительным в них было лишь то, что они нарочно не позвали на встречу мою мать. Задолго до того, как отец ей изменил, родители начали практиковать эмоциональные измены. Сначала тетя Нафиси, потом другие — папина секретарша, подруга семьи. Они так же сидели напротив, улыбались и делали мне комплименты. Странно, но сейчас они все кажутся мне на одно лицо; сидят рядом с отцом, улыбаются, говорят обо мне в третьем лице, называют уменьшительным именем Ази.

В такие моменты я хоть и пыталась угодить отцу и женщине, сидевшей с ним рядом, но всегда ощущала тяжесть материнского отсутствия.

Через несколько дней после ужина в «Соренто» в нашей гостиной собрались мать, тетя Мина и художавая Монир-джун. Мать поставила на газовую плиту свою маленькую кофеварку. Обсуждали тетю Нафисе. Тетя Мина сказала:

— Незхат, ты никогда не говорила с Нафисе о семейных делах, о том, как она и ее мать дурно с тобой обращались. Но сейчас все иначе. Сейчас речь о твоём муже; ты не должна молчать.

— Даже обращать на это внимание ниже моего достоинства, — фыркнула мать. — Лучше сделать вид, что я ничего не замечаю.

— Ладно, ладно, — нетерпеливо отвечает тетя Мина, — но хвастаться своим упрямым молчанием ни к чему.

Мать отмахивается от ее слов и начинает рассказывать историю, которую мы уже несколько раз слышали. Мол, ее мачеха, Фирдоус, изменяла ее отцу. И однажды проговорила в присутствии матери и младшего брата деда; тот пригрозил обо всем рассказать деду. По словам матери, мачеха тогда перевела стрелки и оклеветала деверя, заявив, что тот распространяет о ней слухи, потому что она отказала ему в ухаживаниях. В итоге дед и его младший брат перестали общаться.

Мать разливает кофе в три маленькие чашечки, протягивает одну тете Мине, а другую — Монирджун, и пересказывает, как отец целый день гулял с ней взад-вперед по саду и расспрашивал, что ей известно об этих обвинениях, но она ни слова не сказала. Она так этим гордилась. Я молчала, гордо произносит она. Я не проболталась. Она говорит это тем же хвастливым тоном, каким утверждает, что любит запах сигаретного дыма, но никогда не курила сигарет. Почему? Почему она ничего не сказала? Если хранила тайну от отца, зачем разболтала все остальным? Ее гордыню порой было не отличить от злобы.

Мне самой любопытно, не бунтую ли я против нее сейчас, когда пишу о ней и нарушаю молчание, которым она так гордилась. Теперь я считаю, что нельзя молчать, если знаешь правду. Да и мать на самом деле не молчала: она раскрывала известный ей секрет неоднократно, снова и снова повторяя, что «не сказала ни слова». Как бы все повернулось, если бы она выложила все начистоту, бросила вызов мачехе и не испытывала бы необходимости поддерживать видимость? И как бы все повернулось, если бы я честно спросила отца, что происходит?

Отцовское назначение мэром никак не повлияло лишь на одну сферу нашей жизни: Исфahan. Когда мы поехали туда на несколько дней

навестить родственников, казалось, не изменилось ровным счетом ничего. Нас с Мохаммадом окружили вниманием и закармливали то в одних гостях, то в других. Мои кузены и младшие дяди издавали собственные рукописные журналы с текстом и рисунками. Они придумали сложную библиотечную систему с филиалами в доме бабушки и двух старших дядей и проводили еженедельные собрания, горячо обсуждая вопросы литературы и философии. Когда мы приезжали в Исфахан, собрания становились почти ежедневными. За завтраками и обедами, во время прогулок между историческими достопримечательностями, по вечерам на прохладной террасе, по ночам на балконе верхнего этажа под звездами мы разговаривали, декламировали стихи и устраивали дебаты. Исфахан запомнился мне нижними ступенями террасы, выходящей в сад, где мы стояли с кузеном Мехди; громкой декламацией стихов Форуг Фаррахзад; прогулками по широкому проспекту вдоль берега реки с кузеном Маджидом, с которым мы беседовали о поэзии; завтраками с кузиной Нассрин, с которой мы обсуждали Сартра, Камю и Достоевского, пока ее мать сновала из кухни в столовую. Помню, мне было стыдно, что я не помогала накрывать на стол.

Два года спустя на той же террасе дядя созвал семейное собрание, чтобы поговорить о статье Мехди в его самиздатном журнале. «Без надежды

жизни нет, — написал Мехди. — А у нас отняли надежду...» Он жаловался на удушливую атмосферу Исфахана, где молодежи не дают развиваться, где молодые люди лишены радостей и возможности выбрать другой путь. Помню, дядя повернулся ко мне и с налетом сарказма произнес: а что скажет по этому поводу наша современная девушка из Тегерана? Может ли быть «удушливым» место, где позволяют свободно публиковать и обсуждать подобные статьи?

Мать почти отсутствует в воспоминаниях о том периоде моей жизни. Она возмущалась моим интересом к отцовской семье. Считала это личным оскорблением. Позже она объяснила, что мы с братом никогда не относились к ее родственникам с тем же уважением и теплом, какое проявляли к отцовским родственникам. Мне особенно запомнился один случай. Это произошло летом, во время короткой поездки в Исфахан. После обеда мать вышла вслед за мной из столовой на террасу и принесла маленькую тарелку нарезанных груш. Мы прогуливались, и время от времени она останавливалась и подсовывала мне под нос вилку с насаженным на нее ломтиком груши. Дяди и кузены при этом косились на нас. Наконец с театральным жестом, означавшим «только посмотрите, с чем мне приходится мириться!», я села напротив матери, как в театральной постановке, и стала послушно есть грушу, которую та запихивала мне в рот.

Помню ее торжествующую улыбку и маленькую вилочку, порхавшую от тарелки к моим губам. В дневнике, который каким-то чудом сохранился у меня, хотя прошло тридцать лет, я полстраницы исписала фразой «ненавижу груши».

*Ненавижу груши
Ненавижу груши
Ненавижу груши
Ненавижу груши
Ненавижу груши...*

А другую половину страницы — фразой «я ем груши»:

*Я ем груши
Я ем груши
Я ем груши
Я ем груши
Я ем груши...*

К этому воспоминанию примешиваются другие: как дяди и кузены меня понимали и мне сочувствовали; как мы спорили о ношении чадры, об отношениях между мужчиной и женщиной, о любви.

Примерно за неделю до моего возвращения в Англию мы с семьей пошли к психотерапевту. На самом деле это был невролог, сведущий

в психиатрии, один из лучших в стране, друг дяди Али, сводного брата моей матери. Мы выбрали его, потому что не хотели огласки: во-первых, с нами все было в порядке, во-вторых, ходить к психотерапевту все равно бессмысленно, и в-третьих, зачем полоскать грязное белье?

Мы сидим в приемной психотерапевта с дядей Али. Приемные часы закончились, мы торопимся — вечером у родителей официальное мероприятие. Дойдя до отчаяния, отец проконсультировался со специалистами и решил, что моей матери необходим совет специалиста. Наверно, его новый статус мэра и уверенность, что в его силах что-то изменить в политике, внушили ему иллюзию, что он что-то сможет изменить и в собственной семье. Мы пришли вчетвером, потому что мать ни за что бы не согласилась пойти к психотерапевту одна; дядя пришел, потому что психиатр — его друг и мать попросила его составить ей компанию. Мы уговорили ее пойти, предположив, что, если она поговорит с психотерапевтом, это поможет решить наши общие проблемы.

Сами знаете этих подростков, неловко производит дядя, а нам остается додумывать, что же не так с «этими подростками». В мое время никаких подростков не было, раздраженно отвечает мать и бросает короткий взгляд на безликие пейзажи на стенах приемной. Мы слушались старших в любом возрасте. А если тебя беспокоит, что муж

так много работает, продолжает дядя... Много работает, серьезно, фыркает мать? А я, по-твоему, бездельничаю? Он наслаждается славой, а вся критика достается мне. А ведь я еще домом занимаюсь и детьми. Так в этом и дело, все это на тебе отражается, говорит мой добрый дядя со свойственным ему дзен-буддистским спокойствием; мы поэтому и здесь. Он называет ее Несси — это прозвище придумала ей тетя Нафисе. Мать обожает сводного брата; он и впрямь очень мил. Относится ко всем одинаково: со спокойным сочувствием.

Нас по очереди вызывают к врачу. Первым заходит отец. Когда выходит, мать тут же оттаскивает его в угол; вызывают меня. Подобно моему отцу и брату, мне предстоит рассказать врачу то, что он и так знает о наших с матерью отношениях. Разговор занимает не больше десяти минут. Я заражаюсь волнующей атмосферой заговора. Я ощущаю себя частью нашей тайной миссии и сдуру выкладываю психотерапевту все как на духу, перечисляю все свои обиды и сочувствую отцу. С такой же женой у него не жизнь, а черт-те что, говорю я. Он дважды обманывается: думает, что может что-то изменить и что наша уловка принесет плоды.

Когда выходит мой брат и в кабинет приглашают мать, та просит врача выйти в приемную. Мол, ей нечего от нас скрывать, и, в отличие от нас всех, у нее нет секретов. У них, может, и есть проблемы, которые они хотят обсудить, заявляет она,

но не у меня. Ахмад Хан — очень важный общественный деятель, говорит она, ядовито улыбаясь. На нем столько ответственности. А эта девушка — она имеет в виду меня — и ее брат только начинают жить. Их тревожит учеба, будущее, им тоже приходится думать о своем уважаемом отце — их жизнь всегда крутилась вокруг него. Но я, говорит она, я — всего лишь скромная домохозяйка. Я никто. Мне не о чем тревожиться и не из-за чего волноваться. И никогда у меня не было мысли жаловаться на свои проблемы врачам. Она протягивает руку, с ядовито слащавой улыбкой благодарит врача и выходит из приемной; мы следуем за ней, поджав хвосты.

В машине на обратном пути отец оправдывается, зачем повел нас к врачу. Перечисляет обычные причины и отговорки и пытается убедить мать, что та неправа, что для семьи будет полезно ходить к психотерапевту. Иногда он поворачивается к нам, надеясь, что мы подтвердим его слова, и мы согласно что-то бормочем. Перед своим мероприятием они подвозят нас до дома. Я жду, что она устроит скандал, но, что удивительно, этого не происходит. Мы встревоженно и тихо прощаемся; она отвечает ледяным тоном, и они уезжают.

Противостояние матери объединило нас с Мохаммадом; мы начинали шутить, превращали свою фрустрацию в игру, посмеивались над ними. Мы ощущали близость к отцу и друг к другу. Тем ве-

чером за ужином мы обсуждаем визит к психотерапевту. Хорошо все прошло, говорит Мохаммад, наваливая на тарелку гору жареного риса. Я выдергиваю у него тарелку. Оставь и мне немножко, говорю я! И что теперь, спрашивает он? Что ты имеешь в виду, отвечаю я? Как теперь с ней быть, говорит он? Мы придумываем несколько вариантов выхода: подсыпать ей валиум в кофе, пригласить психотерапевта как бы в гости, и пусть тот втихую поставит ей диагноз. Он мог бы ее загипнотизировать... А может отравить ее, как насчет яда, предлагаю я? Хочешь ее убить, спрашивает брат? Нет, можно подсыпать ей немножко яда, а потом спасти; тогда она начнет ценить жизнь. Ах, скажет она, я и не догадывалась, что жизнь так прекрасна! А что, если мы втроем — я, ты и папа — покончим с собой? Тогда-то она попляшет, восторженно говорю я. Да, пожалуй, так будет лучше всего.

Репетиция революции

К концу лета я поклялась больше никогда не приезжать домой на каникулы. В последнюю неделю мы с матерью ссорились почти каждый день: ей не нравилось, что я гуляла с подругами и те приходили ко мне в гости; что мы ездили в Исфахан, что я, по ее словам, постоянно вела себя неуважительно. Но уже через неделю после возвращения в Ланкастер я стала планировать следующую поездку домой. Мать прислала ласковое письмо и сообщила, что отправила мне посылку с сушеными вишнями, грецкими орехами, шерстяными носками для ужасных английских зим и свитером моего любимого голубого цвета. Нужно ли мне что-то еще, спрашивала она? Ее подруга скоро поедет в Англию; она передаст мне золотую цепочку на день рождения.

Следующим летом я приехала в Тегеран, не дождавшись окончания последнего семестра. Не помню почему, но, наверно, это было связано с бес-

порядками, всколыхнувшимися по всему Ирану зимой и весной 1962 – 1963 годов и достигших пика в священный месяц Мухаррам, начало которого в том году пришлось на середину мая. Причиной беспорядков стал новый закон о муниципальных выборах: женщинам впервые предоставлялось право голоса, а также отменялось обязательное условие, что все кандидаты в парламент должны быть мусульманами. О принятии закона объявили 8 октября 1962 года, и в религиозных кругах тот произвел фурор. Главным вдохновителем протестов стал аятолла Рухолла Хомейни.

Когда я размышляю об истории нашего государства, меня поражает не то, какой властью обладали в Иране религиозные лидеры, а то, как быстро законы современного светского общества прижились там, где так глубоко укоренилась религиозная ортодоксия и политический абсолютизм. Пехлеви заменили шариат современной судебной системой, но вред, нанесенный этим шагом религиозному истеблишменту, был куда более существенным, чем могло показаться. До Конституционной революции священнослужители не просто контролировали правовую систему — они диктовали гражданам, как воспринимать мир. При этом некоторые из них хотели сохранить старую систему и связывали ее крах с уменьшением своего влияния, а другие, напротив, встали на путь перемен и активно участвовали в борьбе.

Со времен Конституционной революции и до беспорядков 1963 года, закономерно вылившихся в Исламскую революцию 1979-го, кровавая насильственная борьба, разделившая Иран, велась не только на политическом, но и на культурном и идеологическом поприще. В определенном смысле это была борьба за существование. Традиционалистская оппозиция возникла из отторжения мер по модернизации общества, проводимых шахом Мохаммедом Резой Пехлеви и его отцом Реза-шахом. Это отторжение происходило и на уровне институтов, и на личном уровне. Но правда заключалась в том, что движение за модернизацию началось задолго до Пехлеви и не закончилось с их свержением. Главным камнем преткновения стали права женщин, права меньшинств и культура. Роковым летом 1963 года аятолла Хомейни и его приверженцы не уставали повторять, что политические притеснения и повсеместность зарубежного влияния — прямое следствие стиля жизни шаха, запрета на чадру, введенного его отцом, любви шаха к ночным клубам и собакам, которых он держал дома (в исламе собаки считаются нечистыми). Они выступали против фильмов, музыки, романов, высмеивали идею индивидуальных прав.

Испугавшись беспорядков, правительство пошло на попятный и отменило принятый в октябре закон. Но шах сдаваться не собирался. Вскоре он выступил с новой, более всеобъемлющей програм-

мой под названием «белая революция» и решил протестировать ее на референдуме.

Белая революция включала ряд мер по модернизации: раздачу земельных участков крестьянам; право голоса для женщин, право выдвигаться в парламент и местные органы власти; национализацию природных ресурсов; программу ликвидации безграмотности в удаленных городках и деревнях; схему распределения прибыли для промышленных предприятий, в которой рабочим доставалась бы часть дохода фабрик. Оппоненты шаха подчеркивали, что программа была разработана с одобрения и при активной поддержке президента Кеннеди. Впрочем, даже некоторые представители оппозиции поддерживали белую революцию, посчитав прогрессивными ее основные постулаты. Другие же считали, что революция «сверху» не сможет решить многочисленные проблемы государства.

Референдум назначили на 26 января 1963 года. Переворот 1953 года, в результате которого был свергнут Моссадег, а шах вернулся к власти, ослабил позиции националистов и левых. Что касается религиозных лидеров, те незаметно заручались поддержкой влиятельных *базаари* (традиционных коммерсантов) и религиозных семинарий. 23 января последователи Хомейни в знак протеста закрыли лавки на базаре. Последовали марши и провокационные проповеди с кафедр, стычки

толп с полицейскими и насильственные протесты в религиозном городе Кум. Протесты в итоге привели к закрытию семинарий.

Между проживанием исторического момента и размышлениями о его последствиях — большая разница. В моей памяти многочисленные события той весны и лета почему-то вместились в первые июньские дни и завершились так называемым восстанием 5 июня. Те из нас, кто стал тогдашними свидетелями происходящего, разумеется, не могли осмыслить значимость событий. Эти дни запомнились мне чередой лихорадочных моментов, случайным набором кадров, которые необходимо было смонтировать и организовать в некую последовательность, и лишь тогда что-то начинало проясняться. Впрочем, даже тогда я понимала, что происходит нечто важное. Я впервые воочию увидела разлом между традиционным и современным мирами, сосуществование которых я прежде воспринимала как должное. А теперь я понимаю, что в 1963 году в миниатюре разыгрывались грядущие события Исламской революции 1979 года.

Мое представление о традиционных мусульманах сложилось под влиянием отцовской семьи, людей строгих и непоколебимых в соблюдении религиозных ритуалов, но гибких и терпимых к интеллектуальным экспериментам своих детей. Бабушка, папина мама, с любовью и состраданием

относилась ко всем детям независимо от того, верили те в Бога или нет. Мои исфаханские кузины не возражали против предоставления женщинам права голоса. Каждый день их настигал парадокс собственного существования: они были современными образованными женщинами, соблюдавшими все ограничения традиционного образа жизни по собственному желанию. Кто же были эти люди, придерживавшиеся столь радикальных взглядов и клеймившие проститутками женщин вроде моей матери?

Атмосфера во время прихода гостей в нашем доме стала нервной, как и по всей стране. Отец был занят больше обычного. Вдобавок к обязанностям мэра его назначили главой Конгресса свободных мужчин и женщин — группы, в чьи задачи входило сформировать общественную поддержку шахских реформ и составить список кандидатов в новое правительство. Это еще больше оттолкнуло моих молодых дядей и кузенов, которые хоть и не бунтовали в открытую, но к шахскому правительству относились с неодобрением. Мамины кофейные посиделки теперь проходили под непривычный аккомпанемент постоянного стука в дверь.

В дискуссиях родителей с друзьями постоянно возникал вопрос: а какой он, настоящий Иран? Что более легитимно: старинные традиции, на которых основывалась власть шаха, или строгие мусульманские принципы аятоллы Хомейни?

Размышляя над этими вопросами, которые мои родители и их друзья обсуждали так много раз в разные моменты моей жизни, я хочу добавить несколько и от себя: а как же Фирдоуси и его чувственные героини, как же доисламские герои и цари? Как же сатирический поэт конца XIX — начала XX века Иредж-Мирза и его эротическая сатира на священников и лицемерие религиозных деятелей? Как же Омар Хайям, поэт-астролог и агностик, побуждавший читателей бороться с недолговечностью жизни, попивая вино и занимаясь любовью, или великие мистики Руми и Хафиз, чьи великолепные стихи — не что иное, как бунт против религиозной ортодоксии?

«Не доверяйте хитрым клерикалам: обман — их хлеб». Я до сих пор слышу раздающиеся в нашей гостиной голоса. «Разве можно верить шаху, когда тот говорит, что хочет дать женщинам право голоса? А у мужчин в нашей стране есть право голоса? Сколько свободных выборов было проведено в этой стране за последние десять лет?» Подобные аргументы слышались снова и снова; раз за разом гости возвращались к вопросам доверия и непостоянства иранского народа, который горячо поддерживает то одного лидера, то другого, его злейшего врага. Многие удивлялись агрессивности сторонников аятоллы Хомейни: те организовали свои народные дружины, избивали женщин с непокрытыми головами и поджигали госучреждения.

Особенно ярко отпечатался в моей памяти один комментарий, произнесенный тем летом господином Мешгином, репортером. Возможно, я запомнила его потому, что лишь много лет спустя поняла, насколько он был прав. «Меня поражает не степень влияния религиозных лидеров, а то, за какой короткий срок нашими умами полностью овладели светские правители», — сказал он. Мешгин не дожил до того дня, когда его слова подтвердились, — он умер от рака всего через несколько лет после описанных событий, — однако суть в том, что даже после Исламской революции в образовании и культуре доминировала светская нерелигиозная элита. В этих сферах священнослужители оставались уязвимыми, и постепенно именно благодаря образованию и культуре секуляризм вернулся и утвердился вновь; отчасти в этом была заслуга самих исламистов, упорно боровшихся с культурой и образованием.

В ходе одной из таких встреч и разгоряченных обсуждений я впервые встретила нового приятеля родителей — мужчину яркой внешности с редкими волосами и низким громким голосом, который давал о себе знать задолго до появления в комнате. Он мне сразу не понравился. Он страдал лишним весом, живот вываливался из мятой белой рубашки, а галстук, казалось, его душит. Больше всего мне запомнились его глаза: те выскакивали из орбит и таращились на меня с похотливой

алчностью. Все в нем казалось заряженным демонической энергией, будто внутри него жил злой джинн и пытался вырваться наружу. Его звали господин Рахман.

Рахман был торговцем коврами и, по слухам, обладал сверхъестественными способностями: умел вызывать духов и предсказывать будущее на Коране. Вскоре он стал первым доверенным лицом моей матери. Родители познакомились с ним через одного из маминых родственников. При встрече с ним мать расплывалась в приветливой улыбке. Отец скорее сардонически усмехался. Когда господин Рахман подошел ко мне, он зажал мою руку обеими ладонями и удерживал так долго, что мне стало неловко. «Так вот, значит, какая она, ваша маленькая леди, — сказал он. — Превосходно, превосходно». У него были влажные ладони. Он не столько пугал меня, сколько отталкивал.

На протяжении следующих десяти лет Рахман то появлялся, то исчезал из нашей жизни, как чеширский кот. Отец несколько раз упоминает его в мемуарах. «Рахман заглянул мне в глаза и долго удерживал взгляд, затем уставился на мою ладонь, — пишет отец. — Сказал что-то о моих личных качествах, а затем принялся рассказывать о моих проблемах на работе. Перечислил моих заклятых врагов и заявил, что шах по-прежнему на моей стороне и не поддастся влиянию клеветников, которые распространяют обо мне ложь

и дурные сведения. Но он добавил, что эта борьба закончится победой моих врагов, и посоветовал уйти в отставку». Отец побаивался господина Рахмана и подозревал, что тот осведомлен о его делах не потому, что обладает даром провидения, а потому что является агентом САВАК, иранской разведки. В мемуарах отец упоминает, что дважды пытался подать в отставку из-за разногласий с премьер-министром и Пирасте, министром внутренним дел; последний, помимо всего прочего, обвинил его в попытке задобрить мулл. Но шах всякий раз отказывался принять его отставку и заставлял Пирасте — главного отцовского оппонента — извиняться перед отцом в присутствии всего кабинета министров.

Я не помню, когда именно произошла большая ссора между матерью и господином Халиги, самым кротким из наших гостей. Пошел слух, что она войдет в число первых женщин, выдвигающих свои кандидатуры на парламентские выборы, назначенные на осень. Она планировала выдвинуться от провинции Керман: она там родилась, оттуда пошел род Нафиси. Внезапно она прониклась симпатией к шаху и не терпела дурного слова в его адрес. «Моя дорогая Незхат-ханум, — сказал Халиги, — вы еще меньше вашего мужа приспособлены для политики».

Мать не поняла, что это было сказано из добрых побуждений, и решила, что Халиги ее презирует.

Никакие уговоры не помогли исправить ситуацию. Вечером отец пытался ее умиловить, но все было бесполезно. С того самого дня и до ареста отца — то есть целых несколько месяцев — мы не видели Халиги ни по пятницам, ни в другое время. Хотя, как всегда бывало с изгнанными из нашего дома друзьями и знакомыми, отец продолжал видаться с ним втихую.

Отец был в хороших отношениях со многими священнослужителями, особенно с теми, кого считал прогрессивными. Он проигнорировал «рекомендацию» премьер-министра держаться на расстоянии и пришел на поминки в дом многоуважаемого аятоллы Бехбахани, где молодой священник нещадно критиковал шаха и правительство. Премьер-министр сказал, что правительство решило строго обойтись с протестующими, и посоветовал отцу не соваться в это дело. Сказал, что ему лучше залечь на дно, и велел закрыть магазины 5 июня, в день, когда Хомейни и его приверженцы вышли на улицы с многолюдными протестами и демонстрациями. Отец не послушался. Напротив, в тот день он разрешил магазинам открыться раньше положенного, чтобы люди могли запастись необходимыми продуктами, а еще создал в различных городских районах экстренные центры и предупредил больницы, чтобы те были готовы принять раненых демонстрантов.

Утром 5 июня мы все встали очень рано. Отец ушел на рассвете; мать нервничала, потому что не могла до него дозвониться. Рано утром приехал шофер из муниципалитета и доложил, что с отцом все в порядке, но он постоянно перемещается



*Отец стоит за спиной шаха,
который встречается со священником*

с места на место и поэтому не может позвонить домой. В данный момент он ехал в пожарный участок, где обустроил одну из своих штаб-квартир.

У матери тоже была штаб-квартира в нашей гостиной; в течение дня туда врывались люди и приносили последние новости. Беспреданно булькала кофеварка. Мой брат и дядя Реза рано утром ушли посмотреть, что творится в городе. Я осталась дома. С книгой в руке я то и дело заходила в гостиную, где спокойно восседала мать,

притворявшаяся, однако, что за внешним спокойствием не находит себе места и переживает за отца, город и народ. Но что она может сделать в данных обстоятельствах, кроме как охранять тылы и быть готовой к чрезвычайной ситуации? На самом деле она переживала только за отца. Как заметила моя наблюдательная тетя Мина, она встречала женщин, притворявшихся, что любят мужей, хотя на самом деле это было не так, но никогда ей не доводилось встречать таких уникалов, как Незхат, — женщин, которые бы очень любили мужей, но всеми силами настаивали, что им нет до них дела.

Вспоминая, кто приходил к нам в тот день, я поражаюсь, насколько разные и непохожие это были люди. Но все приходили из-за нее. У матери была одна особенность: она нанимала людей или ходила к врачам и парикмахерам, только если те вызывали у нее личную симпатию; если этого не происходило, никакие рекомендации не могли ее убедить. А симпатию у нее вызывали те, кто с ней соглашался, а также те, кто умел ею манипулировать и убеждать, что они на ее стороне. Это касалось не только знакомых: в нашу дверь часто стучались незнакомые люди и говорили, что встретили миссис Нафиси в магазине, в такси, в автобусе, и та пригласила их к себе домой на кофе.

Хотя большинство этих людей не слишком интересовались политикой, в нашей гостиной

они невольно становились участниками горячих политических дебатов. Ни у кого из нашей семьи политическая карьера, мягко говоря, не сложилась, но все мы обладали очень сильным гражданским самосознанием. Я могла бы обобщить и сказать, что это справедливо почти для всех иранских семей: государство так назойливо вмешивается в нашу жизнь, что иранцы попросту не могут быть в стороне от политики. Но интерес моих родителей к политическим событиям, их осмыслению и анализу, далеко превосходил среднестатистический. Например, интересы тети Мины были по большей части связаны с частной жизнью; она была предана своей семье и небольшому кругу друзей. Мать же по натуре была публичным человеком и политической интриганкой. Обмен рецептами ее не интересовал.

В середине утра пришла неожиданная гостья. Аме Хамдам, никогда не являвшаяся без приглашения, вдруг почтила нас своим присутствием. Сказала, что не задержится надолго и ей надо поговорить с матерью. Аме Хамдам всегда меня интриговала. Я попыталась стать незаметной, но держалась неподалеку и слушала. Разговаривали тихо; до меня доносились обрывки фраз.

— ...но это не из-за него, — сказала аме Хамдам.

— А из-за кого же? — ответила мать и многозначительно покачала головой. — Он всегда хотел, чтобы я оставалась никем. Помнишь,

я хотела получить водительские права? Он даже тогда вмешался.

Тут я заподозрила, что отец послал аме Хамдам, чтобы разубедить мать баллотироваться в парламент. Он знал, что тогда точно не сможет контролировать ее и ее злосчастный язык.

— Тебе ли не знать, — сказала она. — Я была создана для карьеры! Я мечтала стать врачом!

— Это другое, — тихо отвечала аме Хамдам. — Они же как волки. Безжалостные.

Но мать думала о своем. Сказала, что ее брат Али стал врачом, и медицина у нее в крови.

— У меня так хорошо получалось, — задумчиво проговорила она, — но мне не позволили продолжать учебу. Саифи был очень болен. Я не могла его оставить. А потом, — вздохнула она, — стало слишком поздно. Теперь же я могу наконец делать что хочу, но он мне не разрешает. — Все это время она смотрела на кофеварку, избегая встречаться взглядом с аме Хамдам.

— Ты же знаешь, я всегда желала тебе только добра, — сказала аме Хамдам, взяв из ее рук чашку кофе. — Но эта работа не принесет тебе ничего, кроме горя.

— Как ты можешь так говорить? — ответила мать и резко повернулась к ней. — Я всегда равнялась на тебя.

Аме Хамдам возразила, что она — простая учительница и не ввязывается в политику. А все другие

кандидатки в той или иной мере люди публичные:

— Поверь, Незхат-джан, я бы не пришла, не будь я уверена, что эта работа принесет тебе лишь вред.

Мать застыла, как камень.

— Надо было родиться мужчиной, — сказала она и многозначительно покачала головой. — Тогда бы я смогла делать что хочу. Я хоть когда-нибудь смогу заниматься тем, для чего была рождена?

— Твой пол тут ни при чем, — терпеливо ответила аме Хамдам. — У твоей семьи с политикой не клеится, вот в чем дело. Ахмаду тоже не надо этим заниматься. Взгляни на моего брата Саида. Он впал в немилость и потерял работу. Теперь вся его бедная семья страдает. Политика приносит нам несчастье.

К тому времени я целиком и полностью была на стороне аме Хамдам. Отец по секрету и с некоторым раздражением сказал мне, что разубедить мою мать баллотироваться в парламент оказалось невозможно. Ее кандидатуру выдвинули и включили в список кандидатов в Сенат и парламент, одобренный самим шахом — без этого процесса ни один кандидат не смог бы баллотироваться. В своих мемуарах отец объясняет, что был против того, чтобы мать занималась политикой, потому что у нее не было опыта и она отличалась непредсказуемым темпераментом. Однако мать

воспринимала все иначе: ей казалось, что это ее единственный шанс утвердиться на общественном поприще. Позже она забыла, как рвалась в парламент, и стала говорить, что отец заставил ее баллотироваться. Даже рассказывала историю, как ходила к шаху и умоляла его освободить ее от ответственности, но шах хоть и был очень добр, заметил, что таково желание ее супруга. Когда мы врали матери, то осознавали это, но мать чаще врала неосознанно. Хвастаясь, что всегда старается быть честной, она ничуть не лукавила.

Беседу матери и аме Хамдам прервал посланник отца, приехавший из пожарной части. Мать взволнованно пригласила его в дом, налила кофе и принялась расспрашивать. Аме Хамдам извинилась и ушла. Около трех пришел наш дантист. Его заставили закрыть приемную раньше времени.

— Там черт-те что творится! — встревоженно проговорил он. — Хаджи Тайеба арестовали! — Начальник тегеранского овощного рынка активно участвовал в организации протестов. На самом деле, «черт-те что» начало твориться через шестнадцать лет, но в тот день мы получили примерное представление о том, как это будет.

В районе обеда пришла Голи, затем Ширинханум. Потом обе ушли. День казался бесконечным. Я то и дело заглядывала в гостиную; в дверь беспрестанно звонили, приходили новые люди

с новостями. Протестующие штурмовали министерства юстиции и внутренних дел и подбирались к радиостанции. Дом премьер-министра окружили более двухсот человек с дубинками. Бунтовщики подожгли зуркане — спортивный зал для занятий традиционной иранской борьбой. Женщин с непокрытой головой избивали на улицах, пожарную часть штурмовали до того, как туда приехал отец. Правительственные силы обстреляли протестующих, и больницы были переполнены убитыми, ранеными и их родственниками.

Во второй половине дня приехала тетя Мина; она выглядела растрепанной и встревоженной, что было ей несвойственно.

— Час только добиралась сюда от парламента, — доложила она матери, взяв у той чашку кофе. — Не поверишь, что там творится. — Она оглядела комнату. — Знаешь, где Ахмад-хан? Мне за него тревожно. Говорят, сторонники клерикалов все бунтовщики, вооруженные до зубов. Что только не рассказывают: например, что британцы тайно вооружили группу переодетых лжемулл, чтобы те убивали высокопоставленных политиков.

Мама была сама невозмутимость. Она поджала губы и произнесла:

— Что ж, уверена, это всего лишь слухи. Но я, конечно, волнуюсь. Правда, меня никто не слушает. — Через некоторое время, несмотря

на напряженный момент, они стали перебивать косточки общим знакомым. «Ее видели с полковником в пикантной ситуации»; «ее муж просто слеп»; «мужчины такие дураки»; «о да».

Между разговорами о политике и сексе мать брала трубку и звонила в разные инстанции, пытаясь найти отца. Всякий раз возвращалась от телефона с выражением страдальческого долготерпения. Один раз вернулась очень возбужденной: ей сказали, что отец поехал совершать обход больниц, а районы вокруг больниц и пожарной части считались очень опасными. Она пробормотала, что умоляла его не соглашаться на эту работу не столько ради нее, сколько ради детей.

— Он любит детей, мы это знаем, — со вздохом произнесла она. — Что бы кто о нем ни говорил, детей он любит.

К вечеру матери уже не удавалось скрывать тревогу. Отец так и не позвонил, а это было на него не похоже. Однако позвонили в дверь, и через несколько минут вошел господин Рахман с его вечно выпученными глазами и в неизменном мятом сером костюме. Он оттолкнул служанку и увидел в коридоре меня; я неспешно шла с книгой в свою комнату.

— Стой! — крикнул он, подбежал ко мне и сжал мою руку двумя своими ладонями. Его внимание всегда меня пугало. Мохаммада он словно не замечал, а меня всегда умудрялся загнать в угол.

— Мне надо делать уроки, — пробормотала я.

— Нет у тебя никаких уроков, — сказал он. — Я же вижу, ты читаешь какую-то ерунду. Мне нужна твоя помощь, — прошептал он мне на ухо. — Твой отец прислал меня, чтобы я увещевал твою мать, и без тебя я не справлюсь.

— Она не станет меня слушать, — честно ответила я.

— Она тут ни при чем, я для себя прошу, — ответил он. — Ты приносишь удачу. Ты сможешь мне ее убедить.

В этот момент мать открыла дверь гостиной. — А, Рахман, — кажется, она была довольна его видеть. — Что вы тут делаете?

— Меня прислал Ахмад-хан, — ответил Рахман. — Я только что от него. Хорошо, что вы не видели, что сегодня творилось на улицах. — Мать расплылась в улыбке, а Рахман пошел за ней в гостиную, не выпуская мою руку, хотя я уже начала вырываться.

— Хороший кофе решит все проблемы, — с улыбкой проговорила мать.

— Моя дорогая Незхат-ханум, — начал он, усевшись в кресло, — грядут темные времена. Ваш муж — смелый человек... — Заметив неодобрение на лице матери, он добавил: — ...но бестолковый семьянин. Я вам сочувствую. На твоей матери вся семья держится, — он повернулся ко мне. — Что бы вы без нее делали?

Старательно игнорируя Рахмана, я опустила голову и отчаянно попыталась сосредоточиться на своей книжке. Он повернулся с тем же вопросом к тете Мине, но та, видимо, не собиралась его терпеть, пробормотала, что уже опаздывает, быстро попрощалась и улизнула.

— Он не может позвонить, — объяснил Рахман, — потому что телефонные линии прослушиваются. Очень много раненых. Клерикалы хорошо подготовились. Это были не стихийные бунты, дорогая Незхат-ханум; кто-то все тщательно организовал. У клерикалов свои отряды дружинников, орудующих ножами и дубинками. Они устроили много поджогов. У них свои люди на базаре, в народе. Сотни мужчин в белых одеждах вышли из Варамина и идут в сторону Тегерана. Они штурмовали полицейский участок Варамина; военные готовятся встретить их с оружием. Я хочу, чтобы вы знали: ваш муж в безопасности, — загадочно добавил он, — но только пока. Сколько раз мы с вами просили его уйти в отставку?

Мать буркнула, что вообще не хотела, чтобы он становился мэром.

— Да, именно это я ему сегодня и сказал. Повсюду опасность, Незхат-ханум; я вижу опасность.

Мать протянула мне чашку кофе и покачала головой. — Вы увидели опасность в Книге? — спросила она, имея в виду Коран, при помощи которого с Рахманом якобы общались высшие силы.

— Да, Книга подсказала, а еще я говорил со знающими людьми. Слава богу, хоть у одного человека в семье голова на месте. Вот буквально сегодня я сказал вашему мужу, что по крайней мере у вас хватило ума не баллотироваться в парламент.

Мать ядовито на него посмотрела, а я наво-стрила уши.

— Я тут ни при чем, — холодно проговорила она. — Я родилась в семье политиков. Мой отец избирался в парламент и проиграл; его так называемые друзья его предали. Мой муж... мой муж Саифи, — запинаясь, уточнила она, — был сыном премьер-министра. Я вращалась в обществе доктора Миллспо и ему подобных с тех пор, как... — она запнулась и продолжила: — ...с тех пор, как мне было девятнадцать лет. Я могла бы стать врачом, но теперь это невозможно.

— Знаю, знаю, — кивнул он. — Но мы живем в опасное время. Вы нужны нам, поверьте, Незхатханум. Ваш муж не принадлежит ни к какой группировке. Он сам по себе.

— А я, по-вашему, вечно должна расплачиваться за его ошибки? — негодуя произнесла она и чуть тише добавила: — Вы узнали о том, о чем я вас просила? — Они оба повернулись ко мне; мне уже очень хотелось узнать, о чем пойдет речь дальше, но я притворилась, что читаю книгу. — Ази, — сказала мать, — нам с господином Рахманом нужно поговорить наедине.

— Я никому не мешаю, — ответила я, но поняла, что у меня нет выбора и я должна уйти. Я взяла книгу и, нарочно медленно шаркая ногами, обошла кресло господина Рахмана и вышла, оставив дверь открытой.

Когда отец вернулся — это случилось около десяти вечера, — мы так устали, будто сами были участниками событий того дня. Я страшно волновалась, но очень старалась, чтобы мать ничего не заметила. Время от времени я подходила к двери и выглядывала на улицу; пила кофе со всеми, кто к нам заходил. Когда отец наконец вошел в гостиную, Рахман с укором произнес:

— Что-то долго вы, Ахмад-хан. Ваша бедная жена чуть с ума не сошла от тревоги. — «Бедная жена» смерила отца каменным взором, будто тот только что вернулся с гулянки с любовницами, не предупредив, что задержится и не придет к ужину.

Уговоры ни к чему не привели, и тем летом мать все-таки избиралась в парламент вместе с пятью другими кандидатками. Осенью 1963 года она вступила в должность. Родители решили отправить меня в элитную и очень модную Международную школу в Женеве — заведение, заставившее меня с тоской вспоминать невзрачный серый Ланкастер и насмешки моих британских друзей. В день бунтов, 5 июня 1963 года, на отца завели дело в иранской разведке. В деле говорилось, что он

сотрудничал с оппозицией и религиозными деятелями, выступавшими против шаха. Тогда мы еще не знали, как эти несколько страниц личного дела повлияют на нашу жизнь, и помыслить не могли, как сильно та вскоре изменится.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОТЕЦ В ТЮРЬМЕ

Бывает — заглотила боль
Все бытие до дна,
Но бездну она спрячет под собой,
Чтоб память перешла¹⁰.

Эмили Дикинсон



¹⁰ Пер. А. Грибанова.

Обычный преступник

В ДЕКАБРЕ 1963 года меня вызвали с урока истории и отвели в кабинет директора; тот мрачно сообщил, что мой отец в тюрьме. Это передали по швейцарскому радио.

— В Иране революция? — спросила я. Другой причины для его ареста я не находила, хотя мы всегда беспокоились, что случится нечто подобное.

А ведь все шло так хорошо. Всю осень до меня доходили хвалебные отчеты о том, как отец принимал различных глав государств. Три недели назад я видела разворот на две полосы в «Пари Матч»: отец стоял рядом с генералом де Голлем. Других высокопоставленных лиц на фотографии не было, даже шаха. Отец понравился де Голлю, вероятно, из-за приветственной речи, которую он произнес на чистом французском с отсылками к французской литературе. Де Голль наградил отца орденом Почетного Легиона. Когда я взволнованно упомянула об этой фотографии в телефонном

разговоре с отцом, тот ответил: «Рано радоваться; мне это еще припомнят».

В женеvской школе мы вели уединенный образ жизни. У меня не было возможности читать персидские газеты, а контакт с внешним миром ограничивался визитами родственников и друзей, проходившими под надзором. Я позвонила матери и расспросила ее об аресте; та заверила меня, что это слухи, а отец уволился и ждет выхода на другую работу в нашем доме на берегу Каспийского моря. Мол, у него заслуженный отдых. Тетя Мина написала, что ему предложили должность министра внутренних дел, и она ждет не дожvтся, когда я приеду на каникулы. Я должна была провести рождественские каникулы во Франции, но мне сказали, что планы изменились и я поеду домой. В остальном я не заметила ничего подозрительного.

Мой кузен Реза, сын тети Нафисе, учился в школе «Ле Розе» в Швейцарии и летел со мной в Тегеран одним рейсом. Как только мы заняли свои места в самолете, я сказала, что не знаю, зачем меня вызвали домой (Резу тоже заставили внезапно изменить планы), и предположила, что это как-то связано с отцом. Да, ответил он и помахал у меня перед носом газетой. С передовицы на меня смотрело лицо отца; заголовок крупными буквами гласил, что он арестован.

В заметке перечислялись предъявленные ему обвинения, в том числе взяточничество и растрата



Отец встречается с президентом Франции
Шарлем де Голлем

бюджетных средств. Вместе с ним арестовали еще сорок человек, в основном подрядчиков. В отчете иранской тайной полиции САВАК говорилось, что отец сотрудничал с оппозицией; его обвиняли в «нарушении субординации» и в хороших отношениях с религиозными лидерами. Два премьер-министра — Асадолла Алям и его преемник Хасан Али Мансур, ровесник моего отца, которого тот считал другом, сочли его «проблемой». Первый не мог простить отцу его высокомерия; второй, молодой и очень амбициозный, видел в нем серьезного конкурента.

Утром после своего приезда, услышав знакомые звуки и запах кофе, я на миг поверила, что ничего не изменилось, что войдя в гостиную, увижу там отца, приветливо улыбающегося гостям. Там была тетя Мина и господин Халиги, сочинивший стихотворение в честь моего возвращения; в нем говорилось об отце, который не смог встретить дочь в аэропорту. Мрачное лицо господина Мешгина освещалось столь редкой для него вымученной улыбкой. Голи тепло мне улыбнулась, а Ширин-ханум не стесняясь поносила упадничество и безбожие династии Пехлеви.

Рядом с матерью сидел господин Рахман и неотрывно смотрел на меня. Наверняка он делал так, просто чтобы мне стало не по себе. Теперь он официально состоял в маминой свите и был постоянным гостем в нашем доме и героем папи-

ных дневников. Рахман предупредил, что Мансуру теперь принадлежит вся власть, но на самом деле это иллюзия; никто не знает, что уготовано ему судьбой. Мать высказалась куда резче. Как можно не помнить о том, что именно его отец, последний премьер-министр при предыдущем шахе, сдал Реза-шаха британцам? «У его сына менее надежные покровители — американцы, и мы видим, что он предпочел предать свою страну».

Господин Бехдад, известный адвокат, который впоследствии взялся защищать отца, тоже был там в то утро, как и господин Эсмаили, директор по вопросам парков и озеленения, ставший у нас частым гостем. В тюремной камере отца каждый день стояли свежие цветы; после освобождения он узнал, что их анонимно присылал Эсмаили. В последующие месяцы и годы я научилась ценить преданность людей, от которых ее совсем не ждешь, — Эсмаили или Зиа, начальника отдела кадров, которого я прежде считала обычным лизоблюдом.

Зиа предложил матери — он называл ее Незхат-ханум — прийти на аудиенцию к премьер-министру и убедить его в невиновности «господина мэра» (он всегда называл отца не иначе как «господином мэром»); тогда его, возможно, скоро отпустят.

— Мой дорогой друг, — с некоторым раздражением произнес Халиги, — премьер-министру ли

не знать, что Ахмад невиновен. Вы, кажется, забыли, что они-то и сфабриковали обвинения. Что нам нужно сделать, так это выяснить, почему он на самом деле в тюрьме.

Праздные размышления прервал приход тети Нафисе: та вошла в комнату, совершенно не заботясь, что прерывает чей-то разговор, и решила, что все замолчали из уважения к ней. Тетя Нафисе



*Отец во время
тюремного заключения*

организовала кампанию в защиту отца. Она ходила к высокопоставленным чиновникам от его имени и осыпала его заботой: регулярно навещала, присылала его любимую еду, даже предлагала денег в долг, чтобы мы могли пережить трудные времена. Кивнув гостям и подставив мне щеку для поцелуя, она

повернулась к матери и Рахману, который вышел из комнаты вслед за ней. Приход тети поверг всех в мрачное молчание.

Пока мама и тетя Нафисе ждали у ворот Центра временного задержания — тюрьмы, где держали обычных преступников, — я стояла чуть в стороне и, как могло показаться стороннему наблюдателю, храбро улыбалась. В машине мы с матерью, как обычно, начали ссориться: я про-

бормотала, что хочу остаться в Тегеране готовиться к выпускным экзаменам с репетиторами, а мать по причине, известной ей одной, хотела, чтобы я уехала как можно скорее. Лишь когда машина высадила нас у огромных металлических ворот, за которыми, казалось, раскинулось другое царство, я вдруг запаниковала.

У нас была привилегия: мы могли встречаться с отцом в кабинете начальника тюрьмы. Это была длинная вытянутая комната, окрашенная глянцевой серо-голубой краской с синим бордюром. С одной стороны, ближе к стене, стоял стол начальника, за ним сидел лысеющий мужчина в синей форме. Увидев нас, он нервно вскочил и поздоровался. Его добродушное круглое лицо выражало искреннее уважение, что было странно в такой мрачной обстановке. Напротив стола, у стены, стоял ряд маленьких стульев и два столика.

Мать и тетя вежливо заговорили с полковником Хорами, начальником тюрьмы, а я сидела в углу, прижавшись к глянцевой стене, и смотрела в окошко. Когда в разговоре возникла пауза, я повернулась к полковнику и краем глаза увидела отца. Тот с улыбкой стоял у открытой двери и выглядел похудевшим и помолодевшим. Я бросилась к нему и споткнулась о низкий металлический столик. Полковник вежливо потупился, чтобы не встречаться взглядом с отцом. Тетя вскрикнула;

мать, кажется, взглянула на отца с неодобрением. Я же стояла на месте, пока отец сам не подошел; он обнял меня, поцеловал и прошептал: «Все хорошо. Я так рад тебя видеть».

Вначале они говорили о взрослых делах, а я сидела рядом с папой и держала его за руку, как много раз делала в детстве. На наших с отцом старых фотографиях меня всегда поражает, что я то и дело пытаюсь наладить с ним физический контакт: склоняюсь к нему, кладу голову или руку ему на плечо.

Поцеловав меня, он первым делом произнес:

— Никогда не проявляй слабости, ни малейшего признака обиды или стыда. Тебе же не стыдно? Это лишь проверка нашей стойкости. Сейчас время быть гордой. — *Время быть гордой.* Я еще не раз услышу от него это наставление; то же самое будет повторять мать. Хотя мой отец был многообещающим молодым мэром, к которому прислушивался сам шах, мы все немного опасались им гордиться. Ведь это подразумевало, что мы стали жертвами несправедливости.

— Помнишь, я говорил тебе, что ты всегда можешь на меня положиться? — прошептал отец, пока мать и тетя обменивались любезностями с директором тюрьмы. — Можешь поджечь перышко, как то, что Симург дал Залю в «Шахнаме», и я приду тебя спасти. Знай: где бы я ни был, я всегда тебе помогу. Но сейчас мне самому нужна твоя помощь.



Моя мать, подруга семьи, отец и я

Ты должна заботиться о маме. Быть с ней доброй и ласковой. — Моему брату он сказал то же самое. «Теперь ты главный мужчина в семье». Брат, которому тогда было одиннадцать, воспринял это очень близко к сердцу. — Ты знаешь, что теперь у матери не осталось никого, кроме твоего брата и тебя, — он пристально на меня посмотрел. — Ты должна пообещать, что о ней позаботишься. Я ее подвел, и ты должна это компенсировать. Хочу, чтобы ты пообещала, что не будешь обижать ее и во всем станешь ее слушаться. — Я пообещала, что позабочусь о матери и постараюсь ее не обижать. Сколько раз я давала это обещание, столько же его и нарушала.

Отец велел вести себя так, будто ничего не случилось. Мы старательно делали вид, что все нормально, и почти сами поверили, что ничего из ряда вон не происходит, хотя на самом деле все в мире казалось ненормальным. Мы ничуть не стыдились и не собирались притворяться, что нам стыдно, потому что не верили в его вину. Мы не испытывали ни капли стыда за него. С другой стороны, когда мы вели себя так, будто все происходящее ничуть на нас не влияет, это тоже было притворством. На людях мы выбирали вторую ложь, а в частной жизни — обе, и ни одна не была эффективной.

Я до сих пор благодарна тете: всю дорогу домой та держала меня за руку и по-дружески сжала ее, когда слезы заструились по моим щекам. Мать лишь отвернулась. Ей, наверно, казалось, что она не в силах сочувствовать никому, даже собственной дочери; она считала реальной жертвой только себя. Несмотря на то, что она дурно обращалась с отцом, у нее никогда не было сомнений в его честности. Лишь потом, много позже, она начала вторить слухам о нем, которые сама же прежде яростно отрицала, и твердить о Саифи, его честности и безупречной репутации его семьи. Мол, надо же, ей, невестке самого Сахама Солтана, пришлось вытерпеть такое публичное унижение! Способность людей к самообману поистине удивительна: что мечты отца о безмятежной семейной жизни, что

иллюзии матери о покойном муже, что наша с братом уверенность, что мы сможем сделать родителей счастливыми и защитить их друг от друга.

Тюремные дневники

Эпитеты, подходящие для описания нашей жизненной ситуации — трагическая, парадоксальная, смешная — всегда приходят позже, когда удастся объективно взглянуть на обстоятельства. Сейчас при мысли о том периоде мне хочется использовать многие из них — «трагический» и «парадоксальный» уж точно. Но непосредственно в те дни я пребывала в шоке и проживала жизнь как в тумане. Никто не знал, что станет с отцом. Слухов было много и все разные: то говорили, что его выпустят на следующий день, то предупреждали, что ему грозит четырнадцать лет тюремного заключения (помню, я думала: почему четырнадцать? Почему не тринадцать, не пятнадцать?). Кто-то говорил, что в тюрьме его убьют, а убийство обставят как суицид. Дома тоже бросались от одной крайности к другой: мать, брат, друзья, родственники и сочувствующие незнакомцы выражали свою надежду и отчаяние.

Через девять месяцев после ареста отец снова начал вести дневник (когда он попал в тюрьму, он перестал это делать, так как каждый день надеялся, что его освободят). «Сегодня ровно девять месяцев с тех пор, как я в камере, — гласит первая запись. — С первого же дня ареста по подложному обвинению хуже всего было то, что меня обещали отпустить. Но когда к власти пришло новое правительство, ситуация ухудшилась».

Под «новым правительством» отец имеет в виду своего старого друга Хасана Али Мансура, сменившего Аляма на посту премьер-министра. Мансур взлетел на политический олимп за считанные годы: в тридцать лет стал начальником отдела кадров при премьер-министре, а в тридцать четыре, в 1957 году — председателем Совета по экономическому развитию и вице-премьером. Он запомнился мне высоким мужчиной с намекающей лысиной, загорелым, с каре-зелеными глазами. О его жене Фариде Эмами, миниатюрной женщине с длинными прямыми каштановыми волосами, отец всегда говорил с явной завистью. Она ходила за мужем по пятам, словно связанная с ним невидимой нитью. Всякий раз, когда в разговоре всплывало имя Мансура, отец непременно упоминал Фариде и хвалил ее преданность мужу и его карьере. Другим, менее благосклонным наблюдателям она казалась прилипчивой честолюбивой манипуляторшей, которая

ни на минуту не оставляла в покое своего бедного мужа.

Помню, мы были на приеме в саду среди красиво одетых дам и господ. По периметру бассейна натянута гирлянда; Мансур идет по лужайке, подходит к моему отцу, стоящему с небольшой группой гостей, и тихонько отводит его в сторону, обняв за плечо одной рукой. Я наблюдаю за ними: двое молодых политиков, уверенных в себе, своих идеалах и будущем; их поза полна интимности, они кажутся почти заговорщиками. Через некоторое время подходит миссис Мансур; она серьезна и озабочена, смотрит на мужа с обожанием и повисает на его руке.

Отец стал одержим Мансуром. В тюремных дневниках он пишет о нем чаще, чем о других своих «врагах»: пережить удар в спину от друга оказалось намного сложнее. «Я знал его двадцать пять лет, — пишет он на триста двенадцатой странице. — За последние годы мы очень сблизились. У него был хороший вкус, он был талантлив, скромн и вежлив, но при этом лжив, угодлив и чрезвычайно амбициозен. Он готов был пожертвовать всем ради собственного продвижения. Постоянно мечтал стать премьер-министром и ради этого был готов на все. Я был очень к нему привязан, но вскоре мне открылись его двуличие и непорядочность. В последние годы он считал меня своим единственным реальным противником,

хотя я не располагал такими же большими связями и средствами».

Затем отец пишет, что один знакомый, у которого были шпионы в верхах, сообщил ему, что Мансур рассматривает его как конкурента. По словам того знакомого, Мансур и господин Рокуэлл, его связной в американском посольстве, сфабриковали ложные обвинения и скормили их шаху. Американцы пообещали привести Мансура к власти. Каковы же были шансы выжить в данных обстоятельствах у человека вроде отца, не имеющего влиятельных союзников и иностранной поддержки? Он задается этим вопросом в дневнике, а позже — и в многочисленных беседах с друзьями и родственниками. Господин Рокуэлл снова возникает на страницах его дневника, когда отец размышляет, правда ли тот связан с Мансуром. Не потому ли иранское правительство настояло на переводе Рокуэлла перед возвращением американского посла из отпуска?

Другие друзья говорили, что кто-то нашептал шаху, будто отец передал список кандидатов в парламент американцам (а список нельзя было обнародовать прежде, чем шах его одобрит). По другой версии, отец якобы сообщил американцам содержание своего тайного разговора с шахом. «Ахмад-хан, не для печати, скажете нам правду? — добродушно подразнил отца Сафипур, владелец и редактор популярного журнала

„Омид Иран“. — Вы попали в тюрьму за то, что поддерживали кандидатов в парламент, пришлось не по вкусу американцам или показали им список? Если первое — мы свяжемся с нашими высокопоставленными друзьями, выступающими против США, а если второе — поддержим американцев. Но если не верно ни то, ни другое, — усмехнулся Сафипур, — дело точно дрянь!»

Почему его посадили? Обидел ли он шаха? Пострадал от мелких интриг политических оппонентов? От собственных амбиций? Даже его враги не верили в справедливость предъявленных ему обвинений. Политическое диссидентство в Иране считается таким же преступлением, как и остальные, только большинство судят по сфабрикованным обвинениям; не стоит и надеяться выстроить сколько-нибудь достойную защиту. То, что никто не принимал всерьез выдвинутые против отца обвинения, придавало всей этой ситуации налет сюрреалистичности и делало ее, пожалуй, даже комичной. Я же усвоила первый урок иранской политики и общественной жизни: правда никому не интересна.

К отцу приходили высокопоставленные чиновники и вслух спрашивали, какова истинная причина его ареста. Кто-то присылал гонцов с сообщением, что верит в его невиновность и не знает, почему он в тюрьме. Его тюремные дневники пестрят отзывами о таких визитах. «Ближе к вечеру пришел доктор Джамшид Амузегар — член

правительства, позже ставший премьером, — а с ним Сафипур, — пишет отец в начале своего заключения. — Говорили о разном, и он тоже хотел узнать истинную причину моего ареста. Сказал, что члены правительства и люди, не имеющие отношения к правительству, уверены, что я не могу быть вором и растратчиком. Он считает, что моя проблема в политических кознях. Мы с Амузегаром рассмотрели и проанализировали все варианты, но так и не выяснили характер моего преступления». Через несколько страниц он написал: «Ночью, оставаясь в одиночестве, я много плачу. Плачу за себя, за детей, за эту проклятую страну. Только у нас появилась возможность сделать что-то для народа, как правительство перешло в руки предвзятой и безответственной молодежи».

Желая убедить в своей невиновности некоего невидимого собеседника, отец перечисляет, почему «они» не верят, будто он украл государственные средства. Во-первых, у «них» имелся доступ к его счетам. Будь у него долги, им было бы об этом известно; также они знали обо всем его личном имуществе и знали, что за двадцать пять лет на госслужбе он накопил не так уж много, не считая наследства жены. Он дотошно перечисляет все свои траты и цитирует судью, который сказал, что «если бы Нафиси хотел украсть деньги, он бы сделал это, когда был председателем организации по планированию бюджета, которая регулировала

весь бюджет государства». На предположение, что шах был недоволен его чрезмерными амбициями, он ответил, что шах прекрасно знал, что он никогда не стремился быть премьер-министром. Он был бы рад и дальше оставаться мэром Тегерана и закончить начатое. Он упоминает пленку, сфабрикованную его врагами: на ней он якобы беседует с какой-то женщиной на вечеринке, и оба снисходительно отзываются о шахе.

Что делать, если подробный анализ не помогает найти ответ? Мир, где жил отец, не подчинялся законам физической реальности и логики. Больше всего ему нравилось иронизировать над следователем, не поддаваться на его уловки, переводить стрелки и указывать на дыры в его аргументации. Иногда казалось, что раздосадованный следователь умоляет отца помочь ему найти ключ и легитимизировать ложные обвинения.

Однако, несмотря на все попытки, у отца не получалось ответить на два главных вопроса: почему он в тюрьме и что с ним будет дальше. В какой-то момент его прибежищем стали сны. Как писатель, который пишет книгу, где раскрыта тайна его лучшего друга, и потому снабжает ее поправкой, что все герои в повествовании — вымышленные, а сходство с реальными людьми случайно, отец многозначительно заявляет, что не верит в приметы, колдунов и гадалок, но при этом посвящает десятки страниц своих дневников описанию

собственных и чужих снов. В этих абсурдно символических снах сбываются желания, и мир предстает гораздо более логичным и правдоподобным, чем в реальности. В этом мире шах обретает способность рассуждать здраво, чиновники ведут себя порядочно, а отцу удастся выстроить сильную, логичную и убедительную линию защиты. Разговоры, которые в реальности совершенно невозможно было бы представить, в этих фантазиях становятся нормой. В параллельной вселенной существует более справедливый мир, населенный открытыми, независимо мыслящими людьми. Те могут предостерегать шаха, давать ему советы и даже приказывать поступить правильно. А шах выслушивает и встает на их сторону.

«Я пишу это в первую очередь для себя, но также для своих дочери и сына, — заявляет отец примерно на двухсотой странице тюремного дневника. — Когда у них будет больше времени, чем сейчас, и больше способностей к анализу, эти записки станут для них лучшим советником и наставником». В тюрьме отец исписал пять тетрадей, почти полторы тысячи страниц; он пробыл в заключении четыре года, после чего его полностью оправдали. Позже он наполовину в шутку, наполовину всерьез говорил, что годы в тюрьме оказались самыми плодотворными в плане писательства. Иногда он говорил это, подразумевая, что жизнь

с моей матерью тоже была для него своего рода тюрьмой. Но было в этих словах еще кое-что — то, что проявилось в его дневниках, многочисленных стихах и картинах. Его талант имел свойство раскрываться в чрезвычайных обстоятельствах. Что-то подстегивало его и заставляло преодолевать все возникающие на пути препятствия. Его дух расцветал в самых неожиданных условиях.

Во время наших кратких еженедельных визитов мы видели его в казенной комнате, вдали от всех предметов и мест, которые у меня с ним ассоциировались, и мне было сложно представить, чем он занят там целыми днями, когда нас рядом нет. А сейчас я читаю его дневники, и на их страницах вырастает целый мир, планета с собственным распорядком, законами и странными жителями. Помимо надежды и любви к друзьям и семье его поддерживала неумная жажда жизни. Тюрьма словно кристаллизовала всю его любовь к жизни в чрезвычайно емкие и насыщенные сгустки; он выучил несколько новых языков, писал, читал, размышлял об истории, рисовал и сбросил десять килограммов.

В дневнике он описывает свой безумный распорядок дня. «Просыпаюсь в половине пятого, умываюсь и хожу по камере примерно до семи утра; при этом читаю „Путь красноречия“ — проповеди имама Али — или книги по толкованию Корана и истории религии. В семь утра завтракаю

с охранниками и читаю до восьми. С восьми до десяти хожу по камере, учу немецкий. С десяти до полудня обычно приходят посетители, охранники и другие заключенные. До часу читаю или пишу; в час у меня обед. После обеда отдыхаю, читаю, иногда сплю до трех. С трех до пяти — душ, снова хожу по камере и читаю на французском. С пяти до шести принимаю ванну, читаю газеты, ужинаю, беседую с посетителями, если те приходят. Потом слушаю радио и читаю, и засыпаю примерно в двенадцать часов».

Он плавно переходит от описания своих чувств — фрустрации, горя, боли предательства — к пересказу разговоров с сотрудниками тюрьмы, другими заключенными, посетителями, родственниками и друзьями, комментариям касательно политической ситуации в стране и событий в других частях света. Пишет о смерти Черчилля в 1965 году, о войне во Вьетнаме. Восхищается свободами американского народа, его удивительной способностью вставать с колен, и в то же время критикует внешнюю политику США. Пишет открытое письмо президенту



*Отец в тюрьме с одной
из своих картин,
изображающих птицу*

Джонсону, в котором цитирует Джона Куинси Адамса, Франклина Рузвельта, Дэниэла Уэбстера и Авраама Линкольна. Объясняет, что обращается к человеку, который видел «тревогу и страх на лицах бастующих рабочих в Детройте — тех самых, что достигли глубин отчаяния и лежали на тротуарах с бутылками виски. . . дымящиеся разрушенные здания в Гарлеме и Чикаго, обездоленность и голод в Новом Орлеане и Балтиморе. . . а также великолепные новые здания с автоматическими дверями и множественные дары в виде индивидуальных свобод, красоты, комфорта и культуры страны. . .» Он говорит о необходимости признать, что Америка в долгу перед другими странами, и просит Джонсона «не обманываться, глядя на тиранов, возглавляющих другие государства, не считать тех инакомыслящих врагами, не совершать ошибок, сделанных Америкой во Вьетнаме, и не относиться к другим нациям со снисхождением, оказывая им помощь: если уж помогать, то из принципа и воспринимая их как равных себе».

Он пишет стихи, обращаясь к своим детям, жене, дорогим друзьям и родственникам. Восторгается Сократом, Вольтером и Буддой, переводит стихотворение Поля Элюара *Liberté*¹⁰, сочинения Виктора Гюго и, как ни странно, книгу по анатомии, которая его очень увлекла. Делает ящик для

¹⁰ Свобода (фр.).

пожертвований, чтобы помочь другим заключенным вносить залог. Учится рисовать, совершенствует немецкий и с помощью одного из заключенных осваивает два новых языка: русский и армянский.

В тюрьме он пишет три детские книги, но публикует их лишь через несколько десятилетий: перевод басен Лафонтена с красивыми иллюстрациями, скопированными с оригинала; сборник сказок Фирдоуси и еще один — великого персидского поэта Низами. Он описывает, как рассказывал эти сказки нам с братом, когда нам было 3–4 года, и как они важны. Тон его дневников задумчив и меланхоличен; лишь заговаривая о Фирдоуси, он будто теряется и не может подобрать слова. «Я полюбил Фирдоуси с первых строк, — пишет он. — На мой взгляд, это величайший иранец в истории, а „Шахнаме“ нет равных в истории литературы. В поэме отражена любовь Фирдоуси к стране, его искренность и правдивость. Никто не учит человечности, доброте и добродетели лучше Фирдоуси... Всякий иранец должен его почитать. Я хочу, чтобы мои дети научились любви к своей стране, человечности и поняли ценности древних иранцев. Герои Фирдоуси богобоязненны и гуманны. Он никогда не восхвалял тиранов и не наделял своих героев отрицательными чертами».

Было время, когда он подолгу, часами обсуждал Фирдоуси с другим заключенным, генералом

Бахармастом, известным под прозвищем «Генерал Фирдоуси». Его арестовали по обвинению в совращении малолетних, но отец говорил, что в реальности он провинился тем, что оказывал юридические услуги хаджи Тайебу, хозяину овощного рынка, которого казнили за пособничество аятолле Хомейни в ходе восстания 5 июня.

На страницах дневника появлялись странные люди, а потом так же неожиданно исчезали: талантливый живописец, ставший отцовским учителем рисования; молодой человек, у которого было четыреста любовниц и которого обвинили в убийстве одной из них; доведенный до отчаяния заключенный, повесившийся в камере; американец, арестованный за убийство жены. Отец упоминает человека, внезапно ожившего в морге; вместо того, чтобы оказать ему первую помощь, официальные лица глазели на «чудесное воскрешение», а бедняга тем временем умер от холода. Он вспоминает, как много лет назад уже бывал в своей камере, расположенной по соседству с моргом: здесь отбывал срок другой заключенный, тоже известный политик, и отец его навещал. Он часто жалуется, что люди твердят порой, видимо, желая его утешить, что ему повезло, что он очутился в тюрьме. («Незхат говорит, что я счастливчик, ведь мне не приходится работать с новым правительством!»; «Рахман заявил, что мне повезло, что я попал в тюрьму, иначе меня бы убили».)

Нам же отец говорил, что его настоящее везение в том, что он не принадлежал к радикальной оппозиции, как некоторые другие заключенные, у которых не было ни денег, ни влияния, и кому оставалось надеяться лишь на Господа и больше ни на кого. А я, читая его тюремные дневники, невольно думаю, что тюрьма действительно стала для него своего рода благословением, и, как и он, вижу всю иронию и безысходность этой ситуации.

Карьеристка

Сколько бы мы ни думали об отце — а мы думали о нем постоянно — жизнь текла своим чередом, и вскоре мы вполне освоились с новой реальностью. Мы навещали его в тюрьме и оставляли там, как смертельно больного пациента. Он по-прежнему оставался важной частью нашей жизни, но мы продолжали заниматься и своими делами. «Жизнь без отца» — так можно было бы назвать эту главу, будь я склонна драматизировать. Хотя в некоторой степени я действительно ощущала себя сиротой или почти сиротой: ведь его судьба, как и наша, висела на волоске. «Мне жаль Азар, — пишет он в дневнике в первые месяцы заключения. — В возрасте, когда ей так необходима понимающая душа и наставник, она осталась одна. С матерью они не ладят. С тех пор, как Азар было шесть, может, семь лет, я пытался их примирить, но ничего не вышло. Правда в том, что я взвалил на плечи Азар большую ответственность,

и давление на нее огромно. Незхат, увы, не понимает, что ребенку необходимо вести себя по-детски, а молодежь не может не вести себя так, как свойственно только юным. Она относится к дочери точь-в-точь как мачеха относилась к ней. Со стороны может даже показаться, что она ей не родная мать».

Той зимой я вынуждена была снова уехать из Тегерана. Мать отправила меня в школу, несмотря на мои мольбы и возражения отца; я могла бы спокойно подготовиться к экзаменам с помощью репетиторов в Тегеране, но нет. Меня утешало лишь одно: вместо снобской швейцарской школы, где учились дети из высших слоев общества, меня отправили в мой серый пасмурный Ланкастер. Прошло всего два или три месяца, и я повредила позвоночник, пытаясь вылезти из окна своей комнаты на втором этаже: та располагалась прямо над гостиной Шкипера, и я обожала смотреть на его удивленное лицо, когда он замечал меня в своем окне, карабкающуюся по стенке сверху вниз. Три месяца мне можно было только лежать: сначала в больнице, потом дома. И когда летом я вернулась домой, то вернулась уже навсегда.

Я убедила Шкипера не тревожить маму и не сообщать ей новость о случившемся напрямую. Он написал то ли тете Нафисе, то ли тете Мине — точно не помню, какой из них. Рахман заявил, что знал о моем падении еще до того, как ему

об этом сказали. «Я должен рассказать тебе кое-что об Ази, — якобы сказал он матери, назвав меня уменьшительным прозвищем. — С ней что-то случилось, но ты не тревожься, пожалуйста». Разумеется, она встревожилась, еще как. Тогда Рахман взял ее сумку, поднял и уронил на пол. «Она упала, как эта сумка, — сказал он. — С ней все будет хорошо, но она должна вернуться домой. Ей нужна мать, — добавил он, проявив изрядную хитрость — сказал не „ей нужны родители“, а именно „ей нужна мать“. — Ей нужен мудрый материнский совет».

И вот я вернулась, но зря рассчитывала, что все будет так, как я запланировала. Без отца, нашего вечного буфера, мы с матерью оказались в опасной близости друг от друга. Если я хотела куда-то пойти, мне приходилось умолять и лебезить перед ней. Иногда я впадала в истерику, даже падала в обморок, и это помогало, так как доказывало всю глубину моего отчаяния. Тогда она меня отпускала. Однажды она запретила мне идти на вечеринку, и я соврала, что вечеринку устраивает мальчик-сирота, и если я не приду и не попрощаюсь с ним, он подумает, что я его предала. Мальчик действительно был сиротой, но ни за что не стал бы обижаться на меня из-за такой ерунды; ему даже понравилась история о том, как я обманула мать и та растрогалась и отпустила меня, чтобы не дай Бог не обидеть ранимого сиротку.

Болезнь, несчастья — этим всегда можно было заработать у матери лишние очки.

Мы с братом уже привыкли к ее причудам, и сами отчасти стали такими же: как наркоманам, нам была необходима доза драмы, без нее мы прожить не могли. Когда она кричала на нас и обвиняла в различных проступках, мы впадали в истерики, орали, рвали на себе одежду, а иногда даже пытались покалечиться. Мы искренне переживали за отца, а вот мать, похоже, была в восторге оттого, что он в тюрьме, и подпитывалась своей бедой. Как все диктаторы, она черпала удовлетворение из постоянного кризиса. После Исламской революции я шутила, что жизнь с ней подготовила нас к подобным временам. Проблема была не в том, что мы не получали желаемого — нет, иногда получали, — а в том, что попытки угодить верховному божеству или сопротивляться ему так изматывали, что становилось совершенно невозможно получать какое-либо удовольствие от жизни. Я до сих пор не могу веселиться или делать что-то приятное, подспудно не ощущая, что совершила преступление, которого просто никто не заметил.

Но у этой истории, как водится, была другая сторона. Я уверена, что мать не находила себе места от волнения за отца. Несмотря на то, что она упрямо отказывалась о нем беспокоиться, ее постоянно бушевали тревоги за нас с братом,

и она воображала всевозможные катастрофы, которые могли с нами случиться. Так, мне было запрещено ходить в горные походы, ведь я могла сломать шею. Мохаммад не мог больше ездить на автобусе и посещать футбольные матчи — а он обожал футбол, — потому что враги отца могли его похитить. А еще был момент с ее работой. Она стала членом парламента и впервые в жизни вышла на работу, за исключением краткого периода, когда служила в банке. Теперь она могла предъявить это в доказательство, что ее жизнь потрачена не зря. Но момент торжества омрачился ситуацией с отцом. Любые ее действия в парламенте ограничивались пониманием, что отец находится в заложниках в тюрьме, причем это понимали все — и она, и окружающие. Все, включая мою бывшую директрису доктора Парсу — теперь она занимала пост сенатора, — советовали матери проявлять осторожность и не светиться. Та была очень недовольна и никого не слушала. При любой возможности она высказывала все, что думала, и слыла самой откровенной представительницей оппозиции. Было ли это еще одним подтверждением ее эгоистичного и пренебрежительного отношения к отцовскому положению, как считали многие наши друзья и родственники? Или свидетельством ее верности себе, внутренней необходимости любой ценой поступать правильно? Думаю, верно и то, и другое.

В отсутствие отца мать изменила порядок своих кофейных посиделок. Постепенно на смену шепчущимся женщинам пришли мужчины в костюмах и галстуках. Иногда она устраивала особые собрания с участием журналистов и чиновников, которых с гордостью называла «своими друзьями-мужчинами». «С друзьями-мужчинами у меня получается ладить гораздо лучше, чем с женщинами», — хвасталась она. Большинство мужчин приходили, потому что их интересовала судьба отца, но некоторые, безусловно, попали под влияние матери. С тех пор, как осенью 1963 года она стала



Мать в период, когда она состояла в парламенте

членом парламента, у нее появился законный повод утверждать, что ее политические связи — следствие ее общественной деятельности. Среди ее «друзей» был генерал Пакраван, бывший министр информации. Она рассказывала, что ей сказал шах, как она спорила с шахом, как они конфиденциально обсуждали ту или иную тему.

Эти встречи отличались от более неформальных и шумных кофейных посиделок по пятницам, где господин Халиги то рассуждал о политике, то декламировал стихи. Они были куда менее непринужденными. На них присутствовали журналисты — Сафипур и неизменно серьезный господин Мешгин. Приходили чиновники, члены парламента и известные адвокаты: господин Бехдад, господин Овеиси и Садег Вазири. Позже они стали адвокатами отца. На этих собраниях мужчины сидели, вытянувшись по струнке, как школьники, которых в любой момент могли вызвать к доске. Мать говорила с большим пылом, ругала на чем свет стоит правительство от премьер-министра — она не сомневалась, что за ним стоят британцы и американцы («ну разумеется, мы знаем, кто стоит за этим человеком»), — до системы правосудия («воры они, вот кто, начиная с самого министра и дальше вниз»). Но самые ядовитые слова она приберегала для генерала Нассири, бывшего начальника полиции, который теперь возглавлял иранскую разведку САВАК, и Пирасте, министра

внутренних дел и отцовского врага номер один. Она была убеждена, что именно эти двое сфабриковали против отца дело. «Я не боюсь этих трусов, — говорила она, — этих бестолковых преступников».

Господин Амирани приходил лишь однажды, может дважды, и непременно один. Он был редактором влиятельного издания «Ханданиха». (А может, впечатление о серьезности газеты создалось у меня на основе воспоминаний о самом Амирани.) В своих заметках он без стеснения критиковал правительство. Поговаривали, что только один человек был огражден от его критики: сам шах. Господин Амирани решил встать на сторону моего отца и иногда даже публиковал его заметки. Не помню, чтобы видела его, когда отец был мэром, но после ареста мы очень много о нем слышали, и он часто давал о себе знать. «Если можно писать, как Амирани, почему другие этого не делают? — спрашивал отец в дневнике. — А если нельзя, в чем его секрет?» В «Ханданихе» опубликовали заметку в защиту отца, и та всколыхнула огромную волну. В дневнике отец упоминает, что Пирасте предложил Амирани десять тысяч туманов за публикацию своей версии истории, но Амирани отказался. Продолжил печатать отцовские тюремные заметки и защищать его. Отец рассказывал, как Амирани ругался с цензорами за одну-единственную строчку в заметке. Он придавал

гораздо больше значения тому, что не опубликовали, тому, что вычеркнули.

Господин Амирани был художав и почти лыс; из-под очков в роговой оправе смотрели наблюдательные глаза. Его лицо было тонким, с острыми чертами; ученая внешность. Он напоминал худую сову. Мать очень гордилась их знакомством и считала его своим другом; утверждала, что он начал поддерживать отца, потому что она так на него повлияла. Мне было почти больно смотреть на ее инфантильное соперничество с отцом за дружбу этих влиятельных мужчин. Через много лет я вновь увидела тонкое лицо Амирани рядом с другим лицом — кроткого бывшего главы разведки генерала Пакравана, того самого, кто помогал спасти аятоллу Хомейни после восстания 5 июня 1963 года. Исламский режим Хомейни казнил их обоих.

Эти встречи всегда заряжали мать энергией и иногда вводили в опасный раж. Обычно после них она брала телефон, звонила кому-нибудь и высказывала все, что накопилось. «Да, он не идеальный муж, — говорила она, — но он всегда был хорошим отцом, баловал детей, и человек он принципиальный». Она могла набрать номер и провокационно заявить: «Я знаю, прихвостни Нассири нас сейчас подслушивают; так слушайте, вы, бандиты, мясники, насильники...» Те, кому она звонила, пытались ее увещевать, но поток оскорблений лился не переставая. Потом наши

знакомые приходили в тюрьму и просили отца утихомирить жену, твердили, что именно из-за нее ему продлили срок. Но мать была неуправляема. И все друзья передавали ее друг другу, как кусок взрывчатки, надеясь, что она взорвется в чужих руках.

Однажды утром мать загадочно заявила: ни одно действие не останется безнаказанным. Оказалось, Пирасте выступал перед конгрессом, и несколько членов конгресса, включая мать, просили его говорить громче, «поднять голос». Он с ухмылкой повернулся к матери и произнес: «Проявите терпение, и со временем он поднимется» — скаламбурил по-персидски, намекнув на мужской половой орган, который тоже «поднимается». Это вызвало настоящую бурю. Сессия сорвалась, все бросились перед ней извиняться. Господин Амирани написал о случившемся разгромную статью, и несколько дней мы грелись в лучах позора Пирасте.

Порой мне кажется, что годы, когда отец сидел в тюрьме, а мать занимала должность в парламенте, были лучшими годами ее жизни. Она очень серьезно относилась к своей работе и, как ко всему и всегда, подходила к ней с яростной решимостью. Очень гордилась, что ее выбрали парламентским секретарем. Отец утверждает, что его бывшие коллеги удивлялись, что Незхат так

серьезно относится к работе: она ездила в свой округ, маленький город Бафт в провинции Керман, и мутила там воду, критикуя равнодушие правительства к провинции и суля радикальные перемены и лучшую жизнь для местного населения. Говорила, что судьба помешала ей стать врачом, но теперь у нее есть шанс показать характер. И первым, кто испытал на себе этот характер, стал новый премьер-министр Хасан Али Мансур.

Отец подозревал, что его соперники и особенно Мансур считали, что мать будет благодарна за работу в парламенте и станет податливым орудием в их руках. Как они ошибались! Она любила рассказывать, как ее с коллегами пригласили пообедать с принцессой Ашраф, сестрой-близнецом шаха и очень влиятельной фигурой; по слухам, та была близка с теми, кто посадил отца в тюрьму (в частности, с Пирасте и министром юстиции Бахери). Мать с гордостью пересказывала, как ее пригласили сесть с принцессой за столик и она во всеуслышание отказалась. «С какой стати я должна считать за честь обедать с *этой*?» — спросила она коллег, которые, вероятно, тут же притворились, что у них нет с ней ничего общего.

В 1962 году, прежде чем стать премьер-министром, Мансур баллотировался в парламент и был избран вторым представителем от Тегерана после Абдоллы Риази, спикера палаты представителей. Его тогда поддерживала партия «Прогрессивный

альянс». Мать впервые проявила неповиновение, когда Мансур сформировал новую партию — «Иран Новин». Он рассчитывал привлечь в партию членов парламента, и большинство согласились в нее вступить; так он стал лидером большинства. Мать не только отказалась вступить в «Иран Новин», но и сообщала о своем отказе каждому встречному и поперечному. Она хвасталась, что, когда Мансур намекнул, будто сам шах заинтересован в ее активной поддержке «Иран Новин», она ответила, что если Его Величеству надо ей что-то сказать, пусть сам и скажет.

Однако Мансур оставался лидером большинства недолго. Он сменил Аляма на посту премьер-министра после отставки последнего в 1963 году. С самого начала деятельность правительства Мансура вызывала противоречивый отклик. Вскоре после вступления в должность он поднял цены на бензин, чтобы сократить бюджетный дефицит; в результате забастовали таксисты, и решение оказалось настолько непопулярным, что пришлось его отменить. Осенью 1964 года правительство Мансура представило парламенту противоречивый законопроект, прозванный «законом о капитуляции»: он наделял дипломатическим иммунитетом американских военных, на них больше не распространялась юрисдикция иранских гражданских и уголовных судов. Мать и еще несколько парламентариев отказались поддержать закон

(хотя она настаивала, что кроме нее, только один человек проголосовал против). Те, кто голосовал за, возмущенно сказала она, начисто лишены национальной гордости. Сначала британцы, потом американцы; неудивительно, что честные люди, никак не связанные с иностранными державами, прозябают за решеткой!

Когда она проголосовала против закона о капитуляции, многие восхищались ее смелостью, но ее выступление против закона о защите семьи 1967 года вызвало у всех недоумение. Закон запрещал внесудебные разводы, допускал многоженство лишь при особых обстоятельствах и учреждал специальные семейные суды. Мать проголосовала против, и это возмутило защитников прав женщин. Она же спорила, что лицемерно принимать законы якобы в защиту женщин, когда для выезда за границу этим самым женщинам по-прежнему требуется нотариально заверенное разрешение мужа. Мать была слишком радикальной или недостаточно гибкой, чтобы пойти на предложенный компромисс, и предпочла проголосовать против закона и не соглашаться на то, что виделось ей полумерами. Я же не согласилась с ней тогда и не согласна до сих пор, но все же восхищаюсь ее упрямой независимостью.

Позже мать утверждала, что с самого начала все было ясно как божий день. «Мансур мне

не нравился, — говорила она и глубоко вздыхала. — Я голосовала против всех его законопроектов, всех до единого. Как-то раз он попытался со мной поговорить; он, разумеется, всегда был вежлив, не то что этот нахал Пирасте, совершенно невоспитанный — где он учился? Я же рассказывала про тот случай в парламенте? Когда он меня оскорбил? Пирасте все насквозь видели. Но Мансур — тот был другим. Джентльмен, всегда обаятельный. И никогда нельзя было понять, что у него на самом деле на уме».

«Я вышла из здания парламента, — продолжала она, — и пошла в кондитерскую. Помнишь, как ты любила профитроли? Хозяин пекарни очень тебя любил. Помнишь его?» «Да-да, мама, господин Таджбакш». «Он всегда угощал тебя профитролями. Я стояла у прилавка, разговаривала с Таджбакшем, и тут кто-то рядом произнес: „Можно вас прервать?“ Таджбакш вдруг замер, а я обернулась и увидела Мансура; тот, как всегда, обаятельно улыбался. Но на меня эта улыбка никогда не производила впечатления. „Можно на секунду отвлечь вас от вашей важной беседы?“ — спросил он. „Она действительно важная“, — ответила я. Он отвел меня к двери и спросил: „Можно пригласить вас пообедать?“ „Нет, нельзя“, — ответила я. Он хоть и был лидером большинства, но мне ничуть не льстило его приглашение пообедать. Я сказала: „Если хотите о чем-то со мной поговорить,

поговорите сейчас“. И вот мы стоим у двери, и он говорит: „Я всегда считал вас своим другом“. „Странно вы относитесь к друзьям“, — ответила я. „Ахмад сам себе роет яму, — сказал он, — ему нравится иметь врагов“. Я молча стою и смотрю на него. Знаешь мой этот взгляд, когда я как бы показываю — я знаю, что вы задумали?» «Да, мам, знаю». «Я же выросла среди политиков — мой отец выдвигался в губернаторы Кермана, а Сахам Солтан...»

«Итак, я сказала: „Вы пришли оскорблять мою семью? Сказать, что мой муж сам виноват в самой большой афере в истории этой страны?“ — а что это еще, как не афера, обвинение в растрате счетов обанкротившегося учреждения или в том, что он якобы участвовал в заговоре против шаха? Сколько бы зла ни причинил мне твой отец, — она повернулась ко мне, — я всегда относилась к нему справедливо».

«„Незхат-джан, — мягко проговорил Мансур, — я обращаюсь к вам не как к его жене, а как к коллеге, к уважаемой коллеге. Забудем ненадолго об Ахмаде. Почему мы не можем сотрудничать?“ И я подумала: а ведь я могла бы с ним сотрудничать. Если бы захотела, выдвинулась бы на второй срок. Сам шах был на моей стороне. А я все бросила. Бросила, потому что гордость не позволяла не заступиться за мужа! И бог с ней, с моей жертвой, если бы ее хоть кто-нибудь оценил, хоть

кто-нибудь заметил... Суть в том, что я отказалась сотрудничать, и он обиделся, хотя попытался это скрыть; с того дня он редко со мной разговаривал и впредь вообще не проявлял инициативы к диалогу. А теперь это!»

Под «теперь это» мать подразумевала убийство Мансура; его убил Мохаммад Бохарай, связанный с Коалицией исламских собраний — группой, созданной в 1963 году с одобрения аятоллы Хомейни. Коалицию поддерживали священники, выдвинутые Хомейни, в том числе его верный ученик и последователь Мотahari и ряд будущих лидеров Исламской Республики — Рафсанджани и Бешехти. Коалиция составила список лиц, которых необходимо устранить; в списке числился шах, тринадцать важнейших членов шахского правительства, его личный врач, генерал Аяди — его якобы внесли список, потому что он был бахатистом; генерал Нассири, новый начальник разведки; одиннадцать госслужащих и редакторов газет, нападавших на духовенство и Хомейни. Восстание 5 июня подавили, но возглавившая его религиозная оппозиция по-прежнему была живее всех живых.

Из дневников отца: «Пятница, 1 бахмана¹¹ 1343 года [22 января 1965 года]. Сегодня примерно

¹¹ У иранцев свой календарь; *бахман* — одиннадцатый месяц иранского календаря, второй зимний месяц.

в полдень услышал, что стреляли в Мансура. Сперва не поверил. Сейчас ходит много недостоверных слухов о правительстве. Но вскоре новость подтвердилась. Около десяти утра в него четыре раза стрелял какой-то юноша. Ранения оказались не смертельными. По радио передали, что врачи Мансура сказали, что его давление нормализовалось и в течение месяца он поправится. Мне так его жаль... в душе он не был плохим человеком, не хотел предавать свою страну и мог бы хорошо ей послужить, но ему не хватало опыта, он был слишком честолюбив и нетерпелив...»

Через несколько дней отец пишет: «Хасан Али Мансур, молодой премьер-министр Ирана, провел неделю в коме, мучаясь от боли и страданий, и покинул этот мир в среду 7 бахмана 1343 года (27 января 1965 года). Уже за два дня до этой даты по городу ходили слухи о его смерти. В стране, где правительство никогда открыто и честно не общалось со своими гражданами, настоящие новости держатся в секрете, а факты подменяются слухами. С самого начала было очевидно, что выстрелы смертельны, но за день до смерти Мансура вышли новостные сводки с сообщением, что он идет на поправку. В понедельник все газеты писали, что опасность миновала».

В дневнике отец описывает, как стоял у окна своей комнаты — оно выходило в коридор, ведущий к моргу, — и ждал, когда принесут тело

Мансура. «Я так жалел, что он умер; слезы выступили на глазах. Всю ночь я не спал... Полтора года назад мы считались самыми многообещающими молодыми политиками в нашей стране, на нас смотрели с завистью и надеждой. Сегодня же один из нас в тюрьме из-за бесстыжих конкурентов и их злокозненных приспешников, а в трех метрах от него другой лежит в крови; его холодный труп ждет вскрытия в морозильнике. Вот нам урок. А ведь оба могли послужить своей родине».

После этого отец никогда не забывал о Мансуре; тот преследовал его неотступно. Не верилось, что убили именно Мансура, ведь его считали счастливчиком; он обнадежил нацию, и хотя успел пробыть на посту премьера недолго, вызвал много противоречий. Его не раз сравнивали с молодым и красивым президентом Кеннеди. Его могилу превратили в святилище, но после революции исламский режим сравнял ее с землей, как и многие другие, включая могилу Реза-шаха.

Подходящая партия

«**П**РИБЕЗЖАЛА НЕЗХАТ, — пишет отец в дневнике осенью 1964 года. — Снова была раздражена и встревожена. Почему Азар не уезжает в Англию? Почему я в тюрьме? Почему весь мир против нас? Незхат из тех, кто считает себя божьими избранниками и верит, что никогда не ошибается. Когда случается что-то плохое, ей кажется, что другие виноваты. В данном случае она винит меня». Когда отец пишет о шахе и правительственных чиновниках, его тон полон неповиновения, к которому примешивается досада, но его записи о матери пронизаны отчаянием.

«Со дня ареста я надеялся, что вся эта ситуация наконец сойдет спесь с Незхат и она распрощается с иллюзией, что весь мир ей что-то должен. Мне казалось, она увидит меня в тюрьме и поймет то, что мне никак не удавалось ей втолковать, когда я был на свободе. Но сегодня я понял, что она хочет полностью присвоить себе мою жизнь, все мое

существование; она не только ничего не поняла, но считает, что я нахожусь в самом подходящем для себя месте и всем ей обязан».

Мужчины часто используют жен и семью в политических целях, но у моих родителей все было наоборот: они были так поглощены своими разногласиями, что политическая карьера становилась для них способом уладить проблемы в семье. Однажды я услышала, как отец в разговоре с приятелем сравнивал свои отношения с матерью с сюжетом персидского поэта-мистика XII века Аттара, который рассказывал о человеке, бесстрашно оседлавшем свирепого льва. Когда рассказчик последовал за этим храбрецом к нему домой, он с потрясением увидел, что жена держит его в страхе. Как можно не бояться свирепого зверя, но трусить перед собственной женой? Храбрец ответил: если бы у меня дома не происходило все то, что ты видишь, я никогда не оседлал бы льва.

«Сидишь тут, вдали от бед, и занимаешься чем душе угодно, пока я тащу все на себе!» — без тени иронии жаловалась мать. Когда мы слышали такие слова, нам с братом хотелось еще сильнее защищать отца. Я покупала ему все, что он хотел, хвалила подарки, которые он делал матери, сочувствовала ему, пекла пироги и писала маленькие сентиментальные записочки, в которых говорила, как сильно им горжусь. Я также лгала, что дома все

хорошо; правда, ему сразу удавалось меня раскусить по скорбной мине и пассивно-агрессивным жалобам.

«Сегодня Незхат попросила сказать Азар, чтобы та не навещала меня так часто, — пишет отец. — Можете представить такой абсурд?» Он недоумевал, как умудрился стать не просто ее мужем, но другом, советником, счетоводом и, по сути, слугой. Он писал ей стихи; она их игнорировала. Я же жадно читала их все и собирала.

Мне было пятнадцать лет, когда мать Бехзада Сари попросила моей руки от лица своего сына. У нее недавно умер муж, уважаемый судья; семья, в отличие от нашей, была очень степенной. Мать Бехзада Сари была истинным матриархом и держала домашних в ежовых рукавицах. У моей матери были друзья мужского пола, а у отца — приятельницы женского пола, которыми он восхищался за характер и силу духа. Одной из таких приятельниц была известная поэтесса Парвин Довлатабади; другой — миссис Сари, мать Бехзада. Она была очень чопорной и обладала твердым характером, по мне, так чересчур напористым. Я видела в ней то, что замечала и в матери, — желание контролировать людей, но ей это удавалось лучше, чем Незхат. Таким, как миссис Сари, было трудно возражать и противиться. Сари придавали большое значение социальному положению —

пожалуй, даже слишком большое, — но в целом они были хорошими людьми.

Когда поступило предложение о замужестве, отец все еще был мэром Тегерана. Наши семьи недавно сблизились, мы виделись часто — раз или два в неделю. Бехзаду было двадцать семь лет; непьющий, трудолюбивый, он не отличался красотой, но и уродом его нельзя было назвать. Родителям казалось, что он будет относиться ко мне с уважением, что бы это ни значило. Я же ничего не имела против этого брака, кроме одного: Бехзад казался мне занудой, и я его не любила. Но родители не отказывали Сари прямо — вероятно, из-за близких дружеских отношений с его семьей. Они просто не стали форсировать ситуацию и вежливо сообщили миссис Сари, что решение должна принимать я сама, а я еще слишком молода и не могу решать. При этом они намекнули, что со временем я могу и передумать.

Когда отец сел в тюрьму, семья Бехзада не отказалась от своего намерения, и я решила, что это очко в его пользу. Отец впал в немилость, а жизнь с Безхадом сулила стабильность; теперь это стало большим преимуществом. Меня пригласили в дом Сари; мы обменялись маленькими подарочками, меня осыпали комплиментами. «Я раньше думала, что губы — ее самая красивая черта, но ты посмотри на этот нос», — сказала миссис Сари дочери, оглядев меня с головы до ног. Я чувствовала себя

трупом, который рассматривают студенты на уроке анатомии. Подошел Бехзад, и я сделала вид, что вожусь с его годовалым племянником. Всё в этом доме и в этой семье казалось мне скучным до оскомины, кроме этого племянника и пикантных историй о сестре Бехзада, которая годилась на роль похотливой монашки. Она казалась невинной — круглое лицо, огромные бледно-голубые глаза, стыдливо опущенные долу, фарфоровая кожа и глубокое декольте. Ходили слухи, что она сбежала с донжуаном, но мать вернула ее в общество, поспешно выдав замуж благодаря хорошим связям.

Увы, ее брат был намного скучнее. Успешный инженер, надежный, простой — именно потому он родителям и приглянулся. Однажды он пришел к нам домой с букетом роз и попросил меня принять окончательное решение. Я запаниковала и ответила: «Я пока не хочу выходить замуж. Ни за тебя, ни за кого другого; я просто не готова». Он прервал меня, будто не слушал, что я сказала, и проговорил: «Я уже старый. Не могу больше ждать, я должен знать ответ сейчас. Или скоро». Томление в его глазах меня испугало.

До отцовского ареста родители всем отвечали, что я еще молода для замужества. А Бехзаду и его родным говорили, что если я и выйду замуж, то при одном условии: мне разрешат продолжить образование. Однако внезапный арест отца со-

тряс нашу жизнь, и теперь ничто уже не казалось невозможным. Если мы жили в мире, где судьбы так легко строились и рушились из-за случайных событий, то девочки, что должны были продолжить образование, могли выйти замуж в шестнадцать, семнадцать и восемнадцать, и не по любви, а просто потому, что порядочный парень из нормальной семьи предлагал им стабильную жизнь. Меня никто не заставлял, но вместе с тем мне не разрешали встречаться с парнями моего возраста. Вскоре я прямо сказала, что отказываюсь выходить замуж; Бехзад и его семья отреагировали на это с некоторым разочарованием, но спокойно. По правде говоря, мне нравился другой мужчина, и он был полной противоположностью Бехзада. Высокий, красивый, романтичный, уверенный в себе, он бархатистым голосом вещал о поэзии и философии, но главное — был влюблен в другую, что делало его еще более интересным и желанным.

Женщины обычно клюют на внешность мужчины или мелькнувшую искорку, но соблазнить можно и разговором. Давным-давно мне сказал об этом один приятель; мы сидели на барных табуретах в кафе в Тегеране вскоре после революции и ели сэндвичи с ветчиной, которую запретили и продавали из-под полы лишь проверенным клиентам. Мы обсуждали «Ночь в опере»

и «Джонни Гитару»¹². Беседа так меня увлекла, что в тот момент я готова была наградить его званием самого сексуального мужчины в мире, хотя внешность у него была совершенно обычная. «Никогда не встречал женщину, которую так заводили бы разговоры о Вуди Аллене», — сказал он.

Он верно подметил эту мою особенность. Меня привлекали мужчины, будоражившие мой интеллект. Можно сказать, я унаследовала эту черту от родителей. Отцовская любовь к литературе и философии и тяга матери к горячим политическим дискуссиям с «друзьями-мужчинами» сложились вместе, и получилась я. Перечитывая свои письма родителям из Англии, написанные, когда мне было около пятнадцати, я ясно вижу, как старалась произвести впечатление на отца философскими рассуждениями и разговорами о книгах.

Вуди Аллена я полюбила не сразу. От десяти до тринадцати лет я фанатела от Юла Бриннера; моя одержимость им отчасти объяснялась его безответной любовью к Деборе Керр на экране и в реальной жизни. Я собирала его фотографии. Отцу это не нравилось; однажды я читала книгу, и из нее выпала фотография Юла — так

¹² «Ночь в опере» — альбом группы Queen 1975 года; «Джонни Гитара» — американский фильм в жанре вестерна 1954 года с Джоан Кроуфорд в главной роли.

я по-свойски его называла; отец заставил принести все его фотографии и порвал их. Потом одно время я была влюблена в Дирка Богарда (а иногда мне кажется, что влюблена до сих пор), в его загадочную улыбку и взгляд, который всегда точно был направлен куда-то вдаль, даже когда Дирк смотрел прямо в кадр. Позже я узнала, что женщины его не интересовали; мое сердце было разбито, но я продолжала его любить. А потом, уже после двадцати лет, я вдруг влюбилась в Вуди Аллена. Однокурсники смотрели на меня с потрясением и даже жалостью, но я ощущала свое превосходство; как бы то ни было, я ничего не могла с собой поделать, сердцу не прикажешь, как сказал сам Аллен много десятилетий спустя.

Я влюбилась в Мехрана Осули в переходный период между Юлом Бриннером и Дирком Богардом. Мехран, вероятно, поспособствовал моему увлечению Вуди Алленом, хотя внешне они были совершенно не похожи. Мехран был привлекательным высоким мужчиной со светло-каштановыми волосами, такого же цвета глазами и красивым успокаивающим голосом. Он чем-то напоминал игрока в американский футбол, который втайне мечтает стать великим писателем или философом. Я влюбилась в него, когда мне было пятнадцать, а ему — двадцать один; он учился на втором курсе Тегеранского университета. У жены одного из моих младших дядей, дяди Хусейна, было четыре очень

красивых брата, пользовавшихся большой популярностью у девушек. Мехран был самым серьезным из них. Игры, в которые играли влюбленные девчонки, его совсем не интересовали. Я точно помню вечер, когда в него влюбилась. Мы с дядей Хусейном и его молодой женой были у него в гостях и за ужином горячо обсуждали «Природу любви»¹³. Сначала Мехран показался мне отстраненным. Мы спорили, постоянно прерывая друг друга, а он сидел, откинувшись на спинку стула, и изредка добавлял от себя меткое замечание. У него был такой красивый голос, что я заслушалась. Вечер продолжался, и мне уже казалось, что говорим только мы с ним вдвоем. Я привела в пример Рудабе и Заля из «Шахнаме», Матильду и Жюльена Сореля из «Красного и черного». А он вдруг процитировал старинную персидскую пословицу. «Лишь тот, кто не голодает, не забывает о любви» — имея в виду, что любовь для сытых и довольных, для тех, кто не познал голод и труд. Потом он повернулся и собрался уходить. А я увидела в этой обычной фразе скрытый смысл и почему-то решила, что он обращался ко мне и имел в виду прямо противоположное значению пословицы.

Далее Мехран лишь подтвердил мое мнение о нем как о романтическом герое. Он убедил меня,

¹³ Скорее всего, речь о главе из «Пророка» Халиля Джебрана.

что безнадежно влюблен в старшую сестру своего лучшего друга. Так начались наши с ним отношения: он рассказывал мне о ней во всех подробностях. Ему нравилась идея безответной любви. Я же глотала каждое слово и безропотно внимала его мудрым рассуждениям. Со временем он рассказал, как признался ей в своих чувствах. Мне запомнился не столько его рассказ, сколько сам инцидент; я будто присутствовала при этом, наблюдая за ними из-за портьеры в гостиной. После обеда все вышли, кроме них двоих. По радио играла популярная песня о любви: я помню ее до сих пор. Они стояли у стола, она собиралась уходить, но он ее остановил. «Подожди, я должен кое-что тебе сказать». В моем воображении она повернула голову, может быть, удивилась, а может быть, и нет, и молча улыбнулась. Непостоянная возлюбленная в его рассказах всегда молчит и лишь принимает его страстные ухаживания.

Теперь я понимаю, что запала на него не из-за внешней привлекательности, а именно из-за этих романтических историй. Некоторое время мы регулярно виделись: мой дядя Хусейн организовывал еженедельные походы в горы, и там мы встречались. Каждую пятницу мы отделялись от группы, шли и разговаривали чуть поодаль от остальных. В местах особенно сложного подъема он подавал мне руку и помогал вскарабкаться на гору. Сначала я отказывалась — мне нравилось чувствовать себя

храброй и независимой, — но через некоторое время стала соглашаться и заметила, что он держит мою руку в своей чуть дольше положенного. Иногда, выпуская мою ладонь, он смотрел мне в глаза с бесконечной нежностью и тревогой, будто я была бездомным котенком из волшебной сказки. Взойдя на гору, мы стояли и любовались великолепным видом Тегерана; он чертил ее имя палкой на земле, а потом стирал подошвой ботинок. Я стояла рядом, грустила, сочувствовала ему, но делала вид, что мне это неинтересно. Я так и не поняла, почему он любил эту девушку. Он никогда не говорил о ее красоте, уме или других достоинствах. Она была просто старшей сестрой его лучшего друга.

Постепенно мы все больше стали держаться за руки, а его пассия все реже фигурировала в наших разговорах. Вместо этого мы по несколько часов обсуждали мою «ситуацию». Под «ситуацией» имелись в виду мои отношения с матерью. Я вела себя как его младшая сестра, он давал мне советы и писал милые записочки. Потом динамика изменилась, и я стала играть роль его старшей сестры; тогда он начал сильно меня ревновать, считать, что у него есть на меня права, и подарил мне худший и самый сентиментальный роман Хемингуэя — «За рекой, в тени деревьев». Стал называть меня *aye bija mia* («девочка моя»). Но это было уже намного позже.

Есть семьи, которые стараются не выносить свои внутрисемейные конфликты на публику, но моя мать, хоть и придавала большое значение нормам этикета, почему-то не считала нужным это делать. Она выплескивала все наболевшее в любом социальном контексте. Я пыталась скрыть от нее свое увлечение Мехраном, но ее охотничий нюх было не так-то просто обмануть; она всегда была начеку, и все мое тайное рано или поздно становилось явным. Помимо нюха, она имела привычку ежедневно вмешиваться в самые личные сферы нашей с братом жизни. Она подслушивала мои телефонные разговоры, читала мои письма и дневники, входила в мою комнату, когда хотела. Я же не знала, что возмущало меня больше: то ли ее привычка читать мои письма и дневники, то ли тот факт, что она не разрешала мне негодовать по этому поводу, так как, раздобыв доказательства моего предательства в дневниках, она обвиняла меня, и я всегда оказывалась крайней.

Но вернемся к одному случаю. Это было поздней осенью; сухой тегеранский холод прихватил еще нежные зеленые листочки. Мои чувства и эмоции вторят смене сезонов. Тегеранская осень прекрасна, но я люблю зиму, солнечную и снежную, когда кажется, что воздух буквально пахнет морозцем. Я ездила в тюрьму на встречу с отцом; теперь шофер везет меня к Мехрану. Я велю ему не ждать, говорю, что потом сразу пойду

на занятия. Мать категорически против, чтобы я ходила к Мехрану или к дядям, но я все равно регулярно это делаю. Однажды она узнала, что я пошла в дом Мехрана, не предупредив ее; она приехала к нему и заявила, что я немедленно должна отправиться домой. В первый раз мне стало стыдно, но потом семья Мехрана поняла положение вещей, и все стали мне сочувствовать. Решение наших с матерью проблем было предметом бесконечных обсуждений. Мы с родными Мехрана не просто подружились, а стали сообщниками.

Сердце стучит на осеннем холоде. Я в легком красном пальто, воротник поднят и трется о шею. Все происходящее кажется мне очень романтичным и волнующим. Прошу шофера высадить меня у входа в узкий переулок. Это старый район Тегерана с магазинчиками пряностей и пыльными узкими улочками; на мостовых видны пересохшие русла ручьев, упирающиеся в дома с высокими защитными стенами. У дома достаю маленький флакончик духов — *L'air du Temps* от «Нина Риччи» — и наношу немного на запястья и за уши. Звоню в звонок. Дверь открывается, я прохожу несколько шагов по мощеному булыжником двору, где растет старое дерево и в маленьком круглом бассейне блестит вода. В комнатах первого этажа всегда царит прохлада.

Проходит около получаса; раздается звонок, затем в дверь начинают молотить. Мое сердце

замирает. Я знаю, это мать; допросила шофера, тот выложил, куда я пошла. «Где она? Я знаю, она здесь!» — кричит она. «Ее здесь нет, — отвечает Морад, младший брат Мехрана. — Хотите — зайдите сами и посмотрите». Мы стали хитрее, и в этот раз она меня не находит. После ее ухода жду десять минут и тоже ухожу. Бреду по лабиринту петляющих переулков, выхожу на главную улицу... и натыкаюсь на нее.

Я вру — теперь я в этом спец. Говорю, что ходила к Мехрану взять почитать книги, и показываю их ей; мол, я только позвонила в дверь, и мне сказали, что она была там и искала меня, поэтому я поспешила домой. «Мы просто разминулись», — как ни в чем ни бывало говорю я. «А до этого что ты делала?» — спрашивает она, кажется, успокоившись. «Я... просто гуляла», — отвечаю я. Вряд ли она мне поверила, но главное — ни в чем ни признаваться. Даже если она поймет, что я вру — а она это прекрасно понимает, — нужно придерживаться своей версии. И тогда через некоторое время даже самая невероятная ложь станет немного похожа на правду. Да и смысл ее допросов был не в том, чтобы выяснить факты: у них имелась своя логика, и в какой-то момент мы успокаивались и забывали об изначальной причине ссоры. Много лет спустя, уже после Исламской революции, я стала свидетельницей того, как та же самая динамика разыгрывалась уже в более крупном масштабе.

Мы подыгрывали исламистам. Придумывали самые невероятные объяснения, почему от нас пахнет спиртным, почему на губах помада, как кассета популярного зарубежного исполнителя оказалась на приборной доске нашей машины. Далее следовала небольшая или большая взятка, и нас отпускали. Через несколько недель рассказ о нашей жалкой победе становился анекдотом, над которым смеялись на вечеринках.

Прежде чем отпустить меня в Британский совет, куда я хожу на уроки английского, мать сообщает, что в пятницу я не пойду в поход. Я не могу пожаловаться отцу, так как стараюсь оградить его от наших ссор, хотя знаю, что она обязательно расскажет ему о моем проступке, когда в следующий раз пойдет его навещать. («Кажется, Незхат считает, что это моя дочь от другой женщины», — несколько раз пишет он в дневнике.) Но даже в тюрьме, где ему хватало своих забот и конфликтов, как личных, так и публичных, отец постоянно напоминает мне, как тяжело сейчас матери, как она нуждается в любви, и твердит, что мой долг — понимать ее и поддерживать.

Утром встаю и вижу, что она занята подготовкой к кофейным посиделкам. Хожу за ней по пятам из столовой в кухню и ее комнату и умоляю разрешить пойти в горы, но она никак не соглашается. Потом она поворачивается и произносит: «Ты больше никогда не пойдешь в эти дурацкие

горы». Я отвечаю, что пойду, разрешит она мне или нет. «Что тебе от меня надо? — начинает кричать она. — Ты смерти моей хочешь? Тогда будешь довольна?» Я тупо смотрю на нее и молчу. Хочется сделать что-то ужасное: швырнуть об стену стакан, истерично завопить, но я начинаю плакать, беспомощно бормотать, и она тает и подходит ко мне. «Ну тихо, тихо, — говорит она. — Не плачь».

«Ты не моя дочь», — ядовито произносит она. А у меня перед глазами встает выцветшая картина: Матильда в «Красном и черном» держит на коленях отрубленную голову Сореля. «Ты и твой отец...» — кричит мать, и картина насыщается красками и вырисовывается во всех деталях. Матильда сидит в карете, стук лошадиных копыт нарастает, и я слышу крик матери, стук копыт и молчание Матильды. Постепенно мне удастся совладать с желанием кричать и плакать. Но мать так и не добилась своего, не довела меня до истерики, поэтому следующие два дня она со мной не разговаривает.

Я говорю: «Я все равно пойду, ты мне не помешаешь». Теперь мы обе кричим. Звонят в дверь, но мы не обращаем внимания. Она говорит, что не воспитывала меня проституткой. «Ты поэтому хотела остаться в Тегеране? — в ярости бросает она. — Не из-за отца — на него тебе плевать, — а чтобы гулять по городу непонятно с кем?» Тут я не выдерживаю и рыдаю. «Не могу больше жить

в этом доме, — говорю я. — Это невыносимо». Мы не видим, как брат выходит из комнаты и встает посреди коридора; не слышим, как открывается входная дверь.

Через несколько минут заходит тетя Мина. Я все еще в истерике. Мама целует Мину; та берет меня за руку. «Я так больше не могу, — бормочу я. — Не хочу больше жить в этом доме». «Все хорошо, не волнуйся», — говорит тетя Мина и тихонько подталкивает меня к моей комнате, а брату велит принести стакан воды. Я слышу сердитый голос матери; он удаляется, она спускается по лестнице и идет на кухню. Тетя Мина садится и начинает говорить со мной, как со взрослой, будто сообщает мне какую-то тайну. «Не понимаю, как Незхат может быть такой жестокой к себе и тем, кого любит», — говорит она. «Она меня обзывает, — запинаясь, отвечаю я. — Говорит, что я хочу ее смерти». «Она это не всерьез», — тихо произносит Мина, протягивает мне стакан воды и велит брату уйти. «Всерьез, — отвечаю я. — Она говорит, что мне, как и всем, нужны только ее деньги». «Она говорит это тебе, потому что тем, кто на самом деле ее обидел, уже ничего сказать не может», — объясняет тетя Мина.

Мать пробуждала в нас все лучшее и одновременно худшее. Лишая нас личного пространства, она вынуждала нас сбегать в наши тайные миры, которые мы, дети, часто создавали с помощью

воображения. Для отца такими тайными убежищами становились сад, его стихи, работа. До сих пор помню выражение его лица, когда по утрам он приносил к столу тарелку благоухающих лепестков жасмина или внезапно останавливал машину по дороге на нашу виллу на берегу Каспийского моря и уходил в лес на поиски цветов, чтобы потом высадить их в саду. Бывало, я валялась на диване с очередным романом, с головой погрузившись в чтение, а он звал меня в сад показать какой-нибудь потрясающей красоты цветок. Я сбегала в мир литературы: моей ролевой моделью была Рудабе, моим возлюбленным — Жюльен Сорель, моими доверенными подругами, помогавшими понять, какой я хочу стать, и нащупать свою вечно ускользающую самость — Наташа Ростова, Элизабет Беннет, Кэтрин Эрншо и многие другие героини. И этот воображаемый мир казался таким разнообразным и чудесным по сравнению с миром, в котором я жила.

«Такие» женщины

ПРИМЕРНО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ я полюбила по-долгу лежать в кровати и читать. Я подчеркивала отдельные места в книгах, переписывала их в дневник и повторяла строки из стихотворения своей любимой Форуг Фаррохзад: «Все существо мое подобно мрачной песне, что к беспредельным высотам возносит». Утром в пятницу во время маминых кофейных посиделок я входила в гостиную с книгой, и гости часто спрашивали меня, что я читаю, или комментировали то или иное произведение. Мать почему-то всегда воспринимала это как личное оскорбление. Она не одобряла моей любви к чтению, но почему — сама не знала. Говорила, что, мол, я слишком одержима книгами, но никогда не могла толком объяснить, почему мое увлечение казалось ей формой бунта и странным способом заявить о своей независимости. Когда я сказала, что не выйду замуж за Бехзада Сари, потому что не люблю его, она обвинила

меня в том, что я читаю слишком много поэзии и сговорилась с отцовскими родственниками, которые, в свою очередь, устроили заговор с целью помешать моему замужеству. Отчасти она была права. Стихи Форуг Фаррохзад действительно являлись воплощением потенциала, который я видела в любимых литературных героинях. Форуг жила своими идеями и поплатилась за это. Рудабе и Форуг Фаррохзад связывала невидимая нить. Обе были смелыми и открытыми, особенно по меркам культуры, отрицавшей эти качества.

Фаррохзад родилась в 1935 году и вышла замуж, когда ей не исполнилось еще двадцати. Вышла не по принуждению, а по любви за Парвиза Шахпура, человека довольно известного в интеллектуальных кругах, который был старше нее на шестнадцать лет. Вскоре после рождения сына Ками она ушла из семьи — поговаривали, что из-за любовника. Остаток жизни посвятила поэзии, ближе к концу снимала кино. Она погибла в автокатастрофе в 1967 году; ей было тридцать два года. Ее самые шокирующие стихи — те, которым она обязана своей скандальной славой, — были посвящены ее романам, но она также писала о политике и обществе, особенно в конце жизни. Она смело и без стыда признавала свои романы и благодаря этому приобрела статус культовой поэтессы. Ей восторгались и ее ненавидели. Она пересмотрела понятие личного «греха», начав воспринимать его

как неповиновение авторитету, особенно авторитету Бога (*Согретая огненным объятием / Я совершила грех наслаждения*).

*Устав от божественной аскезы
В полночь в постели с Сатаной
Ищу прибежища в падении со склонов
Нового греха.*

«Останется лишь голос». Так называлось стихотворение Фаррохзад, которое я записала на верху страницы дневника и подчеркнула дважды. Ниже добавила, что мы с матерью крупно поссорились из-за Форуг (ее всегда называли по имени; с мужчинами-поэтами таких вольностей себе не позволяли). Мать твердила, что не для того меня воспитывала, чтобы я пошла по стопам *такой* женщины». Я написала, что будь мать больше похожа на «таких» женщин, нам всем жилось бы намного веселее.

Через несколько дней я вернулась с дневного занятия в Британском совете, и мать вызвала меня в библиотеку. Она сидела в мягком кожаном кресле, выпрямив спину. В соседнем кресле развалился Рахман, а напротив него сидела тетя Мина, явно испытывающая неловкость. На кофейном столике, выставленный на всеобщее обозрение, лежал виновник этого собрания: мой дневник в скромной черной пластиковой обложке. Господин Рахман

смотрел на меня и снисходительно и многозначительно ухмылялся. Обычно он вставал на мою защиту, но сегодня молчал и иногда неодобрительно щелкал языком, а в глазах играла лукавая искорка.

Мать потребовала объяснить, как мне хватило наглости писать в своем дневнике, что я предпочла бы «эту женщину» своей родной матери. Тетя Мина пыталась всех успокоить. Я спросила, с какой стати мать читает мой личный дневник: кто дал ей на это право? Рахман с видом святоши ответил, что мать имеет право предотвратить грех. Мол, в исламе это право есть даже у незнакомцев. Чем более беспомощной я себя ощущала, тем наглее становилась. В свою защиту я попросила их задуматься, что Форуг — влиятельная поэтесса.

В этот момент мать заговорила своим самым ужасным равнодушно-издевательским тоном.

— Ты, конечно, права, — саркастично произнесла она. — Ты же у нас кладезь знаний. Как может такая невежда, как я, даже мечтать достигнуть таких высот! — Когда она на нас сердилась, ее лицо становилось ледяным, и она нарочно говорила высокопарным языком. Меня могла называть «мадам» — она всегда так делала, когда писала мне укоряющие записки. Она писала их и оставляла дома в разных местах. Другие семьи разговаривали, а мы общались письменно и в письмах высказывали свои чувства, чаяния и жалобы. Мы писали

их на бумаге, будто заглянуть в глаза друг другу и просто поговорить было невыносимо.

Иногда ее записки были короткими и чистосердечными: она поздравляла нас с днями рождения, например, или с Новым годом, или с каким-либо достижением. Но чаще всего она писала их, когда злилась. Тогда она обращалась к нам обобщенно: «мой образцовый муж», «мои благодарные дети», «моя ответственная дочь». Она часто перечисляла все, чем ей пришлось ради нас пожертвовать. «Материнский долг — воспитать детей порядочными, — писала она в одной из своих записок. — Я рада, что воспитала в вас индивидуальность», — продолжала она и приводила список наших прегрешений. Она никогда не умаляла наших «достижений», как их называла, потому что в глубине души считала их своими. Часто она заканчивала словами: «Простите, что я была плохой матерью. В этой семье я никому не нужна, я лишняя. Желаю вам троим всего хорошего». Позже она стала добавлять и внуков в список виновников своих несчастий.

Я уже тогда должна была заметить, что в этих записках не хватает самого главного. «Азар, несомненно, блестящая ученица, — писала она, нарочно выражаясь максимально безэмоционально и сухо. — Главная задача матери — быть преданной своим детям». Теперь мне грустно от этой болезненной отстраненности, которая у нее

называлось любовью. А в то время мы воспринимали ее записки как должное и не видели стоявшей за ними пронзительной боли.

В тот день мне сделали выговор, я через силу и сквозь слезы извинилась, после чего меня отправили в свою комнату. День ясно отложился в моей памяти: я просидела у себя до вечера, отказывалась от еды, к телефону не подходила. Мать отправляла за мной слуг, брата, дядю, чтобы те привели меня ужинать, но я так и не пришла. С опухшими от слез глазами сделала уроки и провалилась в дурман жалости к себе. Даже Мехран меня больше не интересовал. Я не думала о Бехзаде Сари — все равно я отказалась за него выйти. Мне хотелось жить в мире, в котором не было бы ничего общего с моей жизнью. Что, если я смогу жить нормально? Не знаю, как я пришла к такому выводу, но к ночи я решила: ладно, так и быть, выйду замуж.

«ВЧЕРА ПРИХОДИЛИ НЕЗХАТ И АЗАР, — написал в дневнике отец. — У Азар новый жених. Она уже несколько отказала. Этого зовут Мехди Мазхари, он сын полковника Мазхари. Я знаком с генералом Мазхари, его дядей: он хороший человек. Очень известная в Азербайджане семья. Но меня беспокоит, с одной стороны, отношение ее матери, моя собственная проблема и наивность и неопытность Азар, а с другой — мне больно видеть, как Азар мучается из-за обстановки дома. Возможно, это

и толкнуло ее к замужеству. . . Ее мать торопится решить вопрос как можно скорее. Думаю, она хочет устроить свадьбу, пока еще занимает парламентский пост. Азар постоянно плачет, она несчастна. Не хочет выходить замуж, пока я в тюрьме, но я не знаю, когда меня освободят; не может же она от меня зависеть».

Семья Мехди Мазхари — семья военных — была во многом полной противоположностью нашей. Мехди был единственным мальчиком, родившимся намного позже самой младшей дочери Мазхари; мать души в нем не чаяла. Когда мы познакомились, он учился на последнем курсе факультета электронного машиностроения университета Оклахомы. Любил Фрэнка Синатру, главным образом потому, что тот символизировал определенный образ жизни: богатство, обаяние, общественное признание, прислуга в белых перчатках за обеденным столом. Его родные были беззастенчивыми материалистами, в то время как мои не придавали значения материальным ценностям.

Поначалу я не приняла его предложение всерьез. Я его не любила. Он даже не казался мне физически привлекательным. Прежде за мной никто настойчиво не ухаживал, кроме Бехзада, но за него я всерьез замуж никогда не собиралась. Я не обращала внимания на Мехди, пока в какой-то момент тот не обратил внимания на меня. Мать разрешала мне общаться только с одним мальчиком моего

возраста — Бахманом, сыном своей подруги Алангу. Она считала, что ему можно доверять, в отличие от шурина дяди Хусейна и прочих представителей отцовской семьи: те, по ее мнению, плохо на меня влияли. А вот с Бахманом и его друзьями мне общаться разрешали, мать считала их «безопасными». Мехди был другом Бахмана.

После ужина Мехди позвал меня в столовую. Я стояла, а он сидел на стуле. Он взял меня за руки и произнес:

— Хочу на тебе жениться.

Я промолчала. Он спросил:

— А ты не догадывалась?

— Я об этом не думала, — ответила я. Он сказал, что всегда хотел жениться рано и на девушке, с которой ему было бы весело, — в этом я была с ним согласна. Но потом заявил, что его родители уже старые, а он их младший и единственный сын; перед смертью им хотелось бы увидеть, как он женится и заведет детей. Я из хорошей семьи, сказал он, у меня прекрасные связи, хотя я и не одобряю вашу семейную динамику. Мол, в семье только один человек должен носить брюки, а в вашем доме это явно не отец. Еще он добавил, что я сразу ему приглянулась.

— Но я наверняка не единственная, кто тебе приглянулся, — возразила я.

— Да, — ответил он, — но ты такая невинная.

— Невинная?

— Ты училась в Англии, но даже не знаешь, что такое французский поцелуй. — Далее он сообщил, что очень ревнив. — Я буду спать с пистолетом под подушкой, — сказал он и вернулся к обсуждению моей семьи. — Несмотря на то, что случилось с твоим отцом, у вас хорошая семья, известная, с отличной репутацией. — Потом я разрешила ему себя поцеловать, главным образом для того, чтобы он не требовал от меня ответа здесь и сейчас. Позже мне пришло в голову, что, услышав, как он сформулировал свое предложение, мне надо было сразу понять, что будет дальше. Оно смутно напомнило мне предложение, сделанное господином Коллинзом Элизабет Беннет в «Гордости и предубеждении». К сожалению, я повела себя совсем не как Элизабет Беннет.

Вечером я вернулась поздно, но мать еще не спала. Я на цыпочках прошла в свою комнату, а она позвала меня из спальни. Там было темно; она уже лежала.

— Ну что, что случилось? — спросила она.

— Он попросил меня выйти за него, — ответила я.

— Что попросил?

— Выйти за него замуж.

— И что ты ответила?

— Ничего.

— Что?!

— Мне надо подумать, — коротко ответила я.

Позже я стала винить мать, что решила выйти за Мехди Мазхари; всем, кто соглашался слушать, твердила, как она посылала меня домой к Мазхари и не ложилась спать, чтобы спросить, как все прошло; как без моего согласия пошла к отцу и донимала его, чтобы он разрешил нам пожениться как можно скорее; как хитро «забыла» об отцовской просьбе посоветоваться с его старшим братом из Исфахана.

В глубине души я также винила Мехрана. Его уклончивость, сперва казавшаяся мне такой привлекательной, начала меня утомлять. Он порвал с девушкой, о которой мне рассказывал, но лукавил, постоянно устраивал мне проверки и упоминал о той или иной девушке, которую встретил на вечеринке, но уверял, что ни одна из них ничего для него не значила. Позже я поняла, что мое молчание, мое собственное двойственное к нему отношение спровоцировало такое поведение. Стоило мне как бы невзначай сообщить Мехрану о своем новом женихе, как он вдруг начал уверять меня, что мне не надо выходить замуж, что он всегда «был рядом» и был верен мне абсолютно и безоговорочно. Но было уже слишком поздно.

Человек порой испытывает облегчение, поручая свою жизнь кому-то более решительному, чем он сам. Мехди знал, чего хочет, а я глупо радовалась новой замужней жизни, которую он мог мне

предложить. Меня всегда тянуло к мужчинам, похожим на отца, к интеллектуалам, идеалистам, которые считали, что у них есть миссия, к мужчинам, которые хотя бы в теории, пусть не на практике, были гибкими и мягкими. Мехди же представлял собой полную противоположность отца. Я вышла за него не потому, что чего-то от него ждала, а потому что хотела играть роль, которую он для меня приготовил. Я закончила школу и подала заявку на поступление в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре на литературный факультет. Мехди учился на электротехническом в Оклахоме, а мне, как и моей матери, казалось, что я слишком много времени провожу в книгах. Брак вызывал у меня много сомнений. У Мехди были очень жесткие понятия о ролях мужа и жены, свои собственные строгие правила на этот счет. Я убедила себя, что именно поэтому он мне подходит, хотя иногда мне казалось, что мне уготована судьба «еще одной умной женщины, чья жизнь прошла напрасно».

Ирония крылась в том, что мы с матерью выбрали его по одной и той же причине: он знал, чего хотел, и прошел мамин лакмусовый тест на подходящего жениха. «Моя дочь не будет домохозяйкой, она должна закончить образование», — сказала она ему, когда они впервые встретились. Он будет гордиться образованной женой, заверил он ее, если родители готовы оплатить ей обучение.

Я к тому времени стала уже своего рода экспертом по «решительным» мужчинам. Знала, что не так уж они несгибаемы, просто такими кажутся. Поскольку у них на все есть формула, которую они принудительно применяют, они кажутся уверенными в себе. Но при столкновении с неожиданным не знают, что делать. И в кризис становятся беспомощнее самых слабых женщин, над которыми доминируют, втайне их опасаясь.

И все же у Мехди было кое-что, чего не было у меня: стабильная счастливая семья. Она так отличалась от моей: члены его семьи не страдали и не жили, словно ступая по тонкому льду. Они собирались дома за большим столом, веселились или сердились. Вместе проводили праздники и каникулы и путешествовали всей огромной толпой. Наша семья рядом с ними казалась такой одинокой. Мы по-своему заботились друг о друге, иногда, пожалуй, даже слишком, но эта забота всегда была пронизана тревогой и терзаниями.

Я сделала ровно то, чего от меня хотела мать. Позже она все отрицала и заявляла, что с самого начала была против этого брака, но отец в дневнике несколько раз упоминает, как она настаивала на нем и торопила его. Сам же он пытался отсрочить свадьбу, попросил ее подождать, пока мой дядя проконсультируется с Кораном, однако мать шла напролом. Она подготовила свадьбу с головокружительной скоростью, а я все это время ходила

как в тумане. Прошло меньше двух месяцев со дня, как я решила выйти за Мехди, и я в коротком белом свадебном платье, заплаканная, с маленьким тортом отправилась к папе в тюрьму. Я решила повидаться с ним за несколько часов до свадебной церемонии, которая должна была пройти у нас дома. Всю ночь накануне свадьбы я плакала, плакала по пути в тюрьму и прекратила лишь за час до церемонии.

В день свадьбы мать все повторяла, что наши судьбы очень похожи: ее отца тоже не было на ее свадьбе. Отец же написал в дневнике, что наши с ним судьбы, видимо, «переплетены», так как я совершила ту же ошибку, что и он. В странном параграфе, написанном от третьего лица, он рассуждает: «Наконец судьба Азар стала такой же, как у ее отца. Она сама себя толкнула на замужество. Поскольку дома она была несчастна, пока ее отец отсутствовал, она предпочла сбежать. Так единственный человек, кто постоянно думал обо мне, перенес свою привязанность на другого». Мой брат провел половину летних каникул в Исфахане. Его вызвали в Тегеран, и несколько дней перед свадьбой он ходил по двору и уговаривал меня все отменить. На звонки Мехрана я не отвечала. Он, как и остальные мои родственники со стороны отца, понимал, что у нас с Мехди очень мало общего и был крайне удивлен моим выбором.

За десять с лишним лет до этого отец сказал, что упрямство нужно не только для того, чтобы чему-то противиться, оно также нужно для того, чтобы чего-то добиваться. Рудабе настояла на браке с Залем не назло, не потому, что хотела пойти наперекор родительской воле или была в отчаянии; она сделала это из любви к Залю. Вот почему ее упрямство благородно, вот почему им стоит восхищаться. Смысл этих слов дошел до меня слишком поздно.

Свадьба прошла на нервах. Мехран звонил до последнего дня и умолял передумать. Брат просил все отменить. За несколько дней до церемонии матери позвонил дядя абу Тораб из Исфахана и сказал, что проконсультировался с Кораном и получил негативный ответ. Лейла, младшая дочь тети Мины, моя суровая наставница, усадила меня и попыталась втолковать, что я стала той, какой всегда хотела меня видеть мать: «леди». Теперь у меня есть обязанности, и я должна вести себя соответственно. Я согласно кивала. Точно так же я кивала, когда Лейла прочла мне лекцию о супружеском долге. Но надо было спросить, что Лейла посоветует очень напуганной и растерянной девочке, которая притворяется уверенной в себе и решительной взрослой женщиной.

На медовый месяц мы поехали на нашу виллу на Каспийском море, взяв с собой всю семью мужа.

У него было три сестры; их мужья и дети остановились неподалеку на популярном курорте. Отец купил виллу много лет назад, когда этот участок на побережье еще не был застроен. Ему нравилось это место, он ездил туда при всякой возможности. Если правда, что место может вмещать частичку души человека, то можно сказать, что он вложил в него всю душу.

Пляжи Каспия уникальны, им нет равных в мире, хотя, возможно, я просто повторяю, что мне говорил отец. Он сказал, что мало где в мире по одну сторону от пляжа находятся горы и лес, а по другую — море. Он по несколько часов бродил в чаще леса, выискивая экзотические растения и цветы для своего сада. Ни одна возлюбленная никогда не занимала в его сердце столько места, как этот сад. Когда я была подростком, в холодные зимние дни и летний зной, даже если у него выдавалось всего два выходных, он проделывал путь в четыре с половиной часа из Тегерана, чтобы поработать в саду. Постепенно землю раскупили богатые семьи, и вокруг нашего простого дома выросли роскошные сады и виллы. Матери никогда не нравилось сюда ездить. Она была городской до мозга гостей и несла с собой городскую нервозность. Цветы для нее были всего лишь красивой декорацией. С момента приезда она начинала донимать бедного садовника и его семью, чтобы те наводили в доме и саду безукоризненный порядок. Отец был

общительным, хотел приглашать соседей и друзей, но мать превращала любые визиты в кошмар. Она беспокоилась из-за того, что подать к столу, кого позвать. Не любила плавать. Она вообще не умела расслабляться.

Если бы меня попросили закрыть глаза и представить себя там, где я отдыхаю душой и чувствую себя как дома, я бы выбрала эту виллу, этот сад. Воскресила бы в памяти запах моря и песка, разные оттенки зелени, влажную взвесь в воздухе, торжествующую улыбку отца, который показывает мне свои последние находки: огненно-красный цветок под названием Фирдоуси и еще один, с маленькими нежными цветочками, свисающими со стебля, как виноградины — «косы невесты». В этот дом мы с мужем отправились на медовый месяц. И, пожалуй, трудно было выбрать менее подходящее для этого место.

Большинство воспоминаний о первых двух проведенных вместе ночах стерлись из моей памяти. Помню, что я не смогла заниматься с ним



*Мы с Мохаммадом
держим фото отца,
который не смог
прийти на свадьбу*

любовью. Мне было страшно и одиноко, я вдруг почувствовала себя маленькой (какой и была) и совсем не искушенной. Хотелось домой. Я думала о родителях, брате и ничего не могла делать. Он не был ни нежен, ни груб. Я вообще не помню, каким он был. Он просто хотел получить свое, то, на что теперь имел законное право.

Я была напугана и испытывала глубокую печаль, но он этого не понимал. Воспринял мое нежелание заниматься с ним сексом как знак, что я не девственница. Спросил, не ввели ли его в заблуждение. В моем воображении ясно рисуется одна сцена, я вижу ее черно-белой: влажный воздух, его фигура отчетливо вырисовывается в дверном проеме; он стоит в белом махровом халате и курит. А где была я? Наверно, стояла рядом и что-то ему объясняла, уверяла, что я девственница. Следующим вечером за ужином, когда все смеялись и праздновали, он сказал младшей сестре: «Объясни ей, что делать». Та с милой улыбкой повернулась ко мне — она всегда была очень мила — и произнесла: «Просто закрой глаза и ни о чем не думай. Представь, что ты где-то в другом месте, не здесь. Представь что угодно: например, что ешь омлет».

Я так и сделала. Представила себя в другом месте, хотя до омлета дело не дошло — мне просто не хотелось думать о еде. Но у меня не получилось полностью перенестись в это другое место, как получалось, когда мать говорила или дела-

ла обидные вещи. Однако свое тело я покинула. С тех пор в течение многих десятилетий секс был для меня чем-то, чем я занималась, потому что так было «надо» и нельзя было отказать; он вызывал у меня только равнодушие, да и могло ли быть иначе, и я отшучивалась, чтобы сгладить серьезность произнесенных фраз, например, «пожалуйста, не делай мне больно». Даже после пережитых в детстве сексуальных домогательств я не чувствовала себя такой грязной и виноватой, как после секса с мужем. Решив выйти за Мехди, я солгала себе и отчасти предала свои идеалы, став именно такой женщиной, какой совсем не хотела становиться. К чему было теперь восхищаться Рудабе и Фаррохзад?

В первый визит к отцу после медового месяца я надела темные очки и отказалась их снимать, а потом долго носила их даже в помещении. Мне было очень стыдно. Этот стыд прошел лишь много лет спустя.

Супружеская жизнь

В СЕНТЯБРЕ, КОГДА МЫ ПРИЕХАЛИ В НОРМАН, где я поступила на первый курс университета Оклахомы, а Мехди заканчивал факультет электронного машиностроения, меня ждало много сюрпризов. Мехди не потрудился объяснить мне некоторые вещи: например, что четыре года прожил с американкой, и все думали, что она его жена. Я всегда презирала мужчин, которые учились за границей, сожительствовали с американками и получали удовольствие не только от сексуальных отношений, но и от близости, которой у них просто быть не могло с лупоглазыми девственницами, на которых они потом женились. Однако они и не думали жениться на своих американских наложницах, потому что, выражаясь словами моей матери, «одно дело любовница, а другое — жена». Я никогда не считала себя той самой лупоглазой иранской девственницей, и мне от этого стало только хуже.

Первые сильные разногласия случились из-за денег. Мехди был одержим материальными ценностями и не верил, что у моего отца не было где-то припрятано огромное состояние, которое тот украл из общественной казны. Наконец папе пришлось предъявить отцу Мехди финансовый отчет, из которого следовало, что он не только не расхищал огромных сумм, но и с момента заключения в тюрьму жил на средства, которые одолжил у брата. «Генерал Мазхари извинился и даже прослезился после нашего с ним разговора», — писал отец в дневнике после этой беседы. Отчасти претензии моих новых родственников можно было понять. Мать согласилась частично оплачивать мои расходы на жизнь, но это ей не нравилось, и она никогда не присылала деньги вовремя, чем существенно усложнила мое существование.

Два раза в неделю, а то и чаще, Мехди играл в покер и иногда задерживался до утра. Он заставлял меня красить волосы в черный, каждую неделю ходить в парикмахерскую (женщина должна всегда прекрасно выглядеть), запретил курить и пить (от женщин не должно пахнуть табаком и спиртным). Сам он, естественно, делал и то, и другое. Однажды я разговаривала с подружкой, и та налила мне бокал вина; я взяла его, а Мехди подошел, взял у меня из рук бокал и вылил вино в раковину. Он предупреждал, что ревнив, и вскоре я выяснила,

что он не лгал. Никакого пистолета под подушкой у него, разумеется, не было, но, когда я пришла в библиотеку с однокурсником, он закатил скандал.

На фотографиях того периода я весело танцую с мужем; иссиня-черные волосы уложены в идеальную прическу. Кто эта женщина? Я будто создала для себя параллельную личность и с любопытством и недоумением наблюдала за ней со стороны. Странные привычки, что появились у меня вскоре после медового месяца, — например, носить темные очки в помещении, будто я была шпионкой, скрывающей свое истинное «я», а может, чувство вины, — вскоре стали частью моей личности. Я писала себе записки, они сохранились до сих пор: «Не уязвляй его гордость, постоянно споря с ним»; «если не соглашаешься, сперва скажи ему что-нибудь приятное и уже потом высказывай свое мнение»; «не насмехайся над его идеями и не ругайся с ним всякий раз, когда он уходит играть в покер». Идеальные советы, прямо как из журнала для образцовых домохозяек. Правда, я никогда сама себя не слушала.

Я терпеть не могла торчать в углу чьей-то гостиной в компании сплетничающих женщин, пока мужчины играли в покер до семи утра. Мне докучали идеи Мехди, мне казалась дурацкой его привычка ездить на машине с шофером в черных перчатках, и если он надеялся, что в нашей семье носить брюки будет только он, его ждало разочарование.

Несмотря на свои благочестивые записки самой себе, я не стала идеальной женой для Мехди, такой, какой он хотел меня видеть. Старалась, но не стала. На моем прикроватном столике всегда лежал томик стихов Форуг Фаррохзад «Второе рождение». Она стала моим кумиром вместо Рудабе. Я подчеркнула несколько строк из стихотворения «Зеленая иллюзия», рассказывающего о женщине, которая сидит у окна и наблюдает, как жизнь идет своим чередом. Первую строчку я подчеркнула несколько раз.

Весь день я проплакала в зеркале.

Весь день смотрела

Своими настоящими глазами

В те тревожные, испуганные, лживые,

Что убегали

И прятались за дверью век.

Форуг изображала себя как близкую, но пугающую незнакомку, глаза, смотрящие на саму себя с укоризной, критикой и осуждением. Этот образ стал моей идеей фикс. Форуг отвергла семейную жизнь, бросила мужа и ребенка, пренебрегла стабильностью замужества. Она сделала непростой, но неизбежный выбор, и не гордилась собой, а мучилась от чувства вины. Она считала свой триумф женской эмансипации отчасти «подделкой, бумажной короной».

Форуг верила, что оставаться в браке без любви грешно, но уход из дома и отказ от обязанностей привел к чувству вины и одиночеству. В «Зеленой иллюзии» и другом стихотворении — «Ужасное лицо» — она говорит о другом «я», том, что отражается в зеркале и смотрит на нее обвинительно, без капли сочувствия. Позже я узнала, что у образа двойника в зеркале есть литературный предшественник: он также встречается в стихах Жалех Аламатадж, домохозяйки, жившей почти на два поколения раньше Фаррохзад. Ее вынудили выйти за мужчину вдвое ее старше; тот вызывал у нее физическое отторжение. В своих стихах она изображала лицемерие религии, браки без любви, потраченные понапрасну жизни. Она прятала их меж страниц произведений своих любимых классических поэтов: Хафиза, Саади, Низами. Ее сын обнаружил стихи после ее смерти. В каждом из них она восстает против обстоятельств, подобных ее собственным: замужества без согласия женщины, невозможности испытать любовь, лицемерной религии, лишаящей женщин свобод, в то время как мужчины вольны поступать как им вздумается. В стихотворении «Предсказание женской свободы» она мечтает о времени, которое, как ей кажется, наступит после ее смерти, когда женщины в ее родной стране обретут свободу. Аламатадж пишет, что «завтрашняя свобода» подобна новорожденному, которого она качает на руках. Брак, одобренный

религией, считает разновидностью блуда и ненавидит себя за то, что спит с нелюбимым человеком и растит ребенка в несчастливом браке «без любви, на одних инстинктах», как животное. У Аламатадж тоже есть стихотворение о незнакомке в зеркале, о своем втором поврежденном «я». Она ненавидит себя и навязанные ей условия, которые не может контролировать. Лицо, с укором смотрящее из зеркала, — этот образ остался со мной и после того, как моему браку пришел конец.

Когда следующим летом мы вернулись в Тегеран, я была готова просить развода. Но мне казалось, что я не должна усложнять жизнь родителям; у них и так было полно хлопот. Отцовское дело так и не продвинулось. Иногда его допрашивали, иногда что-то обещали и обнадеживали, но надежды никогда не оправдывались, а я не собиралась докучать ему своими личными проблемами. Мать, прежде так обожавшая Мехди, стала его худшим кошмаром. Главной причиной ее недовольства было то, что он постоянно просил денег. Мол, теперь «жадность» его семьи ей открылась; она обвиняла его в «неуважении». А откуда у Мехди было взяться уважению к ней, если ее собственная дочь никогда ее не защищала? «Ты вышла замуж против моей воли, а расплачиваться должна я!» — сокрушалась мать. Это заявление было настолько возмутительным, что я не находилась с ответом.

Она держалась с Мехди холодно и снисходительно, яростно с ним спорила, а потом предъявила мне ультиматум: выбирай — или я, или твой муж. Это было глупо: по сути, она велела мне развестись с ним здесь и сейчас. И сказала, что если я выберу его, то могу собирать вещи и уходить из дома.

Если бы я могла соотнести чувства, которые испытывала в тот день, с чем-то осязаемым, например с цветом платья, которое было на мне тогда, или с тем, что я стояла в гостиной спиной к окну, когда она велела мне убираться; или с тем, как постепенно затихал ее голос по мере того, как я поднималась по лестнице в свою комнату, ощущая внезапную боль в ногах, — если бы я могла это вспомнить и привязать свою эмоциональную память к более конкретным обстоятельствам, если бы мои чувства обросли плотью и кровью, возможно, я бы не переживала их столь остро даже сейчас. Но я помню лишь как поднялась наверх в свою комнату, собрала сумку и пристыженно последовала за мужем прочь из дома матери в дом его родителей. Не помню, о чем мы с Мехди говорили. Он жил в другом мире, мы с ним так и не научились говорить на одном языке. Он задавал вопросы, на которые у меня не было ответов. (Почему моей матери дозволительно так себя вести? Почему мой отец так слаб?) За другие вопросы я его возненавидела (разве обязательно ежедневно навещать отца в тюрьме? Зачем ты придаешь такое большое

значение книгам?). Но решение переехать к его родителям далось мне нелегко. Хотя они ничего не сказали по поводу моего изгнания из дома, я чувствовала себя униженной, и мне было очень одиноко.

«Понедельник, 6 июня 1966 года. Сегодня ближе к обеду приходили Азар с мужем, — пишет отец в дневнике в неделю нашего возвращения. — Моя счастливая девочка, полная надежд, превратилась в растерянную нервную молодую женщину». Через несколько дней я пошла к нему одна, и он с порога спросил: «Ты несчастна с Мазхари? Не хочу, чтобы ты жила в несчастливом браке. Лучше покончить с этим прямо сейчас». Он серьезно наклонился ко мне, как делал всегда, когда что-то мне объяснял. Сложил кончики пальцев и постучал ими друг о друга. «Уходи, пока нет детей», — сказал он. Моя мать уже успела к нему заявиться, естественно не посоветовавшись со мной, и сказала, что очень за меня переживает и плакала из-за этого ночью. «Я ответил, что если родители сами довели своих детей до слез, что толку теперь из-за этого плакать», — написал он в дневнике.

Я ответила, что вышла за Мехди, чтобы сбежать от матери, что я все еще надеялась, что у нас с ним что-то получится, и пыталась спасти положение. «Я смогу на него повлиять, — сказала я. — Он все поймет». Так отец передает мои слова в дневнике. И добавляет, что, несмотря на мои заверения,

продолжает обо мне тревожиться. «Боюсь, счастливого конца у этой истории не будет», — пишет он.

Примерно в тот же период мой брат начал расспрашивать отца о существовании Бога. Он читал Бертрана Рассела и дискутировал с моим кузеном Маджидом, который тогда увлекался Жан-Полем Сартром. Отец задавался вопросом, почему сын должен верить всему, что он говорит. Он посвятил свою карьеру попыткам улучшить положение в стране, которую любил. Всегда твердил, что, несмотря на самые сокрушительные неудачи, справедливость восторжествует, но его собственный пример доказывал обратное. В дневниках за тот год среди размышлений об ошибках США во Вьетнаме, постоянных конфликтах Ирана и Ирака, достоинствах поэзии и глупости следователя, который его допрашивал, то и дело всплывает одна фраза: «Я ненавижу себя и не хочу больше жить». С каждым днем его отчаяние усиливалось. «Жена обращается со мной так, что я ее боюсь, — пишет он. — Боюсь просить ее об одолжении: все просьбы она выполняет с такой задержкой и снисхождением, что, получив желаемое, я уже не рад. Сегодня сказал Нафисе, что Господь, верно, решил испытать меня и для этого послал мне такую жену». Встретившись с одним из муниципальных подрядчиков, который предложил одолжить ему денег, отец пишет: «До чего я дошел: подрядчик,

предлагавший мне взятку в несколько миллионов, от которой я в свое время отказался, теперь хочет одолжить мне пять тысяч туманов — примерно семьсот долларов, — потому что знает, что у меня нет денег. Будь проклята эта жизнь! Почему я должен считаться с таким позором? Я так больше не могу. Боже, пощади меня; дай просто умереть».

Внезапно в июле 1966 года тон его записей меняется. Тогда пошел слух, что его могут освободить под залог. Несколько знакомых пытались убедить его написать письмо с просьбой о помиловании. Мол, таким образом правительству удастся спасти лицо и ускорить его освобождение. Отец, разумеется, отказался. Он догадывался, что правительство ищет способ выкрутиться из этой ситуации, но не собирался облегчать властям задачу — гордость не позволяла.

Все началось, когда известный репортер «Вашингтон Пост» Альфред Френдли опубликовал длинную статью об Иране и упомянул отцовское дело. «Вчера опубликовали перевод статьи Альфреда Френдли в „Вашингтон Пост“, — пишет отец летом 1966 года. — Статья интересная. Френдли восхваляет шаха и считает прогрессивными его проекты, но его прогнозы на будущее Ирана далеки от оптимизма. Он даже напуган... Беспокойство связано с двумя сферами: экономической ситуацией и вероятным кризисом и проблемами в системе правосудия. В связи с последним всплывает мое

имя. Хотя на фоне общего объема написанного он упоминает обо мне очень кратко, это важное замечание». Френдли написал серию статей об Иране. Вот отрывок из статьи от 6 июля 1966 года:

Похоже на подставу

Самое громкое дело последних лет — 32-месячное тюремное заключение бывшего мэра Тегерана Ахмеда Нафиси, арестованного без постановления суда. Весьма уважаемого человека, фаворита шаха обвинили в коррупции в связи с рядом проектов городского строительства (справедливо обвинение или нет — тут мнения расходятся). Дело похоже на подставу, к которой причастны личные и политические враги Нафиси. Несколько недель назад прокурор ознакомился с 2000 страниц протоколов допроса и не нашел уличающих доказательств. Однако вместо того, чтобы освободить Нафиси, назначил новый допрос. Возможно, Нафиси придется провести в тюрьме еще несколько лет и все равно не дожидаться суда.

Наш знакомый господин Амирани опубликовал перевод статьи Френдли в своей газете «Ханданиха». Ходили слухи, что тайная полиция запретила ее издавать, но Амирани пожаловался шаху, и тот, довольный похвальными отзывами редактора о своей программе реформ, снял мораторий

на издание. В политических кругах статья произвела фурор. В культуре, основанной на слухах и инсинуациях, сам факт, что такую статью разрешили опубликовать, восприняли как признак возможных продвижений в отцовском деле. Отца навещали взволнованные друзья и благожелатели, и все предсказывали, что скоро его освободят. И хотя он по-прежнему был настроен пессимистично, чужие оптимистичные прогнозы на него повлияли. Впрочем, иногда он начинал паниковать. Что он будет делать? Куда отправится после тюрьмы? Всю жизнь он работал в правительстве, взбирался по одной служебной лестнице, потом по другой. А что теперь? Неужели, потеряв работу, он навек останется в долгу у моей матери?

Отца навестил его друг господин Джаханбани, приближенный премьер-министра Амира Аббаса Ховеиды; он заявил, что «Амир Аббас» передает привет, и дал понять, что после окончания этого «недоразумения» в правительстве будут рады закрыть дело и снова пригласить отца на работу. «Если бы меня продержали в тюрьме всего десять дней или месяц, — пишет отец в дневнике, — если бы у них было на меня всего двадцать или тридцать страниц протокола, если бы более трехсот муниципальных сотрудников не арестовали и не допросили в Министерстве юстиции, если бы им не угрожали, а чьи-то имена не изваляли в грязи, если бы речь шла не о шестистах миллионах

туманов, как утверждает правительство, — тогда предложение премьер-министра, возможно, имело бы смысл». Через месяц Джаханбани снова навестил отца и сказал, что шах наконец приказал Министерству юстиции следовать букве закона. Отца собирались освободить под залог, после чего он должен был предстать перед судом в присутствии защитников. Мать взволнованно сообщила, что слышала от свекрови шаха, будто шах велел премьер-министру свернуть расследование. Примерно в то же время Рахман вернулся из поездки в Исфахан и заявил, что общался с призраком моего деда и тот сказал, что этот тюремный срок благотворно повлияет на отца. Призрак деда также советовал папе уделять матери больше внимания.

Именно тогда отца навестил генерал Нассири, глава ненавистной тайной полиции, который его, собственно, и подставил. Он сказал, что отец попал в тюрьму из-за своего упрямства и нежелания идти на компромисс. Затем велел написать письмо раскаяния, адресованное шаху, и намекнул, что лишь когда он напишет письмо, его освободят. Отец действительно написал письмо шаху и опубликовал его в своей книге мемуаров. В этом письме он перечисляет все предъявленные ему обвинения и опровергает их по очереди, а затем пишет: «Я хотел бы извиниться за все преступления, которых не совершал и о которых даже не догадываюсь, ведь я потревожил покой Его Величества. Пусть

гнев Господень накажет истинных преступников, ибо, как сказано в Коране, „да будут знать обманщики, что нет власти выше Бога, и Он вернет им плоды их собственных злодеяний“».

Генерал Нассири сказал отцу, что такое письмо не содержит извинений и, следовательно, проблему не решит. Ведь папа, по сути, не извинялся, а, напротив, обвинил правительство и самого шаха. Когда отца наконец выпустили под залог, генерал прислал ему записку; в ней говорилось, что из-за этого письма отец просидел в тюрьме больше времени, а мог бы освободиться раньше.

Мало кого в нашей семье презирали так сильно, как генерала Нассири, разве что министра внутренних дел Пирасте. Когда Нассири возглавил САВАК, ненависть к нему перестала объясняться только личными причинами. Я никогда не воспринимала его как живого человека, у которого есть сердце. Но в отцовском дневнике он предстает наивным и простым малым, который прослезился, увидев отца в тюремной камере. Так я узнала, что все намного сложнее, чем кажется, что мужчины, проливающие слезы, тоже могут быть жестокими и несправедливыми. После революции, увидев избитое лицо Нассири по телевизору, а позже наткнувшись на снимки его трупа среди фотографий других казненных чиновников, я, к своему удивлению, ощутила глубокую печаль. Долгие годы я мечтала об отмщении не только за отца, но за всех

диссидентов, которых арестовали и пытали, — так силен был страх иранцев перед разведкой. Годами я воспринимала Нассири как гнусного угнетателя и ждала, что ему воздастся по заслугам. Но, увидев его на экране телевизора, поняла, что мы можем быть такими же мстительными и жестокими, как люди, которых мы когда-то презирали.

В конце августа 1966 года отца освободили под залог. Суд не собирался облегчать ему жизнь и установил залог в 55,5 миллионов туманов (почти 6,5 миллионов долларов). С волнением и неоспоримой гордостью отец пишет о толпах людей, наводнивших Министерство юстиции, чтобы внести за него залог. Его потряс общественный отклик. «Хочется плакать, — пишет он. — Не знал, что у тегеранцев такое доброе сердце. У нас очень странная нация. Наш народ наблюдает за тиранией молча, но со временем осуществляет свою волю и доказывает сам факт ее существования, оказывая пассивное сопротивление. Среди тех, кто сегодня пришел внести за меня залог, были люди из разных социальных слоев и представители разных религий: и бакалейщик с нашей улицы, и хозяин супермаркета, еврей с многомиллионным состоянием. Друзья, коллеги, близкие и дальние родственники — пришли все. К полудню собрали почти сто двадцать миллионов туманов». В дневнике он приводит имена людей, которые

ему помогли, чтобы мы, дети, относились к ним с благодарностью.

Итак, отца выпустили под залог, и он стал ждать суда. Дату не назначили. Мы с мужем со дня на день должны были возвращаться в Оклахому, а я не могла ни есть, ни спать, боясь, что уеду, так и не дождавшись папиного освобождения. Я помирилась с матерью и вернулась домой. Днем и ночью звонил телефон; в любое время суток приходили люди. Тетя Нафисе сидела у нас почти целый день, а Рахман все пытался ухватить меня за руку, погладить ее и сказать: «Помяни мое слово, ты увидишь отца до отъезда. Но что мне будет, если я окажусь прав?»

Ходили слухи, что новый глава фруктово-овощного рынка велел всем продавцам и лавочникам поприветствовать отца в день его освобождения. Папины сторонники осаждали Министерство юстиции. Мы так долго ждали этого момента, но когда все случилось, мне показалось, будто все происходящее — плод моего воображения. Я нервничала и не могла усидеть на месте. Но у меня также почему-то отключились все чувства, я одеревенела и ощущала лишь усталость; сказались три года тревожного ожидания. Звонки, цветы, беготня от двери к двери... Когда он придет? Мы натыкались друг на друга, как зрители в переполненном зале. Лишь в одиннадцать вечера его наконец отпустили. Несмотря на поздний час, несмотря на то, что людей просили его

не дожидаться, отец пишет, что на выходе из тюрьмы увидел во мраке радостные лица встречающих, заполонивших всю улицу. Власти велели ему не ехать сразу домой, чтобы не привлекать толпу. Поэтому сначала он отправился в дом тети Нафисе. Мать наверняка обиделась. Она ненавидела сводную сестру и в то же время жаждала ее одобрения, будто сама была младшей и непутевой. Они ссорились и потом несколько месяцев не разговаривали, но когда мирились, мать начинала относиться к тетке чуть ли не подобострастно, и мы с отцом злились и почти стыдились ее.

Отца освободили, и через три дня я уехала из Тегерана. Первую ночь после освобождения он провел у тети Нафисе, на следующий день его осадили толпы посетителей и завалили цветами, но вечером он вернулся домой. Последнюю ночь перед отъездом я провела дома, чтобы побыть с ним рядом. «Утром в четверг Азар уехала в США, — записал он в дневнике. — В аэропорту Незхат с зятем поссорились. Увы, этот молодой человек очень любит деньги и мечтает их заполучить; он полная противоположность нашей Азар. Боюсь, в конце концов они расстанутся».

Большинство серьезных жизненных конфликтов — не политические, а экзистенциальные. Можно соглашаться с чьей-либо политической позицией, но на фундаментальном уровне быть

не согласным с тем, как человек к этой позиции пришел. Это проблема восприятия, моральной организации. У нас с мужем было много разногласий, но все сводилось к одному фундаментальному различию в мировосприятии, к контексту, определявшему наше «я» и наш мир. Эта проблема была неразрешимой, и никаких компромиссов тут быть не могло: нас спасло бы только расставание или капитуляция друг перед другом.

В какой-то момент я поняла, что больше не могу. Я не его не могла терпеть, а себя. Я не ушла сразу отчасти из-за чувства вины, потому что чувствовала бы себя предательницей. Когда мы поженились, я знала, что он за человек. Он не скрывал от меня своих амбиций. Да, он не рассказывал о женщине, с которой жил и от которой так легко отказался, но, не считая этого, я сделала выбор с открытыми глазами, пусть даже эти глаза принадлежали девочке, которой еще не исполнилось двадцати лет и на которую давили со всех сторон.

Он сказал, что после окончания университета хочет вернуться в Тегеран, потому что его родители уже старые и он должен быть рядом с ними. Он не хотел, чтобы я оставалась в Америке и заканчивала университет без него, и сам не желал оставаться и ждать, пока я закончу. Но, по правде говоря, неважно, остались бы мы в Нормане, чтобы я могла доучиться, или вернулись бы домой — я просто устала от своей роли. Я начала заводить

собственных друзей, которые не ходили к парикмахеру — в основном это были мои однокурсницы, изучавшие философию и английскую литературу. Эти девушки были модными и читали поэтов вроде Ферлингетти¹⁴ и Гинзбура. Как большинство девочек из нашей группы, я была без ума от нашего однокурсника Чарли, который подражал герою романа Роберта Хайнлайна «Чужак в стране чужой». Мужу мои друзья не нравились, он не хотел, чтобы я с ними общалась. И я начала обманывать его точно так же, как когда-то обманывала мать: он искал меня по друзьям, а те отвечали, что меня нет.

Потом мы начали ссориться. Я жаждала свободы, мечтала носить джинсы и длинные платья. Записки самой себе уже не походили на журнал для домохозяек; я начала вещать как Бетти Фридан, отчасти под влиянием одной профессорши, ставшей моей подругой и наставницей. Навсегда запомню ее «лакмусовый тест любви». Ты любишь парня, если любишь даже его грязные носки, сказала она с улыбкой, полной искренней нежности. Если тебя отталкивают его грязные носки, лучше уходи.

Мехди отказывался даже думать о разводе. Поначалу говорил: ты вошла в мой дом в белом платье, а выйдешь в белом саване (хотя на самом деле это был не его дом, а съемная квартира, и я платила

¹⁴ Лоуренс Ферлингетти — американский поэт-битник.

половину арендной платы). И я начала мстить. Я просто делала, что хотела. Носила мокасины и джинсы вместо скромных «приличных» платьев, которые ему нравились. Перестала ходить в парикмахерскую и пила вино, когда хотела.

Как-то вечером мы поругались, и он влепил мне пощечину. Тогда я ушла из дома. Я давно говорила, что мы не сможем жить вместе, если будем разговаривать на повышенных тонах, а теперь дело дошло до рукоприкладства. Не сообщая родителям реальную причину отъезда из Нормана, я собрала вещи и поехала на ранчо в Нью-Мексико вместе с подругой-профессоршей: та устроилась в небольшой колледж заведующей кафедры философии.

Отчасти я жалела Мехди. Он получил совсем не то, на что подписывался; мне в этом смысле больше повезло, ведь у меня не было ожиданий. «Ты никогда не станешь хорошей домохозяйкой, — сказал он мне. — Но я полюбил тебя не за это, я полюбил тебя такой, какая ты есть». Самое ужасное, что я ему верила.

В сентябре 1967, через год после того, как отца выпустили под залог, начался суд. Я тогда была в Нью-Мексико. Суд проходил за закрытыми дверями, хотя в правительстве заявили, что он будет открытым, но даже папиному брату не разрешили присутствовать. Доказательства, представленные обвинением, были смехотворны: сфабрикованная

запись разговора отца с его злейшим врагом Сейедом Мехди Пирасте, министром внутренних дел, на которой отец оскорбляет шаха. Пленку представили с целью доказать одно из выдвинутых обвинений: в нарушении субординации. Голос Пирасте явно принадлежал ему, а за отца говорил другой человек; тон и манера не совпадали. Эта пленка могла бы стать символом всего этого липового дела.

Отец сам сочинил и произнес речь в свою защиту. Речь, занимающая сто двадцать восемь страниц, начинается с цитаты Фирдоуси и содержит множество примеров из произведений Руми, Саади и других классиков персидской поэзии, а также цитаты имама Али, Вольтера, Данте и строки из Корана. Позже отец рассказывал, что нарочно решил опираться на классиков и выбрал лучшее из иранского литературного наследия, чтобы показать своим врагам, что те не являются истинными сынами своей нации, что у Ирана иные традиции и ценности и именно он, отец, их воплощает.

В начале речи он привел случай из сказки про Ходжу Насреддина, популярного вымышленного сатирического героя. Однажды Ходжу попросили прочесть проповедь. Взойдя на кафедру, тот спросил у собравшихся, знают ли они, о чем пойдет речь. Все ответили, что не знают. Он обиделся: смысл говорить с такими невеждами? На следующий день он повторил вопрос. Теперь кто-то

из собравшихся ответил, что знает, о чем будет проповедь; другие по-прежнему не знали. Тогда Ходжа произнес: «Тогда пусть те, кто знает, что я скажу, поделятся с теми, кто не знает». На третий день он задал тот же вопрос, и все ответили, что знают, о чем будет проповедь. «Так зачем тратить время зря и рассказывать то, что вы и так знаете?» — спросил он и спустился с кафедры. Отец повернулся к суду и сказал, что это и есть его история: «Я не знаю, почему меня арестовали. Если вы тоже не знаете, мы с вами в одной лодке. Но если кто-то здесь знает, пусть скажет остальным». Отец обличил суд и обвинил ряд чиновников в злокозненном заговоре, назвав их по имени — в том числе прозвучало имя Пирасте. Он проанализировал все обвинения и опроверг их одно за другим, а завершил речь стихотворением, которое специально написал по такому случаю.

Суд завершился 27 ноября 1967 года. Отца оправдали по всем обвинениям, кроме одного — нарушение субординации. В качестве наказания ему запретили впредь быть государственным служащим. Впоследствии Верховный Суд пересмотрел и отменил это решение; таким образом, все обвинения с отца были сняты. Пресса полностью встала на его сторону; три главных иранских газеты — «Сепид Сеях», «Ханданиха» и «Омид Иран» — опубликовали начало его речи. После того, как его оправдали, премьер-министр предложил ему

работу, но отец отказался. Он решил больше никогда не работать в правительстве.

Когда отец позвонил сообщить новость, я была в Нью-Мексико. Я его поздравила, мы немного поговорили, и тут я выпалила: «Хочу развестись с Мехди». Я говорила нейтральным формальным тоном. Боялась дать волю чувствам. Кажется, отец это понял. Он замолчал.

— Уверена? — спросил он.

— Да, — ответила я. — Прости, не хотела сейчас об этом говорить.

— Я все равно бы спросил, что ты делаешь в Нью-Мексико. Не переживай, мы еще успеем все обсудить. Не волнуйся, — повторил он.

К моему удивлению, ни отец, ни мать не стали просить меня передумать. Следующим летом мы с Мехди вернулись в Тегеран, и родители сделали все, чтобы облегчить мне процесс расставания. Сначала Мехди не хотел давать развод. Тогда отец напомнил, что я в любой момент могу подать на алименты, даже не разводясь. Размер алиментов в Иране взаимно оговаривался при заключении брака; они выплачивались при разводе, но супруга имела право потребовать их в любой момент. Многие женщины пользовались этим пунктом, чтобы выкрутиться из ужасных отношений. В конце концов договорились так: Мехди дает мне развод, а я отказываюсь от всех требований по алиментам. Уловка сработала. Родители так меня поддержива-

ли, что я почти забыла о своем замужестве и разводе. «Бедная Ази, ну что за несчастная у тебя была жизнь, — говорила мать, глядя на меня полными жалости глазами. — Я с самого начала знала, что у вас ничего не получится, — добавляла она. — Он нам совершенно не подходит. Я говорила, но меня никто не слушал».

Четыре года, что отец просидел в тюрьме, навсегда изменили нашу жизнь. Мы впервые осознали хрупкость существования, поняли, как легко все потерять, и потому изменилось наше восприятие всего, что мы прежде принимали как должное. Мать стала другим человеком. Все следующие месяцы, пока мы привыкали к новому распорядку, она в слезах читала стихи отца, которые тот писал ей в тюрьме. Даже пыталась смотреть с ним его любимые телепередачи, хотя чаще всего засыпала в середине программы. Ее страхи и тревоги никуда не делись: она впадала в панику, если он не приходил вовремя, если поздно звонил телефон или рано утром звонили в дверь. Мечта отца о счастливом браке наконец сбылась благодаря интригам нескольких самых влиятельных иранских политиков. Теперь он с удовлетворением вспоминал день, когда в восемнадцать лет ушел из родительского дома, отвергнув традиции и требование жениться на девушке, которую они выбрали, и начал новую жизнь.

А теперь позвольте подвести итог.

Со всей честностью заявляю, что тюремное заключение отца ознаменовало новую эпоху в нашей жизни. Я вышла замуж и развелась, разочаровалась в браке и идее супружеской верности. Думаю, примерно в то же время отец решил начать изменять матери. Он больше не надеялся достигнуть общественного признания. Он был еще молод, ему не исполнилось и пятидесяти. Мы с Мохаммадом выросли. Когда его освободили, он, видимо, решил, что, раз политикой теперь заняться не получится, он осуществит свою мечту о счастливой семейной жизни. Но мать ни капли не изменилась. К тому же, как выяснилось, тюремное заключение повлекло за собой определенные личные и политические последствия, но мы узнали об этом лишь позже, в течение следующих одиннадцати лет.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

БУНТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ

От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Иосиф Бродский



Счастливое семейство

ПОСЛЕ МОЕГО РАЗВОДА я попыталась поступить в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, и меня приняли. Университет славился своей кафедрой английского языка и литературы, и я почему-то настроилась на него еще до брака с Мехди. Я лежала на кровати и читала письмо с сообщением, что меня взяли. Вошел отец. Сел у кровати и сказал, что, если я переведусь в новый университет в середине обучения, мне не зачтут многие оценки и придется учиться дольше. Он хотел, чтобы я закончила университет Оклахомы. Я стала возражать — мол, я всегда мечтала учиться в Санта-Барбаре, — но отец ответил, что хотел бы провести со мной больше времени, пока он еще молод, и рассчитывал, что я пораньше закончу университет и как можно скорее приеду домой. Помнишь, сказал он, ты же изначально вообще не хотела уезжать. Я задернула шторы, и комнату освещала лишь лампа на прикроватном

столике. Он сидел у изножья кровати, опершись на локоть. Интимный портрет: отец и дочь в искусственном свете лампы.

Итак, я осталась в университете Оклахомы. Сейчас я об этом не жалею. Но отец оказался не прав: если бы я выбрала Калифорнийский университет, я бы скорее вернулась домой, ведь в Санта-Барбаре не было зарождающегося иранского студенческого движения, к которому я присоединилась; там я не организовывала бы демонстрации и сосредоточилась бы на учебе.

Моя жизнь в Оклахоме началась с чистого листа, будто брака с Мехди никогда и не было. По крайней мере, так мне казалось, хотя окружающие думали иначе. Наши старые друзья и знакомые пытались закрутить со мной роман или запрещали своим женам со мной общаться — якобы я могла плохо на них повлиять. Молодые американцы считали, что нет ничего проще, чем затащить в постель молодую разведенную женщину. Даже мой бывший муж, который взял в привычку писать мне любовные письма из Ирана, советовал мне, как себя вести, куда ходить, что делать и как сохранить свою честь.

Когда летом я вернулась домой, отец познакомил меня с женщиной, в которую влюбился. «Незхат вся в поисках своего неизвестного и невидимого „я“, — писал он в дневнике незадолго до своего

освобождения. — Чего-то, что она потеряла еще в раннем детстве и не знает, как найти. Сперва ей казалось, что это „что-то“ — я, но это не я. Потом она думала, что это дети, но это не дети. Вечно напряженная, нервная, она не ведает покоя. Считает себя центром Вселенной! А мне что делать?» Отец единственный в семье рискнул отвергнуть мировосприятие своего отца. Это было необходимо для осуществления мечты об успехе, которая подтолкнула его оставить Исфahan в возрасте восемнадцати лет и искать любимую женщину. «Я так хочу, чтобы у меня была любимая, — написал он той осенью, — чтобы у нас было общее пространство, где мы можем быть только вдвоем, хранить верность друг другу и радоваться; но, увы, я скоро состарюсь, и боюсь, что оставшиеся дни пройдут, а воображаемое счастье, о котором я мечтал, так и останется недостижимым».

Вскоре после выхода из тюрьмы ему предложили стать директором частной текстильной фабрики, принадлежавшей его недавно умершему близкому другу. Там он познакомился с Шахин — она работала его секретаршей, — и позже, когда он стал вице-президентом Иранского банка, она ушла вместе с ним.

Через несколько дней после возвращения в Тегеран он взял меня на встречу с ней. Мы выпили чаю, обсудили достоинства современной поэзии, особенно Ахмада Шамлу, самого значительного

иранского поэта-современника; поговорили о пороках, которые всегда идут в паре — лицемерии и материализме. Это был обычный разговор, полный банальностей и громких высказываний; такие разговоры нужны, чтобы убедиться, что собеседник — «свой» человек. Сознательно или нет, мы обе хотели понравиться друг другу и угодить отцу. Он остался доволен и весь светился, глядя, как мы находим общий язык.

Она была не так красива, как мать, но моложе и увереннее в себе. Самое подходящее слово, пожалуй, «импозантная». Думаю, отца в ней привлекло то, что она разделяла его интересы: собирала его стихи, сочувствовала его положению, отпускала мудрые комментарии, видимо, почерпнутые из книг по психологии. «Я обсуждал это со своей дорогой подругой, которая и красива, и мудра, — писал отец. — Она ответила, что с психологической точки зрения женщина, достигнув возраста, в котором перестает считаться привлекательной, будет всеми силами пытаться привлечь внимание, даже если это подразумевает желание смерти мужу».

Как ни парадоксально, мать поначалу привечала отцовских любовниц. Она принимала их в семью. Из-за интереса к отцу они терпели ее повышенное внимание. Ни у кого из них не было с матерью ничего общего, и все же та пыталась наладить с ними личный контакт. Ей никогда не приходило в голову, что своими постоянными упоминаниями

о Саифи она демонстрирует эмоциональную неверность мужу. История с Шахин разворачивалась по тому же сценарию. Мать постоянно лезла к отцу на работу, регулярно навещалась к нему в офис и постепенно прониклась симпатией к Шахин. Та казалась ей обаятельной, серьезной и воспитанной девушкой, и мать часто приглашала ее на обед или на кофе. Я и сейчас вижу, как мы сидим все вместе в нашей залитой солнцем просторной гостиной: отец, мать, Шахин и я. Шахин ставит на стол фарфоровую чашку, вежливо слушает мать, бормочет в ответ что-то подходящее случаю. На ней простой коричневый костюм, волосы стянуты в аккуратный шиньон. Блестят большие круглые серьги, контрастируя с черными волосами: она женственна, привлекательна, внимательна. Мать смотрит на нее с дружелюбной улыбкой, которую приберегает для своих протеже. Я же не сочувствую матери; мне стыдно, что Шахин приходится это терпеть. Время от времени она отводит взгляд и смотрит в сторону, не на отца, а рядом. Я ловлю их взгляды; они глядят в одну точку, и отец смущенно улыбается. Это улыбка счастливого человека.

В середине августа после очередного грандиозного свирепого скандала с матерью я уехала в Оклахому. Я поклялась больше никогда не возвращаться в Тегеран и написала отцу длинное

ласковое письмо, в котором называла мать сумасшедшей и говорила, что ей место в психушке. Мать нашла это письмо, распечатала его без разрешения, втайне от отца, и разразился ад. В этих скандалах меня всегда больше всего поражал не столько накал эмоций, сколько то, что нам даже в голову не приходило перестать общаться: никто не держал обиду долго. Мать даже радовалась своим находкам, подтверждениям, что была права все это время. Прошло много лет, но она по-прежнему хранила это письмо и иногда махала им у меня перед носом со злорадным удовлетворением на лице или вспоминала о нем с ядовитым безразличием.

Вскоре после этого она узнала правду о Шахин. Отец постоянно колебался между желанием начать новую жизнь и боязнью это сделать. Он угрожал уйти, но никак не решался. Бывало, он все же уходил из дома ненадолго, заставлял мать согласиться на развод, но в последний момент передумывал, либо она уговаривала его вернуться. «Жена говорит, что никогда не согласится разойтись навсегда, — писал он в дневнике, — потому что тогда я буду счастлив, а она не хочет, чтобы я был счастлив». Позже мы обедали в ресторане, и отец сказал, что мать узнала о его романе с Шахин от Рахмана; тот донес на него после того, как сам пытался предложить Шахин вступить с ним в сексуальную связь, но та отказалась. Он расска-

зал мне об этом после внезапной смерти Рахмана летом 1973 года. Отец горевал о нем; ему казалось, что, если бы Рахман не злоупотреблял своими сверхъестественными способностями, он мог бы быть полезен ему и его близким.

Аджи-маджи, латраджи: я слышу, как Рахман произносит этот бессмысленный набор слов, якобы волшебное заклинание, смеется и пытается ухватить меня за руку. Он был таким крупным, таким громким, и когда входил в комнату, то заполнял собой все пространство; даже мне, как ни странно, его не хватало, точнее, я чувствовала его отсутствие и образовавшуюся с его уходом пустоту, как будто мир имел конечный размер, а когда его часть в форме господина Рахмана вырезали, мир ощутимо уменьшился.

Родители оставались вместе еще десять лет. Шахин вышла за богатого поклонника, но тот оказался игроком и не давал ей денег, опасаясь, что та заберет их и бросит его. Отец рассказывал, что жили они в основном за границей.

Демонстрации

В США я влюбилась в Теда; он играл на академической гитаре и читал Беккета. Тед подарил мне мою первую книгу Набокова — «Аду». По утрам мы шли на митинги против войны во Вьетнаме и программы подготовки офицеров запаса, существовавшей тогда при колледжах. У Теда была камера, и он записывал происходящее. До сих пор помню молодых людей нашего возраста, пытавшихся не обращать внимания на наши издевки; они казались такими беззащитными. По вечерам мы пили вино и ходили в кино на картины Ингмара Бергмана и Феллини. Тед помог мне снять студенческий фильм о моем несчастном браке; учитель сказал, что это чистый Бергман, и поставил мне высший балл. Такие были времена. Когда мы расстались, я окончательно уверилась, что все отношения быстротечны и, возможно, так и должно быть.

В 1971 году я смотрела по американскому телевидению трансляцию торжеств в честь двухтыся-

чепятисотлетнего юбилея Персидской империи. Празднования проходили близ руин Персеполиса, города, подожженного Александром Великим после завоевания Персии в 330 г. до н.э. На роскошных торжествах в палаточном городке, специально спроектированном французскими архитекторами, присутствовали знаменитости и королевские особы, в том числе британские принцы Филипп и Чарльз, монахский принц Ренье с принцессой Грейс и король Эфиопии Хайле Селлассие. Угощение и вино импортировали из Франции, а простых иранцев в городок не пускали. Перед собравшимися знатными персонами маршировали ряженные в костюмах солдат армии Ахеменидов¹⁵. Шах произнес речь, обращенную к великому царю державы Ахеменидов Киру: «Спи спокойно, Кир, ведь мы бодрствуем!» Над этой речью смеялись все иранцы.

В начале того же года активизировалась оппозиция шахской власти. В прошлом оппозиционные партии по большей части отдавали предпочтение мирным методам; теперь же две новых вооруженных революционных группировки — марксисты и исламисты — решили прибегнуть к насилию. В ходе вооруженного восстания в деревне Сиакхал полиция расстреляла группу партизан-марксистов,

¹⁵ Древняя персидская империя, существовавшая с 550 по 330 год до н.э.

называющих себя Федаин-э Халк — молодых, образованных мужчин и женщин из среднего класса; тех, кого не убили, задержали и после казнили. Тем временем боевая исламистская организация Моджахедин-э Халк призывала к вооруженной борьбе с режимом.

В начале 1970-х годов Иран жил в состоянии парадокса: подскочили цены на нефть, и в стране начался экономический бум (впрочем, скоро это привело к многочисленным экономическим проблемам); вместе с тем шах провел реформы по либерализации общества, которые привели к глубокому расколу этого самого общества. Иран становился все более поляризованным и политически закрытым. Политические и общественные изменения обернулись наибольшим преимуществом для среднего класса, однако усиливающееся подавление оппозиции настроило средний класс против власти. В марте 1975 года шах отменил существовавшую в Иране двухпартийную систему (правда, существовала она лишь на словах) и объединил две партии в одну — Растахиз («возрождение» или «воскрешение»). Его советчики по этому решению надеялись таким образом объединить разные силы и фракции. Однако новая партия шаха с самого начала не пользовалась популярностью, как и его суровое заявление, что все, кто против нее, могут убираться из страны. В следующем году он совершил очередной донкихотский поступок: перевел

страну с исламского календаря, ведущего отсчет с бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, на новый, началом которого стал год основания Киром Великим Персидской империи. Соответственно, 1355 год стал 2535-м. Так Иран раскололся на две полярные политические фракции: шаху, предпочитавшему ассоциировать свое правление с древним доисламским Ираном, противостояли религиозные круги, для которых иранская история началась лишь после арабского завоевания.

Ввиду всего этого наша деятельность в кампусах американских и европейских университетов стала все более агрессивной и радикальной. В 1970-е молодым иранцам за границей ничего не стоило выступать против правительства — не то что в самом Иране. Я постепенно оказалась втянута в Иранское студенческое объединение — одно из самых активных студенческих движений в США. Там никто не относился ко мне как к молодой разведке; меня приглашали участвовать в чтениях трудов Энгельса, Маркса и Ленина. «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и «Государство и революция» были странным соседством для «Истории Тома Джонса», «Жизни и мнений Тристрама Шенди», «Возвышения Сайласа Лэфема», «Доводов рассудка» и «Уайнсбурга, Огайо» — книг, которые я проглатывала так быстро, что к началу семестра мне было нечего читать.

Иранское студенческое объединение было зонтичной организацией, состоявшей из групп с различными идеологическими взглядами, но постепенно, особенно в США, на первый план выдвинулись самые воинственные и радикальные идеологии. Членам нашей группировки казалось, что все можно упорядочить и ответить на все вопросы; что мир поддается контролю, и его можно очистить, отполировать и избавить от всех изъянов. Между «плохими» и «хорошими» проводилось четкое разграничение: плохими были, конечно же, шах и его хозяева-империалисты, а хорошими — мы, защитники угнетенных. Мы внимали всем жестким идеологиям того времени, а учения Че Гевары, Мао, Ленина и Сталина становились в нашем сознании романтическими мечтами о революции.

Иранское студенческое движение в США было очень агрессивным, а со временем все больше начало ударяться в пуританство: брачные узы и сексуальная жизнь порицались, а в некоторых случаях даже были под запретом. Как далеко мы ушли от свободолюбивой поэзии Форуз Фаррохзад! Наиболее радикальные ячейки объединения клеймили феминистское движение «буржуазным»; женщины были товарищами по борьбе, идеалом женщины считались бесполое изображения с китайских агитационных плакатов. Но одной идеологией жив не будешь, поэтому я, как и другие, заводила отношения и, как и другие, скрывала их

и уверяла себя, что все для блага движения. Так проблемы, начавшиеся в детстве и усилившиеся с замужеством, обрели самую благодатную среду для дальнейшего гниения.

Время от времени отец просил разрешения сбегать мне мать на несколько месяцев, чтобы он «мог хоть вздохнуть». Та прилетала в Оклахому с чемоданами орехов, сушеной вишни, турецкого кофе, шерстяных шарфов и свитеров и тут же принималась драить мою квартиру и готовить мне еду. Она знакомилась и общалась с моими друзьями, варила им кофе и высмеивала нашу деятельность. К тому времени меня взяли на работу младшим преподавателем на кафедре английского. Мохаммад тоже поступил в университет Оклахомы, но проучился там всего год; его перевели сначала в Париж, а потом в Кентский университет, где он получил диплом и вернулся в США, и уже там закончил аспирантуру Новой школы социальных исследований.

Что удивительно, мать не скандалила по поводу моей политической деятельности, хотя в Иране из-за этого у меня уже начались проблемы. Отца вызывала тайная полиция и заставляла пообещать, что в будущем я буду вести себя смирно, но как он мог обещать за меня? Я состояла в группе под названием «Комитет третьего мира», организованной китайским студентом — тихоней, но очень упорным. Мы были очарованы председателем

Мао — если не им самим, то его романтической легендой. Мао умер в 1976 году; в то время моя мать как раз была в США. Мы устроили настоящий спектакль из его смерти, плакали в голос и организовали поминки. Помню насмешку на ее лице, когда пришла домой зареванная и безутешная. «Чего ревешь, можно подумать, умер кто-то из твоих родителей», — бросила она, не понимая причину моего расстройств.

Когда я познакомилась с Биджаном Надери, тот возглавлял дружественную студенческую фракцию из Калифорнии. Члены его группировки были интеллектуалами и не отличались беззащитной самонадеянностью, как участники других фракций. Кроме того, группа была малочисленной. До Биджана я никогда не встречала мужчин, которых воспринимала бы как интеллектуально равных себе. А скрывая отношения, считала, что снимаю с себя ответственность. Но с Биджаном я с самого начала ничего не скрывала и не пряталась. Его не шокировала моя боязнь моногамии, мои тайные интрижки. Наш роман стал первым моим открытым увлечением с тех пор, как мы с Тедом расстались. В тот момент я была убеждена, что браки не бывают долговечными, а если брак долгий, значит, оба супруга очень несчастны. За весь период ухаживания Биджан ни разу не сказал, почему решил на мне жениться. «Разве

это не очевидно?» — говорил он. Он почти ничего не знал о моей семье и жизни; впрочем, его это, казалось, не интересовало. К моей досаде, он не интересовался даже моим первым мужем. Семейная легенда гласит, что его отец, человек добрый, но горячий, в один прекрасный день просто ушел из дома и больше не возвращался. Он оставил Биджану короткую записку, в которой просил его заботиться о матери и сестрах. Отец унес только маленький чемодан и костюм, который был на нем. Потом дождался, когда его старшая дочь Мани выйдет замуж, и устроил так, чтобы Биджан приехал к ней в Америку в возрасте семнадцати лет. Младшая сестра Биджана Таране жила под опекой его дяди со стороны матери. Никто так и не знал, где отец Биджана, и, хотя Биджан всегда отзывался о нем тепло, его странное исчезновение в семье никогда не обсуждали.



*Я со своим
вторым мужем
Биджаном Надери*

Моя мать познакомилась с Биджаном в 1976 году во время ее последнего приезда в Оклахому. Он ей понравился: она сказала, что он выглядит ответственным и куда более «собранным» по сравнению с моим кузеном Мехди, который тогда участвовал

в том же студенческом движении. Сказалось то, что она считала своей первостепенной задачей защитить меня от отцовской семьи; проявляя теплые чувства к Биджану, она пыталась насолить Мехди. «Мы просто друзья», — говорила я, а ей очень хотелось, чтобы мы стали больше чем друзьями: по крайней мере, она намекала на это, когда мы оставались одни. За едой с ней было трудно спорить. «У него есть работа, — как бы невзначай говорила она, пока я смотрела в тарелку, с большим интересом изучая куски. — Он не похож на этих лоботрясов, которых отправляют сюда учиться и становиться полезными членами общества, а они что делают? Носят штаны с заплатками и ведут себя, как безграмотное отребье. У него же есть работа? — спрашивала она и шла за мной на кухню с грязной посудой. — Нет, нет, — нетерпеливо добавляла она, — сперва раковину помой!» «Мам, зачем мыть раковину?» «Так что за работа? Хорошая?»

К тому времени у меня появилось много новых защитников, помогавших заглушить ее голос: Филдинг, Ленин, Уортон. Позже я сидела с книжкой, а она снова спросила, чистя апельсин: «У него же есть работа?» «Да, мам, — наконец ответила я, прижав к себе книгу словно для защиты. — Инженер-строитель. Мне инженеры не нравятся. «А кто тебе нравится? — раздраженно воскликнула она. — Председатель Мао?»

После недолгой помолвки мы объявили дату свадьбы: 9 сентября 1979 года. Мои родители прилетели в Вашингтон, а Мохаммад и его девушка Дженет приехали из Нью-Йорка. Мать распирало от энергии и планов, она до такой степени оттеснила меня в сторону, будто это была ее собственная свадьба. Она хотела все, чего не хотела я: традиционные иранские алименты, пышное свадебное платье и церемонию, дорогое кольцо с бриллиантом. Притащила с собой все необходимое для традиционной персидской свадьбы: розовую воду, большие сахарные головы, без которых не обходится ни одна традиционная свадебная церемония, ювелирные украшения. Она взялась за организацию с неукротимым рвением, а я вскоре поняла, что свадьба, хоть и должна быть радостным и гармоничным праздником любви и семьи, на самом деле является чем-то прямо противоположным.

С семьей Биджана, особенно с его двумя сестрами, у нас с самого начала сложились любящие и беззаботные отношения. Меня поразила непретенциозная щедрость его сестер, их моральная целостность. Во время свадебных приготовлений мать и сестры Биджана относились ко мне как к чудаковатому, но очаровательному ребенку. Умоляли подчиниться требованиям матери. Наши с матерью ультиматумы расстраивали свекровь, и она назначила Мани и Таране посланниками мира. Слышу

шаги Мани на лестнице, выпрямляюсь и готовлюсь ответить на ее просьбы весомыми контраргументами. Она говорит мягким и осторожным голосом. «Ази-джан?» За ее спиной вижу Таране, та улыбается и молчит. «Все матери такие, взгляни на Афахг-джун», — говорит Мани, которая вечно бросается на амбразуру и увлекает за собой своих близких, лишь бы всех помирить. Ее муж Киумарс (мы зовем его Кью) — образцовый супруг, но стоит кому-либо из подруг пожаловаться на равнодушие и жестокость их мужей, как Мани сочувственно произносит: «Я прекрасно тебя понимаю». Кью остается лишь раздосадовано поддакивать. Ее прерывает Таране: «Пойдем покупать свадебное платье и забудем обо всем». «Можем выпить кофе в торговом центре», — добавляет Мани, видимо, пытаясь меня подкупить. Через полчаса они поднимаются наверх с видом потерпевших поражение генералов вражеской армии.

Биджан умолял меня уступить матери и заметил, что я сама не хотела раздувать из свадьбы историю, а теперь из-за моего упрямства именно это и происходит. «А ты? — саркастически спрашивала его мать. — Что ты думаешь по этому поводу? Нам с тобой нужно серьезно поговорить». Он кивал головой, с улыбкой соглашался, что она права, да, им нужно серьезно поговорить; а потом бесследно исчезал. Наконец я сдалась: скорее от усталости, чем по другой причине, а мать выиграла

по всем пунктам. «За твои страдания произведем тебя в святые, — с улыбкой проговорил Биджан. — Но пока, прошу, слушайся ее, и тогда она оставит нас в покое».

Три дня терпеливые сестры Биджана таскали меня по всему Вашингтону от одного торгового центра к другому в поисках туфель и подходящего свадебного платья. Платье, которое мы нашли, было не идеальным, на мой вкус слишком девичьим, но это было неважно. Свадьба прошла по плану. И, несмотря на предшествующие ей кровавые баталии, сама церемония была полна тепла и близости.

Утром накануне свадьбы мы пошли в здание правительства штата для проведения церемонии бракосочетания, и посреди церемонии меня вдруг обуял неукротимый смех. Я до сих пор не знаю, почему смеялась, но все лучше, чем плакать, как на предыдущей свадьбе. Мани стало за меня стыдно, Биджан гневно на меня посмотрел, а подруга Мохаммада Дженет, одна из наших свидетельниц, тоже засмеялась.



*Моя вторая свадьба
9 сентября 1979 года.*

*Слева направо:
мать Биджана, я,
отец, мать*

Наутро после бракосочетания мы провели еще две церемонии: бахаистскую — ее вела индианка — и мусульманскую. Родные Биджана были бахаистами; что удивительно, мои родители совсем этому не воспротивились. Вечером дома у Мани собрались около двадцати друзей и родственников. Сестры Биджана танцевали, а моя семья стояла у стеночки и наблюдала за их мастерством с восхищением и завистью.

Революция

Сразу после свадьбы Биджан уехал в Париж на встречу с лидерами нашей студенческой группировки. Агрессивность вооруженных ячеек и усилившиеся репрессии привели к расколу в политической программе оппозиции. Студенческое движение за границей все больше тяготело к радикализму. Мать осталась в США еще на два месяца. Сняла квартиру в Нью-Йорке, где учился брат, а поскольку мы с Биджаном не успели найти собственное жилье, мы условились, что я перееду к ней и буду работать над диссертацией до его возвращения. Диссертация была посвящена Майку Голду и пролетарским писателям 1930-х; так как в 1930-е Нью-Йорк был центром радикальных течений, он как нельзя лучше подходил для написания этой работы.

Мать постоянно пилила родных Биджана по поводу его отъезда. «Всего две недели прошло

со свадьбы, а он бросает мою дочь непонятно ради чего!» — причитала она и цедила сквозь зубы, что сын пошел по стопам отца, мол, яблочко от яблони недалеко падает. Она звонила его матери и жаловалась, что я нездорова, слишком много работаю, и, если бы она не осталась, обо мне некому было бы позаботиться. «Вот что теперь ждет мою бедную девочку?» Но мать Биджана сама была в ужасном состоянии, только по другим причинам. Она искренне верила, что агенты иранской разведки могли убить Биджана, а во время путешествия по Европе он особенно рисковал.

В том году президент Джимми Картер учредил в Госдепартаменте Управление по правам человека. Это ознаменовало перемены во внешней политике США. Сидя в венгерской булочной недалеко от Колумбийского университета на Амстердам-авеню, мы с товарищами обсуждали влияние «джимократии» на диссидентское движение в Иране. Группа националистов написала шаху письмо с просьбой соблюдать упомянутые в конституции ограничения роли монархии. Сформированный в Тегеране Комитет по правам человека потребовал, чтобы описанные Картером права соблюдались в Иране. Освободили несколько политзаключенных; улучшилось обращение с заключенными в целом. В институте Гете в Тегеране прошел ряд поэтических вечеров Писательской ассоциации,

собравших аншлаги; на них открыто критиковали отсутствие свободы самовыражения. В последний вечер, пока поэты и писатели вещали о притеснениях, снаружи под дождем дежурили солдаты. Их проинструктировали не применять силу — только если разразится драка, — и вечер завершился спокойно. Но вторую серию вечеров в Технологическом университете Арьямехр запретила САВАК.

Хотя инициаторами протестов стали светские группы, аятолла Хомейни и его последователи обретали в Иране большую популярность. Мы тоже его поддерживали, в силу своей самоуверенности не воспринимая его как угрозу и намеренно не замечая его замыслов. А ведь все было как на ладони: его книга «Закон юриспруденции» призывала к созданию теократического государства, которым бы правил наместник Бога на Земле; он приравнивал движение за права женщин к проституции; неоднократно выступал против меньшинств, особенно бахаистов и евреев. Мы же внимали его критике империалистов и шаха и готовы были не обращать внимания на то, что критика исходила отнюдь не от поборника свободы. Сам Хомейни был благоразумен и не спешил обнародовать свои планы. В публичных заявлениях он намекал, что после возвращения в Иран удалится в священный город Кум и предоставит государственные дела политикам.

В первые десятилетия двадцатого века аму Саид и люди его поколения — Деххода¹⁶, Хедаят¹⁷, Нима¹⁸, Довлатабади¹⁹, Рафат²⁰, Иредж-Мирза²¹, Эшги²² — осознали реакционизм клерикалов. Многие писали уничижительную сатиру и критиковали религиозное лицемерие и отсталость свя-

¹⁶ *Али-Акбар Деххода* (1879–1956) — прославленный иранский лингвист и политик, участник Конституционной революции 1905–1911 годов.

¹⁷ *Садег Хедаят* (1903–1951) — иранский писатель, филолог, переводчик, общественный деятель.

¹⁸ *Юшидж Нима* (1895–1960) — иранский поэт, литературный критик, искусствовед, поэтический новатор, основоположник иранской «новой поэзии».

¹⁹ *Седика Довлатабади* (1882–1961) — иранская журналистка, активистка-феминистка и пионер движения за права персидских женщин.

²⁰ *Таки Рафат* (1885–1920) — иранский поэт-модернист и редактор политической газеты шейха Хиябани, преданный сторонник национально-освободительного движения Хиябани в Иранском Азербайджане против шахского режима в Персии.

²¹ *Ирадж-Мирза* (1874–1926) — иранский поэт, критиковал традиционализм и выступал за женскую эмансипацию.

²² *Мирзаде Эшги* (1893–1924) — иранский поэт и писатель, в своих произведениях критиковавший политическую систему Ирана.

щеннослужащих. Мы, молодые революционеры, опирались на их сочинения, но были опьянены моментом и ослеплены нашими собственными страстями. И когда в 1978 году бунты распространились по крупным городам вроде Табриза и Кума, мы — иранцы из Нью-Йорка, Вашингтона и Беркли — решили, что это «наши». Мой брат с соседями по квартире устроил вечеринку в Нью-Йорке; на ней присутствовали Пол Суизи и Гарри Мэгдофф, редакторы «Мансли Ревью». Суизи тогда предложил выпить за «первую настоящую революцию рабочих». Разочарование настигло нас лишь через несколько месяцев. А через два года я опубликовала свой первый очерк на английском в леворадикальном журнале «Нью Лефт Ревью», в котором описывала отчаянное положение женщин после революции, и подписалась «А. З.».

Иранское студенческое объединение планировало крупные демонстрации в Вашингтоне во время визита шаха в США 15 ноября 1977 года. Биджан только что вернулся из Франции, сразу отправился в Вашингтон, а я приехала к нему. У Белого дома собрались почти две тысячи студентов; их сопровождали конные полицейские. Я и еще две женщины из других фракций произносили речи и выкрикивали лозунги. Ближе к лужайке Белого дома собрались несколько шахских защитников, но за нашими лозунгами их голоса были

не слышны. А мы кричали: смерть шаху! Агенты ЦРУ и американские консультанты — прочь из Ирана! Иран — следующий Вьетнам! Прочь из Ирана, США!

На следующий день в «Вашингтон Пост» опубликовали знаменитую фотографию шаха и Картера на лужайке перед Белым домом. Слезоточивый газ, который применили против демонстрантов, проник и на лужайку, и шах стоит, склонив голову и прижав к глазам носовой платок, будто плачет. Тогда мы не знали, что он болен раком, и не представляли, как он, должно быть, растерялся, глядя на сотни тысяч протестующих против его правления, которых он считал своими верноподданными (речь о протестах в Иране). На следующий день я вернулась в Нью-Йорк почти без голоса. Матери об участии в демонстрациях не рассказывала: та бы не одобрила. Она еще раз позвонила семье Биджана и пожаловалась на слабое здоровье дочери, то есть меня, и равнодушные зятя к ее, то есть моему, благополучию.

Через несколько дней она вернулась в Иран, а я снова поехала в Вашингтон к Биджану. Мы поселились там постоянно: Биджан устроился в строительную компанию, а я наконец начала работать над диссертацией. Гостиная в нашей съемной квартире стала моим кабинетом. Я вставала, принимала душ, заваривала кофе, снова ложилась в кровать и читала иранские новости. Вскоре в углу

нашей спальни скопилась стопка старых выпусков «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс» с пятнами кофе. Иногда по утрам я ходила в библиотеку Конгресса и там несколько прекраснейших часов просматривала старые микроплёнки «Масс», «Новых масс»²³ и других журналов 1930-х годов — периода, которому была посвящена моя диссертация. Биджан заезжал за мной после работы, и мы гуляли по парку Дюпон-серкл, перекусывали и возвращались домой.

В августе 1978 года случился поджог в кинотеатре «Рекс» в Абадане, бедном городе на краю нефтяных полей. Внутри находилось более четырехсот человек; они сгорели заживо. Правительство шаха отрицало свою причастность к случившемуся и заявляло, что это дело рук религиозной оппозиции. Светская и религиозная оппозиция запротестовали и обвинили режим в совершении преступления с одной-единственной целью — обвинить их и подорвать их популярность среди сочувствующих. Символично, что пожар случился в священный месяц Рамадан. Заявлениям правительства почти никто не верил, и зверская жестокость стала символом того, на что готов

²³ Американские социалистические журналы, выходившие в 1911–1917 («Массы») и в 1926–1948 годы («Новые массы»).

пойти шахский режим, чтобы сохранить власть. Еще долго пожар в кинотеатре «Рекс» приводили в пример, напоминая, что с таким безжалостным режимом не может быть диалога и компромисса. С газетных передовиц и листовок, осуждающих тех, кто совершил это чудовищное преступление, на нас смотрели лица невинных жертв, которые пошли в тот день в кино. Бездушная жестокость, с которой был осуществлен поджог, стала еще одним аргументом за свержение шахского режима.

После революции семьи жертв потребовали справедливости, но, к их удивлению и ужасу, новое исламское правительство не обратило на них внимания. Акции протеста и сидячие забастовки разгоняли, а в середине расследования уволились несколько прокуроров. Общественное давление было велико, и по этому делу арестовали многих, виновных и невинных. В отдельных случаях было очевидно, что обвинения подложные: так, одного полицейского, которого обвинили в поджоге и казнили, в день пожара даже не было в городе. А молодой человек, непосредственно вовлеченный в это дело, утверждал, что во всем признался властям, но никто не принял его всерьез. Истерия и ярость затмили все факты. Люди верили в то, во что хотели.

Позже выяснилось, что поджог спланировали и осуществили не люди шаха, а сочувствующие

религиозной оппозиции; им казалось, что таким образом они ускорят революционный процесс. Поскольку расследование с самого начала велось нечестно, правда приоткрывалась по чуть-чуть. Исламское правительство и официальные СМИ скрыли доказательства и попытались во всем обвинить шаха. Но единственным преступлением шахской полиции в данном случае было неблагоразумие. Паника и растерянность подтолкнули полицию к необдуманным действиям: они увидели группу людей, пытавшихся разжечь костер в углу здания, и, надеясь поймать преступников и отрезать им путь к выходу, приказали запереть двери кинотеатра до приезда пожарной бригады. Однако пламя распространилось на все здание, и сгорели почти все находившиеся внутри люди.

Где же была я, когда мы узнали правду? Чем занималась? Читала ли газеты, обсуждала ли новость с друзьями, негодовала ли или продолжала есть мороженое? Не в тот ли день я вернулась домой довольная собой, потому что занятие по «Тому Джонсу» прошло особенно удачно? Подобные происшествия плохи тем, что в них нет невиновных: виноваты все, даже жертвы и наблюдатели вроде меня.

Вскоре после трагедии в кинотеатре «Рекс» Биджан снова поехал в Париж обсуждать будущее группы. Вернулся разочарованный лидерами, и те тут же начали против него кампанию в духе

сталинских репрессий. Пока он был в Париже, его матери диагностировали рак матки, давший метастазы в мозг. Лидеры группы использовали ее болезнь против Биджана, обвинив его в том, что он пренебрегает своими политическими обязательствами ради заботы о матери. Они считали заботу о матери буржуазной отмазкой.

Биджан, одинаково верный своим политическим убеждениям и семье, тяжело переживал это время. Он плохо спал по ночам, хотя никому в этом не признавался. Через несколько месяцев его мать умерла. Мне тоже предстояло сделать выбор между политическими пристрастиями и личной преданностью Биджану. В конце концов нас обоих настигло одиночество и разочарование. Возможно, именно последнему я обязана своей диссертацией, так как наконец смогла сосредоточиться на работе.

Впрочем, чем дальше я углублялась в свою диссертацию, тем больше разочаровывалась в предмете своего исследования — пролетарском писателе 1930-х годов и его идеологической позиции. Я стала читать Ричарда Райта, Артура Кестлера и Игнацио Силоне, чьи впечатления о коммунизме перекликались с моим опытом пребывания в студенческом движении, и задумываться, долго ли человек может оставаться верным своим прогрессивным идеалам, не поддаваясь деструктивной идеологии.

Осенью 1978 года, надеясь наладить отношения с Ираном, иракцы экстрадировали Хомейни. Из Кербелы, где тот жил в относительной неизвестности, обрстая сетью союзников и клерикалов, Хомейни переместился на мировую арену. На фотографии, где он сидит под яблоней в небольшом французском городке Нофль-ле-Шато, идеально запечатлен его образ Божьего человека, загадочного и внушающего почтение. Вскоре международная пресса и иранцы всех мастей — представители светских групп, националисты, даже радикалы — начали совершать паломничества в Нофль-ле-Шато, чтобы отдать дань уважения Хомейни, удовлетворить свое любопытство и присмотреться к вероятному будущему лидеру Ирана. Парадокс Хомейни очаровал миллионы его последователей: Божий человек жил, повернувшись к миру спиной, и вместе с тем плел заговоры и планировал захватить власть.

В январе в официальной газете Министерства юстиции в Тегеране — «Этелаат» — вышла статья под названием «Черный и красный империализм». Двумя врагами демократии и свободы объявлялись коммунисты (красный империализм) и радикальное духовенство под началом Хомейни (черный империализм). Статья спровоцировала демонстрации в священном городе Кум; шесть человек погибли. Через сорок дней, по окончании мусульманского траура, прошли демонстрации

в Табризе; погибли еще трое. Через сорок дней траура по погибшим в Табризе протесты перенеслись в Йезд, где шаха сравнили с Язидом, убийцей мученика имама Хусейна. Всю первую половину 1978 года шах метался между репрессиями и попытками примирения. Шестого сентября, в Ид-аль-Фитр²⁴ — праздник в честь окончания Рамадана, — прошли демонстрации с участием нескольких тысяч человек. К лозунгу Коалиции исламских собраний «свобода и независимость» добавились слова «исламское правление».

Когда я говорила по телефону с отцом — тот поехал в Париж по делам, — он был взволнован происходившими в Иране изменениями. Все повторял, что Иран веками страдал в руках абсолютистских монархов и реакционного духовенства, и вот наконец у иранцев появился шанс избавиться и от первых, и от вторых. «Мне почти жаль шаха, — сказал он. — Вокруг него столько подхалимов, и все твердят, что он — тень Бога на земле». Больной раком шах недоумевал и обижался на реакцию народа, сомневался в международной поддержке, особенно со стороны американцев, и кажется, утратил волю. Он не желал усугублять насилие и отказывался следовать советам тех, кто предлагал подавить демонстрации и развязать руки военным. Но для проявлений доброй

²⁴ Ураза-Байрам.

воли было уже слишком поздно, и многие это понимали.

Шестнадцатого января 1979 года шах покинул Иран. Перед отъездом, желая умиловить оппозицию, он назначил премьер-министром Шахпура Бахтияра, либерального националиста и союзника Моссадега. Именно тогда мы впервые всерьез поссорились с Биджаном, если можно назвать это ссорой. За месяц до этого мы тоже поссорились, уже не помню из-за чего. С тех пор Биджан со мной не разговаривал. Не спорил, не кричал, а просто уходил в себя. Отгораживался не только от предмета спора, но от всего. Он становился все более замкнутым, сводя наше общение к паре необходимых фраз, а я впадала в уныние. Просыпалась по утрам уже уставшей, так как днем мы избегали ссоры, а ближе к ночи начинали скандалить. Ситуация казалась отчаянной; я вновь удостоверилась, что браки не могут быть счастливыми. По крайней мере, так было со мной. Не лучше ли минимизировать ущерб, пока еще не поздно, подумала я?

Тем вечером мы ехали в гости к приятелю и всю дорогу молчали. За ужином, как обычно, спорили о шахе и Хомейни. Мы собрались у телевизора послушать о назначении Бахтияра — он был уже пятым премьер-министром за последние два года, и стал последним.

— Если светские и левые партии Ирана проявят предусмотрительность, — спокойно, но твердо

заявил Биджан, — они объединятся вокруг Бахтияра. Он истинный демократ и опытный политик. Мы все должны его поддержать.

— Ерунда какая, — возразила я. — Бахтияр — соглашатель.

— И на что он согласился? — спросил Биджан. — Он распустил САВАК, он соберет либеральное правительство и не даст Хомейни укрепиться во власти.

Но я, как и многие, ратовала за то, чтобы покончить с шахом. Меня устроило бы только полное свержение режима. Со свойственной радикалам горячностью я начала перечислять все совершенные шахом преступления. Биджан посмотрел на меня и презрительно ответил, что мне ни к чему напоминать ему о прегрешениях шаха. Спорить он не стал, что, разумеется, еще сильнее меня разозлило.

По пути домой мы опять молчали, а потом я выпалила:

— Хочу развестись. — Последовала пауза; Биджан, кажется, был потрясен. Он ожидал чего угодно, но не этого.

— Почему? — спросил он. — Откуда у тебя такие мысли? У нас же такие хорошие отношения.

— Мы почти не разговариваем, — ответила я, — уже месяц. — Он попытался убедить меня, что любит меня и как бы ни сердился — а он привык сердиться молча, — мысль о разводе даже не прихо-

дила ему в голову; не случилось ничего настолько катастрофического. Затем он в отчаянии произнес: — Выражать чувства можно не только словами.

Первого февраля 1979 года Хомейни торжественно вернулся в Тегеран. Миллионы людей вышли на улицы его приветствовать. На вопрос журналиста, что он чувствует, вернувшись на родину спустя почти восемнадцать лет, Хомейни ответил: «Ничего». Его наделили титулом имама — в шиизме этот титул дается преемникам пророка Мухаммеда. Теперь упоминание имени Хомейни всуе или его оскорбление влекло за собой серьезные последствия. Тысячи иранцев, в чьей нормальности у меня не было причин сомневаться, включая мою неверующую и высокообразованную тетю Нафисе, утверждали, что видели его изображение на Луне. Позже я отпустила уничижительный комментарий в его адрес, а она сказала: «Пожалуйста, дорогая, не говори так. Мать рассказывала, что одна женщина оклеветала его, и на нее из мусорного бака выпрыгнула кошка, сильно укусила ее за руку, и та женщина умерла».

Пока тетя высматривала лик Хомейни на Луне, другие члены моей семьи хватались за возможности, которые лишь год назад казались иллюзорными. Мой кузен Хамид, сын дяди абу Тораба, которого меньше всех интересовала политика, получил диплом Калифорнийского

университета в Лос-Анджелесе по специальности «медиа и кино» и вернулся домой с намерением развивать отделение кино и медиа в Открытом университете, но обнаружил, что ему и его жене Келли, американке, в Иране не было места. Они собрали вещи и уехали в Америку, а вот его младшие братья Маджид и Мехди, связанные с радикальной марксистской группировкой, наоборот, вернулись из США в Иран. Молодое поколение — мои ровесники, питавшие романтические иллюзии насчет революций и переворотов, — видело на Луне образ будущего, в котором мы вместе с пролетариатом освободили бы страну и жили долго и счастливо. Вот только мечта принимала совсем иные очертания; с ней что-то было категорически не так.

Маджид, удививший всех своим рано проснувшимся поэтическим даром, стал надеждой группы влиятельных интеллектуалов из Исфахана. Неугомонный бунтарь, он отвергал родительскую веру и образ жизни. Он придерживался принципа «все или ничего». Ближе к двадцати пяти годам забросил поэзию и занялся политикой, став сторонником самой радикальной ветви марксизма. Поклялся, что не напишет ни одного стихотворения, пока не свершится пролетарская революция. «А что ты сделала для революции?» — на полном серьезе спрашивал он меня, когда еще ничто не намекало на то, что она будет. Учиться, читать художественную литературу — все эти занятия Маджид считал

буржуазными и антиреволюционными. Как-то раз мы жестоко поспорили из-за глажки; он утверждал, что это буржуазное занятие. Он выводил меня из себя, но я восхищалась его упорством и целеустремленностью; мне не хватало ни того, ни другого. Он занимался поэзией, а позже политикой, вкладывая в эти занятия все сердце и душу. Жаль, что я тогда его не спросила: «А почему ты бросил поэзию? Как можно было забыть, что величайшие перемены в истории нашей страны — заслуга не только политиков, но и поэтов?»

Вернувшись в Тегеран, Маджид влюбился в молодую женщину, Эзатт, с которой познакомился на почве революционной деятельности. Его младшая сестра Нушин так же познакомилась со своим мужем Хусейном. Они вчетвером участвовали в «трущобных бунтах» на окраинах Тегерана в 1977 году.

В адресованной жене рукописи Маджид описывает, как их влюбленность расцветала в казавшиеся нереальными дни между 1 февраля 1979 года, когда аятолла Хомейни вернулся в Иран, и 11 февраля, когда утвердился его власть в стране. Я никогда не встречала Эзатт. На фотографиях та выглядит худенькой, похожей на мальчика. Маджид и описывает ее как пацанку с тонкой шеей, изящную, но не низенькую, как его сестра Нафисе. В его стихотворении она предстает в пальто цвета хаки, «миниатюрная, стройная, с точеными скулами».

Восьмого февраля Маджид с группой студентов университета отправились на завод в окрестностях Тегерана. Из-за беспорядков в последние восемь месяцев завод не приносил прибыли; соответственно, рабочим не платили зарплату. Двое рабочих вывели владельца во двор. «Тучный и высокий человек с пухлыми красными щеками, — пишет Маджид. — Он был напуган и едва мог говорить. Мы не знали, что делать. Кое-кто из рабочих начал дерзить; владелец вежливо слушал. Правительство дышит на ладан; оно больше не сможет его защитить. Но рабочие могли рассчитывать на нашу поддержку. Наконец решили, что рабочие выберут совет для управления производством и продажами». Маджид отправился было домой, но тут отряд солдат начал стрелять в воздух, а велосипедисты в масках из марксистской организации Федаин э-Халк начали призывать народ идти к гарнизону Фарахабад и поддержать восстание летчиков. Маджид прошел мимо юноши, обучавшего своих увлеченных учеников делать коктейли Молотова. Наутро он открыл дверь и обнял жену Эзатт; та только что вернулась из Исфахана и дрожала от холода. «День революции пришел, — пишет он. — Любовь и революция — что может быть романтичнее?»

В тот день Маджид, Эзатт, Хусейн и Нушин поехали на мотоциклах в Фарахабад поддержать взбунтовавшихся рядовых авиации. Они забрались в танк и двинулись к тюрьме Эвин, захваченной

заклученными. Охранники спешно покинули тюрьму, бросив на кухне огромные дуршлаги с промытым рисом. «Группа вооруженных гражданских пыталась выгнать людей из здания и захватить тюрьму, — пишет он. — Они пытались организовать первый тюремный блок при новом режиме». На следующий день бунтовщики направились к другой тюрьме — Каср. «Я увидел, что власть — не божественный дар. Волшебство развеялось. Тюрьмы, гарнизоны, королевские дворцы — оказалось, что у этих зданий нет никакой особой защиты. Шах, министры, агенты САВАК, генералы армии — все они были такими же людьми, как мы, в их жилах текла не голубая кровь. А новая власть распылила новое волшебное зелье. Она надела тюрбан и мантию священнослужителя и отрастила бороду, чтобы скрыть свою человеческую сущность».

Пока мы летали на крыльях эйфории и играли с танками и коктейлями Молотова, в революционных лозунгах все чаще звучало имя аятоллы Хомейни. Именно его избрали лидером революции. Главы националистской ячейки, чьего учителя Моссадега предал наставник Хомейни аятолла Кашани, бросили своего прежнего союзника Бахтияра и сплотились вокруг Хомейни. Среди революционеров преобладали самонадеянные настроения: никто не сомневался, что как только Хомейни ступит

на иранскую землю, он уедет в священный город Кум. И он действительно ненадолго туда вернулся, но не собирался оставаться там навсегда; вскоре насилие, к которому он призывал в отношении «Великого Сатаны» и его иранских лакеев, обернулось против его собственных сторонников, как неверующих, так и правоверных мусульман.

Бахтияр ушел в подполье и в конце концов в апреле того же года тайно бежал из Ирана. Агенты Исламской Республики убили его в его парижской квартире 7 августа 1991 года. На улицах творился хаос, единственной силой, способной поддерживать порядок, стала расколовшаяся армия, чьи базы штурмовали члены вооруженных группировок и тысячи рядовых граждан, охваченных революционным пылом. Восьмого февраля Хомейни учредил временное правительство, которое возглавил мусульманский диссидент Мехди Базарган, политик умеренного толка. Представляя Базаргана, Хомейни говорил о себе как о человеке, который наделен властью, так как является «подопечным (веляят) божественного судьи (Пророка)». Он сказал, что временному правительству следует подчиняться, потому что это не обычное правительство, а «бунт против Божьего правительства — бунт против Бога. Бунт же против Бога — святотатство». С целью укрепить свою власть Хомейни приступил к формированию аналогов армии и полиции: революционных комитетов

и революционной милиции, вооруженных организаций, чья власть была ничем не ограничена, а обязанности размыты. Поначалу революционные комитеты представляли собой невооруженные группировки, которые должны были сдерживать хаос и защищать горожан и в то же время арестовывать контрреволюционеров. К последним поначалу причисляли сторонников старого режима, но вскоре включили в это определение либералов и радикалов. Потом комитеты взяли на себя роль блюстителей нравственности, и начались аресты за самые разные преступления — от богохульства до владения алкогольными напитками и кассетами с западной музыкой. Одиннадцатого февраля Верховный военный совет единогласно решил объявить о нейтралитете, и всем военным было приказано вернуться на базы. В тот день аятолла Хомейни и его временное правительство праздновали победу. В последующие несколько недель, несмотря на протесты организаций по защите прав человека и умеренного крыла нового революционного режима, сотни чиновников старого режима были массово казнены.

Новый режим объявил исламских дружинников, патрулирующих улицы, «гласом народа». Хомейни издал указ об обязательном ношении платка, но вынужден был отозвать его после того, как женщины стали организовывать массовые демонстрации и сидячие протесты и выкрикивать

лозунг «свобода — не восточная и не западная ценность. Свобода универсальна!» Но дружинники нападали на непокрытых женщин, иногда с кислотой, ножницами и ножами. Закон о защите семьи отменили; на смену ему пришли религиозные законы. Вновь снизили возраст вступления в брак (для женщин) с восемнадцати до девяти лет; легализовали многоженство и «временные браки», женщин-судей лишили должности и полномочий, а за супружескую измену и проституцию теперь забивали камнями.

Другая другая женщина

Когда летом 1979 года я наконец защитила диссертацию и мы с Биджаном уехали в Тегеран, от моих прежних иллюзий по поводу нового иранского правительства не осталось и следа. Моих родителей вызвали в революционный трибунал. Мать заставили вернуть суммарную зарплату, которую она получила за время работы в парламенте; большинство нашей собственности конфисковали, но, в отличие от многих правительственных чиновников столь высокого ранга, родителей не посадили в тюрьму и не казнили. Вспомнили, что мать когда-то голосовала против закона о капитуляции и закона о защите семьи; это зачли ей в преимущество. Отца же спас его тюремный срок и протоколы из разведки, в которых говорилось о его симпатиях к бунтовщикам в ходе июньского восстания 1963 года. Он с изумлением вспоминал предсказание Рахмана: тот говорил, что его

тюремное заключение спасет его от большой беды. Мать многозначительно качала головой. «А кто вел ему все это время? — говорила она, обращаясь скорее к себе самой, чем к кому-то из нас. — Кто его привечал, когда вы пытались вышвырнуть его за дверь?»

Пока я была в Америке, родители переехали в новый дом в северном Тегеране. Он стоял напротив здания, где раньше находился Американский госпиталь; впоследствии там открылась больница для ветеранов ирано-иракской войны. Вернувшись, мы с Биджаном решили поселиться у родителей. Это было временное решение: мы планировали найти работу и собственное жилье. Однако, как часто бывает с временными решениями, вскоре оно стало постоянным. Мохаммад жил в своей квартире, но часто приезжал в гости, особенно по пятницам, когда мои родители устраивали кофейные посиделки, на которых собиралось даже больше людей, чем раньше.

Большая комната на первом этаже нового дома повидала немало оживленных и горячих дебатов: на кону была судьба государства, и всем — кроме, пожалуй, нашего обаятельного, но апатичного полковника — было что сказать. Отец по-прежнему не терял надежд на революцию и повторял свой тезис, что, если нам удастся избавиться от двух деспотических сил — абсолютистской монархии

и духовенства, — мы встанем на правильный путь. Ему казалось, что премьер-министр Базарган сможет и захочет объединить демократически настроенные объединения и отдельных политиков в единый фронт. Впрочем, скоро он избавился от этой иллюзии.

У Ширин-ханум и моей матери был период восхищения Хомейни. Мать яростно защищала его от все большего числа молодых скептиков, в числе которых была я, мой брат и наши друзья. Она не видела ничего плохого в том, что лидер нации исповедует ту же религию, что и она сама. «Ту же религию! — воскликнул кто-то из гостей. — Незхат-ханум, будь его воля, он бы и вас, и вашу дочь, и всех женщин в этой комнате замотал бы в черное с головы до ног!»

Мать отвергала подобные домыслы, разнося вазы с фруктами, кофе и мини-пирожные. «Нехорошо поддаваться слухам, — говорила она. — У него твердая рука, он умеет править». Что до возмущенных упоминаний о последних зверствах революционных дружинников, они ее ничуть не трогали. Она считала, что насилие вершится не по велению Хомейни: мол, за него ответственна группа экстремистов, которую непременно накажут.

Но очень скоро она уже не помнила, как защищала Хомейни. Вести о чудовищных преступлениях нового режима перечеркнули надежды, что

что-то изменится, и от нашего ликования не осталось и следа. Несколько наших коллег и друзей стали жертвами режима: главный редактор «Ханданихи» господин Амирани, который так храбро защищал отца, пока тот сидел в тюрьме; робкий мамин воздыхатель господин Хошкиш, тихий и добродушный глава Центрального банка. Их казнили без суда и предъявления обвинений. Были и другие: бывшая директриса моей школы доктор Парса; генерал Пакраван, в 1963 году спасший жизнь Хомейни; наш давний враг генерал Нассири и многие другие, кто был против шахского режима и даже сидел в тюрьме при шахе, как, например, мой кузен Саид. Позже стали убивать и обычных людей, за которыми водился лишь один грех — они плохо отзывались о Хомейни и исламе. Арестовывали геев, неверных супругов, женщин, которых считали проститутками, представителей меньшинств, особенно бахаистов. 4 ноября 1979 года захватили посольство США; умеренный премьер-министр Базарган ушел в отставку, и роман моих родителей с революцией закончился.

В первую пятницу после нашего возвращения в Тегеран матери не терпелось представить меня новой гостье. Это была коллега дяди Али, который работал главврачом в известной тегеранской больнице. «Я так много о тебе слышала», — с многозначительной улыбкой произнес-

ла Зиба-ханум. Хотя мы виделись впервые, она говорила со мной как с близкой подругой. Когда другие гости ушли, она осталась на обед; к ней присоединился ее муж и десятилетняя дочка, красивая застенчивая девочка, которая, несмотря на робость, чувствовала себя у нас дома вполне уверенно. Мать закармливала ее конфетами. После обеда отец отвел нас в сад. «Твой папа проводит так много времени в этом саду, — восхищенно проговорила Зиба-ханум. — Каждый цветок здесь посажен его руками».

Мать первая с ней познакомилась. Зиба-ханум работала в администрации больницы, мать зашла к дяде Али и встретила ее. Она сразу понравилась матери, и та пригласила ее в гости, а потом и ее семью. На момент нашего с Биджаном возвращения в Иран Зиба-ханум и ее муж входили в число самых близких друзей моих родителей. Думаю, роман между Зибой-ханум и отцом завязался, когда те начали жаловаться друг другу на своих супругов. «Он холоден, — доверительно сообщил мне отец, —



Шахран (моя хорошая подруга и первая жена Мохаммада), мы с Биджаном и Мохаммад, 1983 год

и безразличен к обаянию этой страстной и любящей женщины». А есть ли более плодородная почва для любовного сговора, чем недовольство двух обиженных супругов?

Зиба-ханум была красивее Шахин, но отличалась большей консервативностью. Она была чуть полновата, всегда одевалась наряднее, чем положено случаем, великолепно готовила и была прекрасной домохозяйкой, которая к тому же много работала и, в отличие от Шахин, не имела претензий. В начале революции, когда новое правительство взялось арестовывать функционеров старого режима и родители волновались, что отца заберут, Зиба с мужем на несколько дней приютили его у себя дома.

Мы с Зибой-ханум виделись чаще, чем с Шахин, так как она была другом семьи, причем близким, и мать считала ее своей «находкой». Пока меня не было, мать с тетей Миной поссорились; из-за чего, мы так никогда и не узнали. Я расспрашивала мать, но та туманно отвечала, что Мина ей солгала и выставила ее дурой, и она больше не будет это терпеть. Зиба-ханум привлекала ее своими «благородными манерами», уважительным и почтительным отношением, и постепенно она заняла место Мины. Меня же раздражала мамина наивность и настойчивость, с которой она привечала эту женщину и ее семью. Нам всем было не по себе, ведь мы все знали, что происходило

на самом деле — Биджан, Мохаммад, а позже и жена Мохаммада Шахран, с которой мы сразу подружились.

Когда дом перестал быть домом

Я точно помню даты начала и окончания войны с Ираком (22 сентября 1980 года и 20 августа 1988 года), помню, что жертв было очень много, но становлюсь совершенно беспомощной, когда возникает необходимость описать те незаметные изменения, что сказались на самой ткани нашего существования и повлияли на него таким образом, что знакомые улицы моего детства стали казаться чужими. В дневнике, который я завела осенью 1980 года, между заметками к лекциям по «Гекльберри Финну», «Великому Гэтсби» и «Матери» Горького я написала: «Дом перестал быть домом». Изменились наши жизни, причем не только из-за катастрофы и кровопролития, но из-за другого насилия, почти неощутимого, но просочившегося в обычную повседневную жизнь.

Как и мой кузен Маджид, который вышел на улицы Тегерана, чтобы вершить революцию, я мечтала об изменениях политической системы, но в основе

всех моих действий всегда лежала мысль о возвращении домой, к этим горам, к ночному небу, под которым я спала все детство; к улице Надери, запахам рыбы, кожи, кофе и шоколада, к кинотеатрам, ресторанам и кафе с веселой музыкой, к отцу, который держал меня за руку, когда мы шли по широкому тенистому проспекту навстречу горам, и говорил: «Сам факт существования стихов Руми и Фирдоуси доказывает существование Бога». Нет ничего ужаснее разбитых ожиданий. Революция должна была привести к смене политического режима, расширить наши свободы и сделать так, чтобы наш дом стал еще больше ощущаться как дом. Но я вернулась в страну, где изменилось все. Точнее — и это тревожило меня еще сильнее — внешне ничего не изменилось, но на самом деле все стало другим: у улиц были новые названия, Иран стал Исламской Республикой Иран. Даже язык звучал как-то странно: все граждане на этом языке назывались посланниками или Бога, или Сатаны, а женщин вроде меня считали проститутками и агентами Запада. Изменился и облик религии; на смену кротким отцовским наставлениям пришли напыщенные речи фанатичных последователей аятоллы Хомейни, называвших себя «Хезболла» — партия Бога. У них был лозунг «Есть лишь одна партия: Хезболла».

Религия перестала быть частью иранской культуры, формироваться под ее влиянием и влиять

на нее. Аятолла Хомейни не уставал напоминать, что не Иран, а ислам является нашим истинным домом, а границы ислама простираются далеко за пределы Ирана и охватывают весь мир.

Не могу думать об ирано-иракской войне и не вспоминать, что в войне участвовали два правительства, которые одновременно вели жестокую борьбу и с собственным народом. Аятолла Хомейни называл войну благословением; для него она стала прекрасным отвлекающим фактором от многочисленных внутренних проблем и оппозиции. Он думал, что теперь нация сплотится перед внешним захватчиком, а государство тем временем сможет подавить всех несогласных во имя национальной безопасности. За восемь лет, что длилась война, Тегеран бомбили несколько раз — не так сильно, как приграничные города в провинции Хузестан, но все же значительно, и жители жили в страхе очередной бомбежки. Когда по радио играл победный марш и объявляли о бомбардировке очередного «гнезда иракских шпионов» в Багдаде, мы прекрасно понимали, что эти шпионы — обычные люди, такие же, как мы, и знали, что вскоре начнутся бомбежки Тегерана, а Саддам объявит об уничтожении «гнезда шпионов» и в Тегеране. Я очень сочувствовала обычным иракцам, которых вынудили стать нашими врагами, хотя в реальности мы были братьями по несчастью.

Примерно через месяц после моего возвращения в Иран я начала преподавать в Тегеранском университете и в колледже для девочек, чье неоднократно менявшееся название символизировало постоянную смену эпох: во времена шаха он носил имя Фарах Пехлеви в честь жены шаха, затем его переименовали в Моттахедин в честь убитой при шахе участницы исламской организации моджахедов. Когда разногласия между моджахедами и новой властью усилились, колледж переименовали в Аль-Захра в честь дочери пророка Мухаммеда. В первый день, войдя в просторный холл кафедры персидских и иностранных языков и литературы Тегеранского университета, я поразилась стоявшему там шуму; сотни голосов нарастали и затихали. На столиках лежали буклеты, книги и листовки; каждый столик представлял то или иное политическое формирование. Вскоре я привыкла к шуму, к толпившимся у столиков студентам и постоянному мельтешению.

Через некоторое время я и сама стала его частью: бегала на собрания, выступала против увольнения профессоров, ходила на демонстрации и сидячие забастовки. Но главным для меня всегда были занятия. С той самой минуты, как я со страхом и волнением вошла в огромный зал, где мне предстояло вести курс с туманным названием «Литературное исследование», и написала на доске название программной книги —

«Приключения Гекльберри Финна» — я почувствовала себя как дома. Несмотря на конфликтную обстановку в университете, меня успокаивала мысль, что книги переживают войны, революции и голод. Книги существовали задолго до нашего рождения и продолжат существовать после того, как мы умрем. (Как там было у Фирдоуси? «Я не умру, ибо семена, что я посеял, спасут от могилы мое имя и репутацию».) Романы Джордж Элиот, Джейн Остин, Флобера и Толстого стали нашей отдушиной, воплотив нашу потребность в выражении разных мнений. «Том Джонс, найденыш» научил нас ценности юмора, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» — иронии, и каждый прочитанный роман демонстрировал всю сложность морального выбора и индивидуальной ответственности. Все стало казаться глубоко и остро причастным к реальности нашего существования. Иногда я приводила примеры из персидской литературы, в основном из запрещенных книг — «Слепой совы» Садега Хедаята, «Другого рождения» Форуг Фаррохзад, — или из классиков далекого прошлого. Обсуждала неумную игривость Руми и озорство Хафиза, которому нравилось подрывать ортодоксальные устои. Мы говорили о тирании посредственных писателей, навязывающих героям собственный голос и отнимающих у них право на существование. О том, почему в назидательных романах злодеи всегда похожи на карикатуры, у них словно

на лбу написано: осторожно, я чудовище! Ведь даже в Коране говорится, что Сатана — соблазнитель, искушитель с коварной улыбкой.

Двадцать первого марта 1980 года, в иранский Новый год, аятолла Хомейни выступил с суровой речью и раскритиковал университеты, назвав их агентами западного империализма. На пятничной молитве 18 апреля Али Хаменеи (он сменил Хомейни на посту Высшего руководителя в 1989 году) напал на университеты, сказав: «Мы не боимся экономических санкций и военного вторжения. Мы боимся западных университетов и воспитания нашей молодежи в интересах Запада или Востока». Эти выступления стали сигналом к началу культурной революции: плану по закрытию университетов с целью их последующей исламизации, создания новой программы и искоренения нежелательных элементов среди педагогов, администрации и студентов.

Студенты и педагоги не сдались без боя. Я помню пламенные речи, демонстрации и забастовки, дружинников, что появлялись внезапно и набрасывались на демонстрантов с ножами и камнями. Помню, как пряталась в пыльных переулках и как укрывалась в ближайшем книжном магазине за несколько секунд до того, как хозяин запер дверь. Мы едва успели отойти от окна, как на нас посыпался град пуль. Каждый день мы слышали новости об убитых студентах; тела пропадали, их уносили агенты режима. Эти сцены до сих пор

вспыхивают у меня перед глазами и мешают мне спать по ночам.

Вскоре столы с листовками убрали из холла. Многие из тех, кто стоял за этими столами и представлял различные студенческие движения и организации, были исключены, арестованы, некоторые даже казнены. На нашей кафедре я и еще две моих коллеги отказались носить обязательные платки и были уволены. Та же участь постигла многих педагогов.

Позже многих студентов, выступавших за исламизацию университетов, постигло разочарование; они сами начали критиковать режим, устраивать протесты и демонстрации. Могли ли мы предвидеть, что некоторые из них увлекутся Джейн Остин и Фитцджеральдом, Спинозой и Ханной Арендт и начнут сомневаться в принципах режима, который так горячо защищали? Вскоре они тоже начали требовать секуляризма и демократии, и их тоже арестовали, посадили в тюрьму и казнили.

Я выходила из колледжа Аль-Захра и собиралась идти домой, по пути залюбовавшись подстриженной лужайкой и клумбами; благодаря продуманному ландшафтному дизайну создавалось впечатление, что цветы растут здесь сами по себе, и возникало ощущение уверенности и спокойствия, особенно по сравнению с хаосом, творившимся на улицах за оградой. Тут кто-то окликнул меня громким шепотом:

— Профессор!

Я не заметила, что за мной кто-то шел, и, вздрогнув, обернулась и увидела ее; она стояла совсем рядом.

— Можно с вами поговорить? — спросила она.

— Конечно, — ответила я.

— Помните, вы с мисс Багери обсуждали «Грозовой перевал»? Я тогда все слышала.

Мисс Багери слыла в колледже агрессивной защитницей морали; «Грозовой перевал» оскорбил ее тонкие чувства. Однажды после



*Я преподаю в Тегеране; тогда ношение платка
в университете было обязательным*

занятия она отвела меня в сторону и принялась критиковать аморальность этой книги; мол, в ней одобряется адюльтер, и потому книга подает дурной пример. «В романах рассказывается о жизни, они освещают все аспекты нашего существования, — ответила я. — Ты же не начинаешь верить в демонов и людей, живущих по четыреста лет, когда читаешь Фирдоуси? А прочитав „Моби Дика“, не идешь убивать китов?» «Это другое», — ответила мисс Багери. — Супружеская измена — грех». «В этом смысл романа, — ответила я. — Романы изначально повествуют о грехе, это единственное, что в них есть святого. „Грозовой перевал“ — захватывающая история любви. Можешь привести такую же интересную историю, где все было бы по правилам?» К концу семестра мисс Багери с восторгом призналась, что полюбила Кэтрин и Хитклиффа до такой степени, что девочки из общения теперь над ней смеялись.

— Так вот, — сказала моя незаметная преследовательница, — мне стало интересно, а что вы имели в виду, сказав, что «единственное, что есть святого в романах — их греховность»? — На ней была черная чадра, открывавшая только овал лица — все в соответствии с предписаниями о дресс-коде. Лицо не поддавалось описанию. Довольно длинное, довольно бледное, почти бескровное, худое. Серьезные глаза, взгляд которых не увиливал, в отличие от взглядов большинства учениц, а смотрел

прямо. Не помню, как ее звали. Она отличалась от мисс Багери. В ней чувствовалось упрямство и решительность, которые мне нравились. Она бы не изменила своего мнения по поводу «Грозового перевала» через каких-то пару месяцев. Ее упрямство происходило не только из предрассудков и религиозных воззрений: поговорив со мной, она словно пыталась решить какую-то задачу. Хотя она была явно религиозна, в ней чувствовался внутренний конфликт; казалось, неразрешимая загадка занимает ее настолько, что она полностью погружена в свой внутренний мир. Пауза между моей репликой и ее ответом порой длилась так долго, что я начинала думать, будто она забыла, что мы разговариваем. Она казалась такой серьезной, что рядом с ней я ощущала себя легкомысленной. Захотелось пошутить и избавить ее от излишней суровости. Я уже привыкла вести разговоры об аморальности литературных произведений с религиозными студентами и обнаружила, что их аргументы всегда скучны и одинаковы и напоминают мои собственные доводы в бытность радикальной активисткой, когда мы с товарищами видели в литературном произведении лишь одно — идеологическое наполнение.

Я ответила:

— Давай обсудим романы, которые ты называешь «аморальными», и я смогу лучше объяснить. — Она попросила список литературы. Сказала, что

читала Форуг Фаррохзад, а я напостила, что ее труды запрещены.

— Если речь о тяге к знаниям, то можно все, я так считаю, — ответила она. Тяга к знаниям! Так вот как это называется. — Но Форуг Фаррохзад — скорее западная поэтесса, — продолжала она. — Она не придерживалась наших традиций. — Я предложила девушке вспомнить героинь «Шахнаме» и других классических персидских сказок. Ведь адюльтер придумали не на Западе, и любовь тоже. В «Вис и Рамине» любовники открыто совершают адюльтер, считая более аморальным не следовать велению сердца. Но раз мы заговорили о супружеской измене в рамках романа, заметила я, можно начать с «Госпожи Бовари» и «Анны Карениной».

На протяжении двух месяцев мы с этой ученицей встречались раз в неделю, а то и чаще. Сидели на лужайке или гуляли по тенистой улице вдоль территории колледжа. Пару раз я угостила ее профитролями; в следующий раз девушка принесла большую коробку пирожных. Она прочитала «Госпожу Бовари» и половину «Анны Карениной». Заметила, что в конце героини покалялись.

— Не покалялись, — возразила я, — а отчаялись. Сердце Анны было разбито, а Эмма дошла до ручки.

— Вы говорили, все дело в любви, — сказала она.

— В любви в том числе, но в случае с Эммой виноваты скорее ее иллюзии, мечты, которыми

мы прикрываем унылую и жестокую реальность. Из-за этой мечты Эмма вышла замуж; из-за нее же изменила мужу. Она прочла слишком много любовных романов и хотела стать романтической героиней.

— Она нарушила договор, — возразила девочка. — Она дала слово чести.

— Верно, — медленно проговорила я, — но Шарль Бовари сам пал жертвой своих романтических иллюзий. Он полюбил образ Эммы, а не ее саму. Он не замечал настоящую Эмму и не понимал, что та от него хотела.

Я спросила ее:

— А женщины, что выходят замуж не по любви, — ты их не считаешь изменницами? По-моему, это даже хуже, — сказала я.

— Они связаны долгом, — ответила она, — и не лгут.

— Но ложь может быть разной, — проговорила я. — У меня есть одна знакомая женщина с очень высокими моральными принципами, которая никогда бы не стала помышлять о супружеской измене, но вместе с тем она уже тридцать лет эмоционально неверна своему мужу; она изменяет ему со своим первым супругом, который умер. — (Однажды я спросила мать, почему та больше не танцует после того первого свадебного танца с Саифи, и она ответила: мне не с кем танцевать). На мои слова ученица ответила:

— Мне жаль эту женщину и всех остальных. Та, о ком вы говорите, пострадала от отсутствия любви, — она произнесла «отсутствие любви» так, будто речь шла о тяжелом недуге. Я запомнила эту фразу и вспоминала ее всякий раз, когда думала о матери и бабушке, о тете Мине, поэтессе Алама-тадж и многих других женщинах, считавших, что зря потратили свою жизнь не только из-за того, что им не удалось реализовать свои общественные амбиции, но и из-за отсутствия любви.

Мы перешли к темам преданности и самоуважения и неизбежно снова заговорили о женщинах — европейках, американках, турчанках и египтянках, — которые сражались за одно и то же и терпели одинаковые унижения.

— Но почему нам об этом не рассказывают? — спросила она. — Почему в школах об этом не говорят? — В конце разговор зашел об иранках: те могли учиться в университетах и читать «Грозовой перевал», но одновременно были лишены права выбора по самым основным вопросам — не могли определять, за кого выйти замуж, как одеваться, где работать. Ее умные глаза засветились. — Странно: я раньше об этом даже не задумывалась, — сказала она. — И до революции, пожалуй, согласилась бы на брак по договоренности назло правительству. Но теперь уже не уверена. Наверно, это все влияние литературы: без книг у меня даже таких мыслей никогда не возникало.

Потом она вдруг перестала ходить на занятия. Закончился семестр. Я уволилась из колледжа Аль-Захра и с головой ушла в баталии, разыгрывающиеся в Тегеранском университете. Я все хотела расспросить о ней мисс Багери, но так этого и не сделала. Лишь иногда вспоминала ее и думала: что с ней случилось? Вышла ли она за мужчину, которого сама выбрала? Поддалась ли соблазну? Поверила ли, что можно жить иначе?

По утрам мы часто просыпались и обнаруживали, что вновь случилось что-то новое и непредсказуемое. Источники матери (у нее, как у императора Дария, везде были глаза и уши) сообщали, что вскоре судьба повернется к новым правителям спиной. Она подмигивала моему мужу, которого они с отцом прозвали господином Черчиллем. Мать почему-то считала Черчилля очень хитрым (вероятно, он таким и был) и дипломатичным (а вот дипломатичностью он отличался отнюдь не всегда). «Взгляни, какой он дипломатичный, — говорила она о Биджане. — Молчит, только улыбается, но он опасен, поверь. Скоро, — призналась она, — верховные аятоллы восстанут против Хомейни».

И они восстали. В среде клерикалов многие считали, что духовенство не должно вмешиваться в государственные дела. Веками духовенство правило, оказывая давление на государство

и представляя себя защитниками бедных и нуждающихся. Хотя Хомейни захватил власть во имя традиции, он интерпретировал религию на современный лад, что, по мнению некоторых, противоречило традиции и, скорее, соответствовало современным тоталитарным идеологиям. По всей стране высокопоставленные духовные лица, стоящие рангом выше Хомейни, стали высказывать недовольство. Самый известный — аятолла Шариатмадари — начал призывать к отделению религии от государства, говоря, что это один из краеугольных камней шиитского ислама.

Бунты жестоко подавили. Почтенного аятоллу Шариатмадари лишили сана и посадили в тюрьму. Его сторонников арестовали, многих казнили, а сам он умер под домашним арестом. («А помните, когда Хомейни попал в немилость шаха, тот самый Шариатмадари сидел под деревом и плакал в знак протеста? — с ироничной улыбкой сказал отец. — Наш новый имам умеет благодарить».) Таким образом режим сообщил правоверным: чтобы выжить, необходимо придерживаться лишь одной интерпретации ислама и признать новую политическую роль духовенства.

Отцу казалось, что это приведет к концу ислама в нашей стране, и его рассуждения не были лишены здравого смысла. «Нам не нужен внешний враг, — сказал он. — Эти люди сами справятся с уничтожением ислама». Позже один мой друг заметил:

«Как можно придерживаться религии, которая регулирует все, от политики до использования водопровода?»

Мать проявляла все больше интереса к моей университетской деятельности. Она звала меня спуститься выпить кофе с ней и подругами и говорила: «Расскажи им, расскажи, что они творят с женщинами в университетах!» Перечисляла все несправедливости против женщин: им запретили

быть судьями и заниматься спортом; закон о защите семьи отменили (мать успешно «забыла», что сама против него голосовала), снизили возраст вступления в брак и так далее, и так далее. Она поворачивалась ко мне и говорила: «Ну расскажи им!» Хотела, чтобы я описала демонстрации и забастовки, битвы за ношение платка.

«А что сказала твоя подруга Хайде комитету по культурной революции? — спраши-

вала она, и не успевала я ответить, как она поворачивалась ко мне и торжествующе заявляла: — И эта женщина, коллега Азар, встает и говорит: „Вы превратили университеты, оплоты знаний, в пыточные!“ Разумеется, она, Азар и еще две их



*Мать в середине
1970-х во время
паломничества в Мекку*

коллеги пришли на собрание с непокрытыми головами, — с явной гордостью добавляла она. — Бедная моя девочка, и ради этого я жертвовала всем, ради этого дала ей образование?»

На пятничных кофепитиях мать жестоко напала на всех, кто возражал, когда я высказывалась против ущемления режимом прав женщин. Многим казалось, что сейчас не время заниматься такими несущественными вопросами, ведь на кону независимость государства и антиимпериалистическая борьба. Одно утро мне особенно запомнилось: тогда Ширин-ханум затронула тему «истинного ислама». Бытовало мнение, что аятолла Хомейни является представителем истинной веры, *Эслам-э растин*, а оппоненты Хомейни и шах придерживаются ложного ислама, «американского». Мать взорвалась. «Да кто эти люди, чтобы указывать нам, кто истинный мусульманин или истинный иранец, раз на то пошло? Моя семья служила этой стране более шестисот лет! — с растущим негодованием промолвила она. — Я ездила в Мекку, это моя вера!» Бросив на Ширин-ханум испепеляющий взгляд, она добавила: «Кто назначил этих людей представителями истинного ислама?»

Позже мать вконец разозлилась и заявила: «Эти люди — не настоящие иранцы!» Не давая никому вставить ни слова, она напомнила, что на протяжении почти двух тысячелетий наш народ исповедовал зороастризм. Через несколько лет она стала

часто приводить в пример Тахмине-ханум, няню моих детей, которая исповедовала зороастризм, и повторяла: «Твоя Тахмине-ханум больше иранка, чем мы все вместе взятые. Вам бы завоевать нашу страну, — в шутку говорила она ей. — Если бы я родилась в вашей вере...» — но нам оставалось лишь додумывать, что бы она в таком случае сделала.

Чтения и бунты

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ в 1981 году мы с коллегами по кафедре стали собираться за ужином два раза в месяц. Конфликты с администрацией университета сблизили нас, и мы стали встречаться в ресторанах и кофейнях, разрабатывать стратегию и планировать следующие шаги. Когда поводов для таких собраний больше не осталось — кто-то уволился сам, кого-то уволили, — мы продолжали видеться просто так, для общения, и дружить семьями. Биджан раз в неделю играл в покер с мужской компанией, а я в эти вечера встречалась с женщинами с кафедры. Наши встречи напоминали мамины кофейные посиделки, но были более утонченными и, пожалуй, менее спонтанными. Мы говорили о прошлом, о наших матерях, мужьях и любовниках, обсуждали проблемы, а иногда просто сплетничали. В последние годы моей жизни в Иране у меня сложилась еще одна женская компания наподобие этой. Мы были

очень открыты друг с другом и ничего не скрывали, а говоря о себе, свободно переходили от личных к политическим и интеллектуальным темам. Порой казалось, что наши проблемы ничем не отличаются от тех, с которыми сталкивались наши матери, хотя у нас было намного больше возможностей и свобод. Мужья-абьюзеры, несчастная любовь, вина из-за необходимости сочетать работу и семью, нерешенные сексуальные проблемы и фрустрации. Эти женские кружки стали для нас суррогатными семьями со всеми проблемами, противоречиями и симпатиями, характерными для семей; как в семье, кто-то в группе был нам ближе, кто-то дальше. Мы переживали неожиданные сближения и предательства, влюблялись и разочаровывались, вместе путешествовали. Наши дети росли бок о бок.

Ранней осенью 1979 года в погожий солнечный день мы с моей подругой и коллегой Хайде выходили из здания Тегеранского университета. К нам подошел худощавый мужчина со смуглым лицом, пышной кудрявой шевелюрой и густыми усами. Он пригласил Хайде присоединиться к его литературному кружку. Его глаза даже за стеклами очков искрились лукавством, точно он вел параллельный молчаливый разговор с озорным эльфом, в то время как его тело находилось в обычном мире рядом с нами. Так я познакомилась с Хушангом Голшири, одним из самых известных иранских писателей того времени. Он родился в Исфахане

и входил в группу интеллектуалов и авторов, оказавших огромное влияние на иранскую литературу 1960-х — 1970-х годов. Голшири и его коллеги «открыли» моего кузена Маджида, когда тот начал писать стихи и публиковаться, и поддерживали его творчество.

Хайде так и не вступила в кружок; она была слишком увлечена политической деятельностью и не собиралась тратить свой недюжинный талант на какую-то литературу. Зато в него вступила я. Мне отчаянно не хватало обсуждений, которые не заканчивались бы идеологической полемикой. Я интересовалась темой демократии в романе; меня вдохновил тот факт, что развитие жанра романа в Иране совпало с ростом демократических настроений и расширением свобод. Мне казалось, что типичная для романа полифония отдельных голосов и многоголосье в демократическом обще-



Биджан и писатель Хушанг Голшири

стве — по сути, одно и то же. Готовясь к занятиям, я много читала и делала заметки о современной персидской литературе, иногда приводя Биджана в бешенство. Я входила в раж, бросалась пылко его целовать и пускалась в маниакальные монологи по поводу своей последней находки. («Конституционная революция была не просто политическим переворотом, — выпаливала я на одном дыхании. — Ты понимаешь, какие ожесточенные споры велись за язык, начиная с Мохаммада Али Джемаль-заде, твердившего, что мы должны найти новый демократический язык!? И таких исследователей было много. Вспомни Дехходу и Хедаята: они помогли создать этот демократический язык. То было время зарождения иранского романа, иранской пьесы и иранской журналистики; исламский режим не случайно избрал своей мишенью культуру... Они пытаются добраться до источника, понимаешь?») Тем вечером я рассказала, что познакомилась с Хушангом Голшири. Да-да, с тем самым Голшири, который написал «Принца».

Когда я впервые упомянула о «Принце» в присутствии отца, тот чуть не закатил глаза. «О нет, — сказал он. — Неужели нам мало „Слепой совы“?» Он хотел знать, почему я так всполошилась из-за двух тоненьких книжек. «Вся страна летит к чертям, а моя дочь восторгается этими двумя жемчужинами, двумя романами, будто они

способны решить все наши проблемы!» «А я-то тут при чем?» — ответила я.

Он был прав: страна и впрямь летела к чертям. Конца войны не предвиделось; зверства режима продолжались. Все больше наших родственников и друзей ушли в подполье, уехали из страны или попали в тюрьму. У меня не осталось иллюзий по поводу моего положения. Нас с Хайде и других коллег уволили, моя мечта преподавать в университете приказала долго жить. Мой паспорт конфисковали; я не могла уехать из страны. У меня начались частые приступы паники.

Как только я научилась говорить, отец стал рассказывать мне истории. Через сказки Фирдоуси он учил меня понимать мою страну, ее историю и культуру и показал мне, что литература — не просто времяпровождение, а метод восприятия и интерпретации окружающего мира — иными словами, способ существования в нем. А теперь мир стал таким непонятным и враждебным; к чему еще я могла обратиться, кроме как не к книгам? Для отца Фирдоуси являлся ключом к прошлому. «Шахнаме» была единственным свидетельством существования величественной Персидской империи, что наводняла наши сны и кошмары. Что же привлекало меня в «Слепой сове», написанной в 1936-м, и в «Принце» Голшири (1969) и как эти произведения могли объяснить современный Иран, в котором мы жили? Отцу язык этих рома-

нов казался слишком скупым («Похоже, во всех современных романах теперь скупой язык», — предположил он), а сюжет слишком запутанным. «Если называть романом „Войну и мир“ или „Повесть о двух городах“, то и эти книги можно назвать романами, — примирительно добавил он. — Ни сюжета, ни четкой характеристики героев...»

В Исламской Республике оба романа были запрещены; причиной запрета стали откровенные сексуальные сцены и критический взгляд авторов на ортодоксальную религию. Характерной чертой зарождающейся модернистской литературы начала XX века было неприятие религии, а в отдельных случаях — например, у Хедаята — еще и очарование доисламским Ираном. Радикальность и злоба антиисламских высказываний Хедаята ничуть не уступали его романтизации древнего Ирана и ностальгии по тем временам.

Я читала «Слепую сову» совсем девчонкой, когда мне было, может быть, пятнадцать лет. Примерно в то же время я увлекалась Сартром и Камю, ходила и цитировала «Тошноту» и «Постороннего». Мы с кузенами со стороны отца, моими ровесниками, испытывали неодолимую тягу к этим депрессивным текстам, повествующим об одиночестве в обществе. «Слепую сову» родители обычно запрещали читать детям. Хедаят покончил с собой в Париже в 1951 году, и у многих эта книга

вызывала ассоциации с самоубийством. Якобы она подстрекала неокрепшие умы к самоубийству, курению опиума и прочим ужасным вещам. Из-за этого и книга, и писатель стали культовыми. В «Слепой сове» многие находят черты европейского экспрессионизма. Критики усмотрели в ней влияние Новалиса, Нервала и любимого Хедаятом Кафки. Но, перечитав ее, я поразилась не ее знаменитому пессимизму и параллелями с западной модернистской философией, а тем, как много общего было у «Совы» с классической персидской литературой. То же самое я заметила в «Принце» Голшири. Два этих очень современных романа связывала единая нить: они казались чудовищной переделкой классических сказаний о влюбленных, предназначенных друг другу судьбой, — «Вис и Рамин», «Лейли и Меджнун». Чудовищной — потому что сочетали в себе отдельные реструктуризованные элементы богатого опыта прошлого. Гургани, Фирдоуси и прочие поэты-классики рассказывали о земном мире и открыто восхваляли жизненные и плотские удовольствия; у их последователей, поэтов-мистиков, земной мир сменился божественным. Но в «Слепой сове» и «Принце» земля и небо были разрушены, духовный мир рассыпался в прах, а реальный таил не удовольствия, а угрозу. На Хедаята и Голшири в равной степени повлияла западная модернистская философия и классическая персидская литература, и оба отличались

уникальной способностью сочетать и смешивать эти влияния.

Сюжет обеих новелл основан на отношениях (или, точнее, их отсутствии) протагониста — растерянного, фрустрированного и слабого героя — с двумя женщинами, одна из которых символизирует недостижимый идеал (в «Слепой сове» ее называют «воздушной»), а вторая — земную эротичную женщину (ее называют «шлюхой»). В обеих книгах эти отношения и отчаянное желание героя обладать женщинами приводят к их и его собственному разрушению. Обе книги пронизаны чувством безнадежности и отчаяния, ощущением, что прошлое потеряно, настоящее непостижимо и потому опасно и враждебно. Ничего общего с красноречивым восхвалением прошлого, что мы находим у Фирдоуси.

В книге Голшири, как и в «Слепой сове», рассказчик мужского пола никак не контактирует с героинями: диалоги обрываются, в них сквозит страх, обида и жестокость, на которую способны лишь очень слабые люди. Куда же делись героини «Шахнаме» и «Вис и Рамина» с их гранатовыми персями и рубиновыми устами? Героини, что заявляют о себе, назвав свое имя и смело указав на объект своих желаний? Я не могла не заметить сходство между бессильными мучителями и страдающими убийцами из двух новелл и дружинниками, избивавшими девочек-подростков за выбившиеся

из-под платка пряди волос. Пытались ли они замаскировать свое бессилие, затыкая рты сильным и непредсказуемым женщинам?

Когда ко мне возвращалась способность мыслить здраво, я понимала, что в свете этих историй могла проясниться психологическая подоплека нашего исторического момента. Что ждет нас дальше? Иногда возникала потребность в новых высказываниях. И сейчас такая потребность достигла пикового уровня, как тысячу лет назад, когда Фирдоуси отреагировал на завоевание Персии, и в начале двадцатого века, когда Хедаят и ряд других писателей откликнулись на Конституционную революцию и последовавшие за ней радикальные изменения. Потребность в культурной революции — не той, что насаждал режим, не ложной, а истинной — встала как никогда остро.

В начале 1980-х меня уволили из Тегеранского университета, и Голшири предложил, чтобы я провела небольшой курс по «Слепой сове» для группы заинтересованных молодых людей. Не так давно один из студентов той группы прислал мне копию своих конспектов в темно-синем переплете: тридцать семь страниц заметок от руки. На обложке написал красивым почерком: «„Слепая сова“, роман совести, доктор Азар Нафиси». Пролистывая эти страницы, я вспоминаю почти наивное волнение, которое мы испытывали,

перескакивая с Фирдоуси, зороастризма и мифа о первых мужчине и женщине, сросшихся в одно растение²⁵, на модернизм Хедаята и воздействие на него Нерваля и Новалиса.

После этого курса я написала несколько эссе о современной персидской литературе и присоединилась к литературному кружку Голшири. В него входили его собственные ученики. Раз в неделю приглашали кого-то из писателей и обсуждали его работу. Иногда приглашенные авторы оскорблялись, так как мы беспощадно критиковали их; не редкостью были словесные поединки, в основном между Голшири и его гостем. В этих перепалках становились очевидными соперничество и взаимная вражда, которые все еще были очень сильны между нами, хотя мы все вынуждены были объединиться пред лицом постоянной угрозы и преследования со стороны режима.

Я одновременно посещала другой книжный клуб, организованный моими друзьями, в основном из академических кругов. Туда входили Мохаммад, Шахран и супруга Голшири Фарзане Тахери, известная переводчица, изучавшая английскую

²⁵ Согласно зороастрийскому мифу о сотворении мира, первые люди Машйа и Машйана выросли из семени первочеловека Гайомарта в виде ревеня, а через 15 лет приняли человеческий облик, но их тела остались сросшимися у талии.

литературу в Тегеранском университете. Бывало, кто-то покидал кружок и уезжал за границу; приходили и новые люди, но, что поразительно, в эти сумбурные годы наши встречи оставались одной из немногих постоянных величин жизни. В годы революции, когда все было таким изменчивым, факты теряли материальность, а все, во что мы прежде верили, попадало под сомнение, четкая структура литературных произведений становилась для нас утешением.

Мы читали классику — Хафиза, Саади, Фирдоуси, — но в итоге всегда переключались на другие темы, и занятия нередко растягивались до поздней ночи. По настоянию Голшири мы по очереди зачитывали подобранные им отрывки произведений и стихи. Мне часто становилось скучно: я была одной из худших учениц, никогда не делала домашнее задание и смешила всех, когда надо было читать. Но позже я поняла пользу его метода: при чтении вслух раскрывался чарующий ритм стихотворения, и я начала ценить взаимодействие слов, их взаимные заигрывания и перестук, приводившие к трансформации смыслов. Теперь, открывая Хафиза и Фирдоуси, я почти всегда инстинктивно читала вслух, чтобы насладиться музыкальностью их строк. Дело было не просто в красоте языка, в мастерстве замысла и структуры — все это я замечала и раньше. Я впервые увидела игривость канонических текстов, их приземленность. Лите-

ратурный критик Терри Иглтон писал, что великая литература всегда стремится преступить границы существующей реальности. Читая классиков персидской литературы, мы заглядывали в трещинки в стенах реальности и видели за ними сияющий мир воображения наших поэтов.

Порой мне казалось, что вся моя жизнь стала вариацией на тему родительских кофейных посиделок. Поскольку все аспекты общественной жизни были ограничены или попали под запрет, частная жизнь начала выполнять функцию публичного форума. Дома превратились в рестораны, бары, кинотеатры и театры, концертные залы, площадки для литературных, искусствоведческих и политических дебатов. Но даже этим свободным зонам постоянно угрожало государство: в любой момент дня и ночи к нам могли ворваться с облавой и конфисковать алкоголь, игральные карты, косметику, запрещенные книги и видеокассеты. Нас могли арестовать по обвинению в аморальности. И все же те дни запомнились мне атмосферой сдерживаемого волнения, пробивавшегося из-под тревоги и страха. Теперь, вспоминая то время, я понимаю, что волнение и страх, пожалуй, подпитывали и укрепляли друг друга. Пока терзаемая войной страна стонала под гнетом репрессивных законов, ежедневных арестов и казней, чуть глубже, в подполье, совершались акты неповиновения

и велось сопротивление, служившее источником постоянной фрустрации для государства и подрывавшее его власть. К обычным, ничем не примечательным делам — вечеринке, на которую приходили и мужчины, и женщины, где подавали алкоголь, включали музыку и смотрели кино — «Ночь в опере» или «Фанни и Александра», — надо было подходить со всей осторожностью, непременно задвигая шторы, и так обычные события превращались во что-то заветное, в украденный эклер. Мы ощущали себя диаспорой изгнанников в стране, чьего языка и культуры не понимали; мы строили свой дом вдали от дома, где действовали свои нормы, был свой образ жизни и фольклор. И, разумеется, нас объединяла ностальгия по «старым недобрым временам», как мы их называли — временам до революции.

Эти подпольные сборища чем-то напоминали собрания конца XIX — начала XX века, о которых я читала или слышала: тогда спектакли перекочевали из театров в дома, а женщинам было запрещено появляться на улице. Люди жили этими тайными собраниями, словно революционеры в подполье. В своих мемуарах аму Саид описывает испытанное им радостное волнение и тревогу, когда он впервые пришел на такое собрание в дом известной активистки, защитницы прав женщин Мастурех Афшар. Он рассказывает, как опасно было мужчине, тем более молодому, являться на собрание,

в котором участвовали женщины. Тогда в Иране существовало разделение на мужские и женские тротуары, а женщины в общественных местах ходили в черном с ног до головы. «Я строил мысленные схемы, пытаясь справиться с ощущением неминуемой опасности и угрозы. Я же никого не собираюсь ограбить? Не представляю угрозу для чьей-либо жизни и благосостояния? — писал он в мемуарах. — Я не делал ничего подобного, и тем не менее то, что я собирался сделать, считалось таким же тяжким преступлением».

Аму Саид описывал восторг при встрече с чем-то новым, прежде не существовавшим. В нашем случае мы пытались сохранить то, что у нас отняли, и наши тайные встречи были пронизаны атмосферой усталости и отчаяния. Атаковав индивидуальные права, отвоеванные в отчаянной борьбе, наша революция отправила нас в точку невозврата. Теперь мы хотели лишь сохранить то, что было, а не стремиться к некой невообразимой мечте.

Разрушенные мечты

Для отцовской семьи революция должна была стать предвестником новой эры — эры, в которой они будут править. Они крайне негативно относились к шаху и были очень религиозны. Теперь шаха не стало, страну возглавляло исламское правительство. Но уже в первый визит в Исфахан я заметила раскол и враждебность между кузенами и дядями, которые десятилетиями были очень близки. Кузен Саид, поддерживающий агрессивную организацию воинов-моджахедов, довольно резко повздорил с кузеном Джафаром и дядей Хусейном, чьи симпатии были на стороне более экстремистского крыла правящего духовенства. Дочь аму Хусейна, всего несколько лет назад разгуливавшая по Беркли в джинсах и рубашке с короткими рукавами, надела чадру, сменила имя с Шади на Захру в честь дочери пророка Мухаммеда и вышла за члена революционной дружины. И если еще пару лет назад эти трещины можно

было залечить, то теперь пропасть казалась непреодолимой.

Саид не разговаривал со мной семь лет. Мы с Мохаммадом и Саид с Маджидом пошли в ресторан, и он, тринадцатилетний мальчишка, набросился на нас за то, что мы пили и подпевали оркестру. После этого он объявил нам бойкот и начал писать многостраничные письма с осуждением декадентов-интеллектуалов, раскладывая их на показ по всему дому. Потом его на два года посадили в тюрьму за деятельность в организации воинов-моджахедов. Когда я увидела его после революции, осенью 1979 года, он стал дружелюбнее. Женился на дальней родственнице Фарибе, которую я запомнила робкой девочкой, хрупкой, сдержанной, неизменно одетой в длинные рубашки и мешковатые брюки. Они жили в маленькой студии в глубине дядиного сада и держались особняком.

Вскоре у многих мусульман, включая Саида, возникло ощущение, что их предали. Ведь это была их революция. Мы, неверующие декаденты, потерпели поражение, но и Саид так и остался аутсайдером. На самом деле, революция нанесла верующим куда более фундаментальный ущерб, чем нам, атеистам, — не только радикалам вроде Саида и его организации, но и равнодушным к политике правоверным мусульманам, таким, как его родители. Организацию моджахедов запретили

после конфликтов с исламским режимом, апогеем которых стала кровавая демонстрация с последующим арестом и массовыми казнями многих сторонников организации. Поскольку у моджахедов имелось оружие, те принялись мстить и взорвали штаб-квартиру Исламской республиканской партии; взрыв унес жизни более восьмидесяти человек, в том числе высокопоставленных чиновников и лидеров режима. Вскоре после этого лидеры Моджахедин-э Халк бежали из страны, как и первый президент Ирана Абольхасан Банисадр.

Прошло чуть больше года после революции, и Саид с Фарибой очутились в подполье. Они переехали из Исфахана в Тегеран. Внезапно их объявили в розыск, так что они днями и ночами прятались в разных конспиративных домах. Саид занимал в Моджахедин-э Халк высокую должность. От природы гибкий и уступчивый, он был нестигаем, когда речь заходила о его организации, а та вскоре стала столь же кровавой, как и сам исламский режим, и была в ответе за многочисленные взрывы и убийства чиновников и людей, сотрудничающих с новым режимом. Родственные чувства не смогли разрешить наши разногласия, а революции это удалось: хоть мы и не очутились по одну сторону баррикад, враг у нас был общий. Некоторые религиозные родственники Саида, в том числе его кузены и дяди, с которыми он жил, теперь считали его неверным и полагали, что он

заслужил страшную кару, которую режим уготовил его товарищам. Судьба сыграла с ним злую шутку: те самые безбожники-декаденты, те самые неверующие друзья и родственники теперь выходили с ним на одни и те же демонстрации и боялись тех же ружей; именно они приютили его в своем доме.

В Тегеране Саида и Фарибу на несколько месяцев поселили у себя наши близкие друзья, супружеская пара. Как и мы, эти друзья были неверующими, а жена к тому же выступала против идеологии и тактики Моджахедин-э Халк. Но такие тогда были времена, когда раскрывался характер каждого, а доброта и сплоченность обнаруживались в самых неожиданных местах, и близкие отношения внезапно устанавливались с почти незнакомыми людьми, которые придерживались противоположных взглядов, но с риском для жизни пускали в свой дом чужих.

В нашем доме они провели две ночи. Саид стал более терпимым к критике и, пожалуй, более меланхоличным, чем прежде. Всю свою жизнь он избегал «буржуазной одежды», но теперь из-за необходимости скрываться всегда носил костюмы, чтобы не быть похожим на моджахедов, которые носили длинные рубашки поверх брюк. Помню светло-коричневый костюм, подчеркивающий его медово-карие глаза, красоту которых не могли скрыть даже толстые стекла очков. Рядом с ним

сидела Фариба, подтянутая и чопорная, как недавняя выпускница школы, все еще немного неуклюжая, еще не нашедшая свой стиль в одежде. На ней была светло-зеленая плиссированная юбка, белая рубашка с длинными рукавами и яркий шарф, из-под которого немного выглядывали волосы. Она красила губы светло-розовой помадой и иногда кусала их, будто хотела стереть помаду, хотя на самом деле нет.

Моя мать никогда не питала теплых чувств к членам отцовской семьи, но тут вдруг преисполнилась сопереживания. Помню, как она приносила нам турецкий кофе на подносе — четыре чашки, для Саида, Фарибы, Биджана и меня. Они подыгрывали ей и, выпив кофе, переворачивали чашки, чтобы она погадала им на кофейной гуще. «Вас ждет долгое путешествие в далекие края, — говорила мать. — Подойдите, не бойтесь, я же вам как мама. Видите эти черточки у кромки? А эту фигуру? Верблюд. Вы куда-то поедете, — повторила она. — Вас ждет безоблачное будущее! Видите, с этой стороны чашки все чисто? Тревоги лишь на той стороне, но на другой — ничего. Твоя чашка пристала к блюдцу, — сказала она Фарибе. — Это означает или богатство, или любовь. И у меня предчувствие, что в твоём случае — любовь». Они неловко рассмеялись, и Фариба нервно вытянула руку и взяла с тарелки маленькое печенье.

Это был наш последний совместный вечер. Наутро мы попрощались на спиральной лестнице, пожали друг другу руки, игнорируя запрет на прикосновения к человеку противоположного пола (даже двоюродным братьям и сестрам это было запрещено). Рукопожатие получилось неловким, каким-то сухим. Потом они спустились вниз, а я стояла, глядя, как они исчезают в витках спирали и вновь появляются на следующем пролете. Хлопнула входная дверь, и они вышли на улицу, похожие на сироток из страшной сказки, что жмутся друг к другу, почти касаясь, — он в рубашке цвета слоновой кости и она в пестром платке. Мы больше их не видели.

«Предметы тоже умеют плакать», — говорит Эней у Вергилия. Я записала это, как записывала многие другие слова и фразы, что западали мне в душу. Сейчас передо мной лежит свидетельство о рождении грязно-коричневого цвета; с него смотрит фотография. Темный шарф, ни тени улыбки на лице — это Фариба. Однако в свидетельстве указаны другие имя и фамилия: ее звали Фариба Мороват, она была замужем за Саидом Нафиси, но согласно свидетельству, ее зовут Фереште Багери и она замужем за Абдолой Саидипуром. Это подделка. Дата рождения — 1956 год, дата вступления в брак — 1975, дата смерти — не заполнено. Как оно оказалось у меня? Я уже не помню. Я нашла

его, когда просматривала дневники и заметки, привезенные из Тегерана. О чем плачет это свидетельство?

Почти два года родители Саида и Фарибы раз в месяц приезжали в Тегеран, ходили в тюрьму Эвин и наводили справки. Если бы Саиду с Фарибой удалось бежать из страны, они сообщили бы



Свидетельство о рождении

об этом родным, поэтому у родителей не было причин сомневаться в том, что сказали власти: их арестовали. Я помню эти приезды. Родители обычно останавливались в маленькой гостинице. В назначенное время садились в такси и ехали в тюрьму. Там ждали несколько часов, и им сообщали, что ничего нового о детях не известно. И пока других новостей не появлялось, оставалась надежда. Но если они живы, почему не позвонят домой? Дни проходили в тревоге. Люди вышли на улицы. Моджахедин-э Халк оказалась вне закона, каждый день людей арестовывали и убивали.

Убили многих моих родственников и друзей; кто-то бежал из страны.

Через восемнадцать месяцев родителям Саида и Фарибы сказали, что в начале осени 1982 года их детей заметил революционный патруль. Их убили в уличной драке с исламской народной дружиной. Мать Фарибы отказывалась в это верить. Твердила, что с ребятами все в порядке, что они в безопасности, но не хотят навредить своим родным, так как их телефоны прослушиваются.

Скорбеть по жертвам режима официально запрещалось, и семья в Исфахане провела для Саида и Фарибы закрытую траурную церемонию. Двое моих дядей и кузен отказались приносить соболезнования, а один позвонил родителям Саида и поздравил их со смертью сына. «Они заслужили смерть, так как были неверными, за что справедливо наказаны; возможно, в загробной жизни их ждет прощение и спасение от преисподней», — сказал он. Позднее, когда абу Торабу, который прежде славился потрясающей памятью, диагностировали болезнь Альцгеймера, одна из его внучек говорила, что он просто решил забыть о смерти Саида и Фарибы. Он сохранил веру в Бога, но пожертвовал памятью.

Не прошло и двух лет с тех пор, как мой кузен Маджид штурмовал тюрьму, и он тоже оказался в бегах. Его сестру Нушин, ее мужа Хусейна и жену

Маджида Эзатт арестовали. Хусейна казнили. Казнь Нушин отложили, так как она была беременна. Я хорошо помню день, когда в дом моего брата принесли Чешмех, маленькую дочку Нушин. Мои дядя с тетей приехали в Тегеран ее забрать; ей был годик, она не говорила. Ее мать, художница, положила ей в карманы маленькие раскрашенные камушки. Через несколько лет Нушин попала под амнистию, ее освободили. Она рассказывала, что, когда утром ее вызвали, чтобы сообщить об амнистии, она думала, что ее, возможно, позвали на казнь.

Жену Маджида Эзатт казнили. Ей было всего двадцать четыре года. Маджид пишет, как бродил по городу после ее ареста, по тем улицам, где они с товарищами совсем недавно чувствовали себя победителями. Теперь Эзатт сидела в той самой тюрьме, которую они с Маджидом торжествующе захватили в феврале 1979 года. После казни Эзатт похоронили на особом кладбище для политзаключенных и меньшинств — кладбище неверных, тела там кидали в безымянные могилы. Маджид ходил туда с ее отцом, и тот сказал, что пометил могилу особым способом: отмерил восемь шагов от калитки и шестнадцать от ограды. Ее казнили и похоронили в общей могиле с двумя женщинами и пятьюдесятью мужчинами. Я некоторое время хранила копию ее завещания в ящике стола и иногда доставала его и перечитывала. Потом потеряла

и нашла уже позже, в рукописи Маджида. Вот что она написала:

Имя: Эзатт Табиян

Отец: Сайед Джавад

Номер свидетельства о рождении: 31171

Здравствуй,

Жизнь прекрасна и желанна. Как и другие, я люблю жизнь. Но приходит время, когда необходимо с нею попрощаться. Для меня этот момент пришел, и я ему рада. Мне нечего оставить потомкам, я лишь хочу сказать, что красоту жизни невозможно забыть. И те, кто остался, — живите полной жизнью, берите от жизни все.

Мои дорогие мама и папа,

Пока я была жива, вы много страдали, чтобы вырастить меня. В свой последний час я буду вспоминать мозолистые руки отца и мамино уставшее после работы лицо. Знаю, вы делали все, что могли. И все же пришло время разлуки. Это неизбежно. Я люблю вас больше жизни и целую, хотя не могу видеть ваши лица. Тепло обнимаю сестер и братьев. Поцелуйте их от меня. Я их люблю. В мое отсутствие, прошу, не страдайте из-за меня и не будьте к себе суровы. Живите как обычно, с любовью и нежностью. А всем, кто будет обо мне спрашивать, передайте мое почтение.

Мой дорогой муж, привет,
Я прожила короткую жизнь, а наш с тобой брак был
и того короче. Жаль, что у нас не было больше времени.
Но к чему сожалеть о том, чего не будет. Пожимаю тебе
руку и помню обо всех, кого любила, люблю и буду любить.

Прощай,
7 января 1982 года,
Эзатт Табиян.

Пишу об этом времени и вспоминаю отца: как он зачитывал строки из «Шахнаме» о завоевании Персидской империи арабской армией в седьмом веке. Воин Ростем, сын Гормозда, произносит проникновенную речь, предсказывая результаты битвы при Аль-Кадисии. «Кто сказал, что настоящее не предопределено прошлым?» — спрашивал отец. Он подчеркнул несколько строф в книге; я их совсем не помню. Но мне запомнились другие:

Когда прославят с каждого мимбара
Деянья Абубекра и Омара,
Престол, корона, стяг падут во прах
И свергнут будет горделивый шах,
Оплот Ирана рухнет, ставши слабым,
Сулят светила счастье лишь арабам;
И будет этих пришлых часть одна
В одежды черные облачена...

*Р*вать будут друг у друга, расхищать...

На все падет проклятия печать.

Всеобщей злобой души развратятся,

И, как гранит, сердца ожесточатся...

Не слышно будет праздников нигде,

Лишь козни будут строиться везде.

И лихоимство процветет без меры,

И жадность — под покровом правой веры.

На пир весны не принесут вина,

Не зазвучат ни флейта, ни струна.

Век наступает гибельный, проклятый,

Погибнут благородные азаты.

Пойдет грабеж, бесчинства; вновь и вновь

Из-за имуществ польется кровь²⁶.

Маджид скрывался от властей, потом уехал из страны. Осел в Лос-Анджелесе, где жил его старший брат Хамид. Не писал стихи с начала 1970-х, то есть с тех пор, как занялся политикой, но снова вернулся к поэзии через три дня после смерти Эзатт, отправившись с друзьями в горы Эльбурс, чтобы почтить ее память. Вечером, сидя у своего брата Мехди и проливая слезы, он начал писать цикл из девяти стихотворений, посвященных Эзатт. «Я хотел отомстить за твою смерть, — пишет он. — Хотел, чтобы ты была рядом. Ты зывала

²⁶ Пер. В. Державина.

ко мне через муз. Я обернулся и сказал Мехди: теперь я понимаю, зачем первые люди рисовали буйволов в пещере Альтамира».

Отец уходит

Летом 1982 года отец ушел от матери — в этот раз навсегда. Она потеряла Саифи, дядю и мать, но никогда не думала, что потеряет отца. Помню день, когда я застала их на кухне. На ней был старый розовый халат, а он стоял, приставив к горлу нож, и грозился себя убить. Позже она использовала этот случай против него; мол, еще одно доказательство, что он ненормальный, он не владеет собой. Она не замечала, как доводит его, меня и брата — а все мы были совершенно нормальными людьми — до грани отчаяния. Я уже не помню, о чем они спорили. Да это было и не важно. Они повернулись ко мне; оба хотели, чтобы я засвидетельствовала, что они делают друг с другом. «В последний раз я терплю это унижение», — сказал он. «Унижение! — прокричала она. — Да чтобы мужчина твоего возраста вел себя так? Грозил мне ножом?» «Не тебе, — раздраженно ответил он. — Не тебе. Себе».

После бесчисленных скандалов ему удалось выторговать себе отдельную комнату (последнее унижение, говорила мать), якобы потому что он не спал по ночам и беспокоил ее, так как она просыпалась при любом шорохе. Каждый вечер, когда мать ложилась спать, отец подолгу говорил по телефону с Зибой-ханум. Позже мать критиковала его за его инфантильное поведение. «Ведет себя как юнец, — говорила она. — То влюбится, то разлюбит. Совсем стыд потерял, в его-то возрасте. Семидесятилетний старик!» Отцу было не семьдесят, а шестьдесят два, но с матерью всегда было так: если факты ей мешали, она ими пренебрегала. И все же она была права, он действительно вел себя как юнец, хотя она тоже. Прерванные отношения не дают нам вырасти; чтобы повзрослеть, необходимо преодолеть некий рубеж. После смерти Саифи время для матери остановилось, а отец так и не смог распрощаться с юношеской мечтой и до сих пор вел себя как двадцатилетний парень, который вот-вот женится на девушке из своих грез. Она же навек осталась юной брошенной невестой.

На следующий день отец ушел. До этого он уже грозился уйти и даже пару раз осуществлял угрозу, но через два-три месяца возвращался. Несколько раз они соглашались развестись, но потом она передумывала, и он возвращался. Постепенно она стала рассчитывать, что он вернется, что бы ни случилось, ведь на самом деле она никогда

не хотела с ним разводиться. Прошло пятнадцать лет со дня, когда он написал в дневнике, что боится лечь в могилу, так и не познав настоящей любви. Мать воспринимала их ссоры как необходимые ритуалы; для него каждая была смертельным ударом. Как часто бывает в парах, она принимала его как нечто само собой разумеющееся — и зря.

Почему он ушел именно в этот момент? Поступил бы он так, если бы не случилась революция? В дневниках он пишет, что хотел уйти много раз, но всякий раз его что-то останавливало: сначала дети были слишком маленькие; потом он стал успешным общественным деятелем, и казалось неправильным бросать женщину, которая разделила с ним трудные времена; в тюрьме ему было не до развода, а потом он решил, что поступит неблагодарно, если уйдет от супруги, которая страдала, пока он сидел за решеткой. Если бы он развелся до революции, то стал бы изгоем в социальной группе, к которой они с матерью принадлежали. Другой человек не придавал бы этому значения, но для отца это было важно. Он хотел, чтобы окружающие считали его порядочным человеком, и поэтому оказался в ловушке. Ведь порядочные люди не бросают жен. Лишь после Исламской революции и разрушения прежнего общественного порядка он осмелился решиться на то, на что не решился пятнадцать лет назад.

Он давно это планировал. Вскоре после нашего с Биджаном возвращения из Америки он продал дом и построил трехэтажное здание с тремя отдельными квартирами: одна для брата, одна для матери и одна для меня. Он решил так: я заботился о ней много лет, теперь ваша очередь. Брат в свою квартиру так и не въехал. Они с Шахран снимали жилье в Тегеране, а в 1986 году переехали в Англию. Я же безропотно сделала то, о чем меня просили. Мне не хватило смелости отказать отцу, хотя Биджан был категорически против, чтобы мы жили в такой близости от матери. Он считал, что расстояние не мешает нам о ней заботиться. Но мы все же поселились рядом, и квартиры были спроектированы таким образом, что можно было легко попасть из одной в другую. Кухня и коридор выходили на внутреннюю лестницу. Если я запирала эти двери, следовали бесконечные скандалы; таким образом, мать всегда могла войти к нам, даже когда нас не было дома.

Тридцать лет я сочувствовала отцу и надеялась, что однажды он заживет счастливой жизнью с кем-то, кто будет его ценить. Я не думала о матери и о том, что с ней станет. Теперь он ушел, и мне внезапно стало ее жалко, как никогда раньше. Когда я сердилась на нее и упрекала, что она сломала нам жизнь, сторонний наблюдатель — Биджан или Шахран — замечал: «Все не так, как тебе кажется». «Твой отец — обаятельный человек, —

говорил Биджан. — Мать его достала, но он пользуется своим обаянием, чтобы оправдать дурные поступки».

Шахран, ставшая моими вторыми глазами, разглядела в матери то, что я раньше редко замечала. «Ты не ценишь ее честности, — говорила она. — Всю жизнь она видела от самых близких людей лишь пренебрежение и ложь. Все началось в доме ее отца, но по-настоящему трагично то, что даже Саифи, ее идеальный первый муж, лгал ей, скрыв свою болезнь. Я люблю твоего папу и с ним мне больше нравится проводить время, но мое сердце на стороне твоей матери».

Мама вдруг осталась совсем одна. Революция отняла у нее ближний круг единомышленников и женские свободы, а без мужа, который десятилетиями играл роль отца семейства, распорядителя, бухгалтера и друга, у нее не осталось защитников. Муж мог уйти и начать новую жизнь с женщиной намного моложе него, а у нее не было такой возможности. «Жаль, что я не родилась мужчиной, — десятилетиями повторяла она. — Я всегда хотела продолжить образование, пойти учиться в медицинский институт». Отец часто жалел, что не поощрял ее искать работу; тогда она была бы намного счастливее. Карьера парламентария была временной и только сильнее ее озлобила. Она осталась наедине со своей гордостью, гневом и чувством, что с ней обошлись несправедливо.

Встали ли мы хоть раз на ее сторону? Сочувствовали ли ей?

Когда отец ушел, мать еще некоторое время не догадывалась о происходящем и делилась своими обидами с Зибой-ханум. Проклинала отца в ее присутствии и твердила, что уверена, что эта шлюха Шахин вернулась в его жизнь. Но скоро тайное стало явным. Зибба развелась с мужем и перестала приходить к матери. Позже мать обижалась на нас, что мы скрывали от нее правду, а мы виновато отрицали, что знали об их романе.

Когда отец ушел, нас накрыла звенящая тишина, как после мощного взрыва. Каждый день вокруг нашего дома образовывались новые кратеры тишины, в которой постепенно зазвучало все, о чем я не могла спросить вслух. Мне не давали покоя те же вопросы, что и матери: а если бы она родилась мужчиной? А если бы продолжила образование? А если бы не вышла замуж? А если бы не перестала танцевать?

В 1982 году у Мохаммада и Шахран родилась дочь Санам. Родилась на два месяца раньше срока; врачи не знали, выживет ли она, и когда мне об этом сообщили, я не хотела ехать в больницу; думала, что если я не поеду, то смогу каким-то образом предотвратить вред. Когда я наконец явилась, то увидела брата. Тот проводил меня в палату, где его дочь лежала под аппаратом ИВЛ. «Наша

храбрая малышка, — сказал он. — Она держится. Она очень упорная». Так она появилась на свет, упорная и торопливая, и осталась такой и потом. Всякий раз, когда я смотрела на эту крошку, мое сердце разбивалось на тысячу кусочков — так я ее любила. Мы с ней очень сблизились. Помню, однажды — ей тогда не было и двух лет — я вела ее за руку по длинному извилистому коридору мимо родительской спальни, библиотеки, комнаты бабушки и ее собственной комнаты в конце коридора; вела и рассказывала истории, а она слушала очень внимательно, склонив голову, сосредоточенно разглядывая пол и крепко держа меня за руку. Войдя в палату, где лежала Шахран, мы с Мохаммадом увидели там моих родителей и ее мать; та над ней хлопотала. Родители не скрывали своих чувств друг к другу. Мать время от времени бросала на отца гневные взгляды, которые тот пытался игнорировать, глядя в другую сторону. «Опять они за свое, — подумала я. — В любой ситуации всегда важнее всего их скрытое противостояние».



Отец с Санам
и маленькой Негар

Два года спустя, в январе 1984 родилась наша дочь Негар. «Открыла глазки!» — последнее, что

я услышала перед тем, как потерять сознание; это сказал мой врач. Он держал ее за шкурку, как котенка; она широко раскрыла глазки и внимательно разглядывала все вокруг, и я запомнила эту картину, прежде чем погрузиться во тьму. Вечером накануне отъезда в роддом позвонил отец. Мать была у нас и взяла трубку. «Ах ты ублюдок! — закричала она, и я поняла, что звонок от отца. — Это вас, мадам, — произнесла она изменившимся тоном и протянула мне трубку на вытянутой руке, как грязную тряпку. «Я уже не имею права звонить дочери», — проговорил отец обиженно и устало. Мы толком не побеседовали. Это было невозможно, пока мать рядом перечисляла его грехи и разглаговльствовала о моей неблагодарности.

Когда Негар исполнилось три месяца, я как-то раз стала переодевать ее после кормления, и она, лежа на моей кровати, посмотрела на меня со смесью озорства и серьезности. И тут меня вдруг осенило: она — мой дар. Открывшись ей, я открылась и себе; осознала, что, если это чудесное существо всецело зависит от меня и так меня любит, я не могу быть плохой. Когда родился мой сын Дара — он появился на свет 15 сентября 1985 года — возобновились бомбежки Тегерана. Несколько месяцев перед его рождением я провела в страхе, что с ним будет что-то не так. Я слыхала, что, если мать сильно волнуется, ребенок может родиться умственно отсталым или парализован-

ным. И я стала тревожиться из-за своей тревоги. Когда во время бомбежек отключали электричество, я ночами не спала и читала при свечах книгу за книгой; чередовала Рэймонда Чандлера с Генри Джеймсом, Садега Хедаята с Бахрамом Садеги, и накрывала рукой живот, будто моя ладонь могла помешать ребенку видеть и слышать происходящее во внешнем мире. Ни с того ни с сего меня охватывал непреодолимый страх. Что, если он родится мертвым?

Помню, однажды ночью мне вдруг показалось, что у меня сердечный приступ. Стало трудно дышать, но в тот момент я почему-то подумала не о муже, спавшем рядом, а о матери. Взяла свечу и спустилась вниз (дверь в ее квартиру со стороны внутренней лестницы всегда была открыта, когда она была дома). Я не стучала, просто вошла и разбудила ее. Она позвонила кардиохирургу, своему кузену — седьмая вода на киселе, разбудила его, описала симптомы. Вернулась со стаканом воды и таблеткой валиума. «С тобой ничего не случится, — успокоила меня она. — Прими это, ребенку ничего не будет, а тебе полегчает».



*Мы с Биджаном
и Негар на побережье
Каспийского моря*

Она села рядом и стала массировать мне спину. Я спросила: «Мам, а вдруг с ребенком что-то не так, вдруг он уже умер?» Мать громко рассмеялась. «С ребенком не может случиться ничего, если с матерью все в порядке. Давай о тебе позаботимся». Она уложила меня в свою постель и заставила спать там, а сама легла в изножье на полу на легком матрасе.

Рождение Дары положило конец моим страхам. Война продолжалась еще три года, и в последний год, когда Тегеран бомбили постоянно, а многие уехали, мы остались. Бомбардировки уже никогда не вызывали у меня такого сильного страха и тревоги, как в годы до рождения Дары. Вопреки моим зловещим предчувствиям, Дара родился не только здоровым, но очень ласковым и спокойным («Прямо как Мохаммад, — говорила мать. — Такой кроткий ребенок!»). Мы так привыкли к его безмятежности, что всегда удивлялись, когда он начинал горячо на чем-то настаивать. Примерно в два года он разглядывал книжки с картинками и всегда хотел или очутиться внутри книги, или «достать» из нее определенные предметы. Особенно ему нравилась луна. Он не давал мне перевернуть страницу и все показывал на луну и говорил: «Ма, ма!» Мне кажется, они и сейчас не слишком изменились: Негар с ее бесконечным любопытством и Дара, втайне мечтающий поймать луну.

Размышляя об отцовской мечте о счастливом браке, я часто вспоминаю популярный мотив из художественной литературы: о том, как реальность порочит наши мечты, как мы сами превращаем их в отчаянную одержимость и ради них жертвуем своим достоинством, хотя именно к нему стремимся, следуя за мечтой. Если бы отец не бросил мать, его личная жизнь со стороны казалась бы трагедией, но он сделал этот шаг и упустил свой шанс, а вместе с ним потерял и доброе имя. Он слишком поздно ушел от нее и сделал это самым некрасивым образом. Родители утверждали, что не хотели выносить свои проблемы на всеобщее обозрение, но мать скандалила в присутствии незнакомых людей, а отец протестовал и жаловался всем подряд, поэтому все о них сплетничали и предполагали разное. «Другие мужья каждый день бросают жен, — сетовал он, — и даже продолжают с ними дружить, но я никогда не освобожусь от Незхат; я вечно буду ее рабом».

Помню день, когда он с волнением сообщил, что у него для меня сюрприз. Мы ехали в отель «Индепенденс», бывший тегеранский «Хилтон». Там нас встретила Шахин; она была роскошно одета и весела. Я слегка оторопела, ведь я знала, что он планировал жениться на Зибеханум. Отец объяснил, что Шахин с мужем все это время были в Лондоне. Тонем, полным сочувствия и понимания, он добавил, что ее муж был ужасным

человеком, он промотал состояние, играя в азартные игры, и совсем не давал ей денег, потому что боялся, что если они у нее будут, то она его бросит. Теперь она жила в квартире в Тегеране, а муж почти все время проводил за границей.

В последний раз мы виделись почти двенадцать лет назад, и теперь мне были уже не интересны псевдофилософские беседы о материализме и духовности. Мне гораздо больше нравилась простая Зиба-ханум: та не претендовала на интеллектуальность, а ее желание обладать отцом было искренним и шло от сердца. К тому же, Зиба-ханум доказала, что ценит его. Ради него она разрушила свой брак, а когда за отцом охотилась революционная дружина, спрятала его у себя и сама отвезла в революционный суд. Я слышала, как срывающимся от чувств голосом она рассказывала, как часами ждала его в машине со слезами на глазах, не зная, что с ним будет. Я никогда не замечала таких эмоций у Шахин. «Она слишком самодовольная», — сказал Биджан, когда с ней познакомился; а чем там быть довольной, он не понимал. Однажды отец подвозил меня домой и спросил будто бы в шутку: «А тебе кто больше нравится — Шахин или Зиба?» Меня потряс этот вопрос, и я даже ужаснулась, что он меня об этом спрашивал. «Не знаю, они совсем разные», — ответила я. Мне захотелось спросить, зачем он спрашивает, разве он уже не решил жениться на Зибе? Но я ничего не ответила,

и он не стал форсировать тему. А через несколько недель порвал с Зибой. Я была потрясена; позже спросила его, зачем он это сделал, и он ответил, что она слишком ревновала его к детям.

После этого отец возил меня и детей домой к Шахин, когда ее муж был в отъезде (а он все время был в отъезде). Мы ели и рассматривали одежду, сшитую по ее дизайну. Тогда вошли в моду домашние показы частных модельеров; особой популярностью пользовались наряды с традиционными персидскими мотивами. Я купила у нее несколько вещей и чувствовала себя немного виноватой. Поначалу отец заплатил за ее показ, потом Шахин и ее мать купили маленькую квартиру, и он оплатил им мебель для спальни в качестве подарка на новоселье. Мне он говорил, что ужасный муж Шахин ее угнетает, держит в четырех стенах, как пленницу, не позволяет проявить талант. Отцу всегда нужны были оправдания для его отношений. С матерью это была ранняя смерть бабушки, жестокая мачеха, покойный муж; с Зибой — равнодушие ее супруга; с Шахин — муж-игрок, распутный равнодушный отец, брат-наркоман, мать («Такая же, как у тебя, — с победоносной улыбкой сообщал он мне. — Вы с Шахин так похожи»), которая тоже больше любит сына, чем преданную дочь.

У матери имелся целый длинный список претензий. Во-первых, она говорила, что развод незаконный: мол, она на него не соглашалась. «У него

друзья в верхах, — твердила она. — Он в сговоре с правительством, ему помогли подделать документы о разводе». Отец же настаивал, что развод был оформлен в ее отсутствие. Ей неоднократно присылали судебные повестки, а она их все проигнорировала, включая последнюю, где сообщалось, что если она не явится в суд, положительное решение о разводе будет вынесено автоматически. Представляю, какое унижение она испытала: собственный муж вызвал ее в суд.

Зато они никогда не спорили о деньгах. Мать обвинила отца, что тот не заступился за нее, когда они с мачехой боролись за наследство ее отца; когда он сидел в тюрьме, она донимала его в связи с финансовыми трудностями, но никогда не сомневалась в его честности. Она доверила ему свои деньги и никогда не спрашивала документы или акты на землю. Мои родители с презрением относились к деньгам, и это отношение передалось нам с братом. Мы краем уха слышали, что мать унаследовала землю, и с прошествием времени земля поднялась в цене и ей удалось выгодно ее продать. Знали, что отец купил виллу на Каспии из своих денег, а позже — два острова в складчину с друзьями и несколько акров земли на берегу Каспийского моря вместе с дядей. Когда он вышел из тюрьмы, ему пришлось продать часть имущества, чтобы расплатиться с долгами. Позже он занялся бизнесом и заработал намного

больше, чем во время службы в правительстве. Мы с братом знали, что родители оформили на нас почти всю недвижимость и землю, в том числе большую квартиру в одном из самых престижных районов Парижа. Мать считала, что все должно быть записано на нас, так как, по сути, нам и принадлежит. Я не переставала удивляться этой женщине: она не хотела давать мне свою любимую вазу, боясь, что я ее разобью, но доверяла нам всю свою собственность. Впрочем, после революции это было более чем благоразумно. Родители все равно не могли ничего продать от своего имени, а часть недвижимости на Каспии реквизирует исламский режим.

Отец оставил матери квартиру, которая была записана не на нее (она не уставала нам об этом напоминать). Он присылал ей маленькое ежемесячное содержание. И это было еще одно унижение — находиться на содержании, зависеть от отцовской щедрости. Она впервые потребовала документы на собственность. Отец объяснил, что всю жизнь был ее бухгалтером, забрал свою долю, а матери оставил все ей причитавшееся. Он присылал письма, в которых подробно перечислялись покупки и траты, и настаивал, что не взял ничего лишнего. И вместе с тем он заставил нас выписать ему доверенность на продажу квартиры во Франции, причем на остальное имущество у него тоже имелась доверенность. Мать винила нас с братом,

что мы ее не защитили, а после отъезда брата обвиняла одну меня — мол, я сговорилась с отцом, и мы украли все ее деньги. Хотя я ей сочувствовала и впервые в жизни искренне соглашалась, что ее недовольство оправдано, я не могла забрать у него доверенность. Мне просто не хватало духу.

Отец вел себя осторожно и поддерживал с нами постоянный контакт. Звонил почти каждый день, обычно с работы. Помимо еженедельных визитов, он иногда заходил после обеда или по выходным, когда мы водили детей в парк. Когда Негар было три года, он купил ей канарейку. Она утверждала, что когда приходил *бабай* (так она называла отца), он насвистывал, а птичка щебетала в ответ. Однажды утром она увидела, что птица умерла, и плакала весь день и ночь. Это случилось сразу после персидского Нового года. Отец отвел Негар в сад, и они похоронили канарейку под его любимым розовым кустом. Он пообещал купить ей новую, но ночью она разбудила меня и сказала: «Не нужна мне ни канарейка, ни другие животные: они все умирают».

Помню один холодный день в самом начале весны; наш сын Дара плачет — редкость для него — и топает ножками: я пытаюсь уговорить его надеть легкую куртку. Негар в красной вязаной курточке с маленькими желтыми цветочками (ее связала маман Несси — так мои дети звали мать) послушно стоит, готовая выходить, и смотрит на Дару, точно

говоря: посмотри на меня, я не капризничаю, я готова идти гулять! Отец говорит: «Я почти никогда не видел, чтобы он плакал». «Он хочет костюм Зорро», — говорит Негар. Зорро? Оказалось, кто-то в детском саду пришел в таком костюме. Дара — спокойный мальчик, он невозмутимо делится игрушками, но иногда как воспыхает страстью: к футболу, красным сапогам, отцовской трубке, луне. И тогда в нем словно поселяется маленький чертенок, мягкие пухлые щечки взволнованно раздуваются, глаза блестят, и он всем своим существом тянется к объекту своего желания.

«Он просто избалованный мальчишка», — фыркаю я. Его няня Тахмине терпеть не может, когда он плачет; у нее самой уже глаза на мокром месте. «Ну тихо, тихо», — бормочет она и ласково застегивает пуговицы на его курточке (еще один подарок маман Несси — темно-синяя, с вывязанной на правой полочке красной собачкой и двумя кармашками, которые Тахмине-джун уже набила конфетами). «Я сошью тебе костюм Зорро, — говорит она. — И костюм Супермена. Вот подожди, через пару дней вместе сходим за тканью».



*Двоюродная сестра
моих детей Санам,
Дара и Негар*

Скоро Дара успокаивается, и они с отцом заговаривают про Супермена и Зорро. «Когда вырасту, хочу быть как они», — говорит Дара. «Но почему Зорро? — недоумевает отец. — В Иране много своих великих героев. Ты разве не хочешь походить на Ростема или Каве? — спрашивает он. — Знаешь, кто такой Каве? Он спас Иран от страшной тирании Зохака. Когда ты родился, я надеялся, что тебя назовут Каве».

Дара отвечает: «Мне не нравятся иранские герои, они обижают маму. У них пистолеты, и они хотят нас убить». Отец, кажется, в шоке. «Так было не всегда, — тихо произносит он. — В детстве твоя мама могла ходить куда угодно и делать что угодно». «Тогда я хочу, чтобы сейчас было, как тогда», — говорит Дара, и мы не продолжаем эту тему.

Думаю, причиной поведения Дары стал один случай, произошедший несколькими неделями ранее. Был национальный праздник, мы с Биджаном решили отвезти детей в горы, в деревню Дараке в окрестностях Тегерана, находившуюся примерно в двадцати минутах от нашего дома; там был легкий маршрут. Мы прекрасно провели время, дети пели, Биджан шутил, мы ели кебабы и сидели на улице, хотя было прохладно. Счастливая семья.

На спуске мы с Негар пошли впереди. Дочь рассказывала историю о приключениях хвастливого петуха, и тут я услышала крик:

— Эй, хеджабето дорост кон! («Эй, поправь платок!») — Я обернулась и увидела молодого человека, который шел прямо за нами, очень близко. Я не обратила на него внимания, крепко взяла Негар за руку и ускорила шаг. — Ты не слышала? Убери волосы под платок.

Негар испуганно взглянула на меня.

— Не обращай внимания, — сказала я. — Просто иди дальше.

— Эй, ты! Глухая, что ли? — огрызнулся дружинник.

— Я не глухая, — медленно проговорила я. — Но это мое личное дело, как мне носить платок. — Не знаю, что на меня нашло. Иногда я сама не понимала, зачем не подчиняюсь правилам. Почему бы не промолчать и не сделать так, как мне велят?

— В этой стране шлюхам не рады, — фыркнул он. — Не слышала, что ли, была революция?

Тогда я закричала. Биджан и Дара ускорили шаг и нагнали нас. Биджан — очень спокойный человек, никогда не теряет хладнокровия и достоинства. Он много раз говорил, что я должна принять текущие обстоятельства, понять, в какой стране мы живем, и иначе выражать свое несогласие. Из-за этого мы ссорились, я обвиняла его в нечувствительности, в отсутствии сопереживания женской беде, а он отвечал совершенно спокойно — отчего мне хотелось кричать громче, — мол, я веду себя инфантильно и неразумно и вижу только плохое.

Он не меньше моего ненавидит этих бандитов-дружинников, но Ази-джан, что поделать, это наша страна. Я люблю эту страну и принимаю все хорошее и плохое, что в ней есть, пытаюсь изменить плохое. Однако в этот раз Биджана покинула его рассудительность. Повернувшись к дружиннику, он закричал:

— Да как ты смеешь?

— Пристыди свою жену! — презрительно ответил дружинник. — Твоя обязанность — держать ее в узде! — («Неуправляемые» женщины считались ответственностью их родственников-мужчин.) Тут Негар, Дара и я отошли в сторону и стали смотреть, как мой спокойный муж слетает с катушек.

— Пойдем в комитет, — наконец сказал дружинник. Порядочные граждане должны были исполнять свой религиозный долг, сообщая властям о нарушениях морали; такое поведение всячески поощрялось режимом. Местный революционный комитет располагался в конце горного маршрута в деревне Дараке, рядом с парковкой. Дружинник воинственным шагом шел впереди, а мы с Биджаном тащились сзади, держа за руки детей. Путь казался бесконечным. В какой-то момент Дара заплакал, Негар подхватила; оба скорее тащились, чем нормально шли, нам приходилось тянуть их за собой. Мы с Биджаном спорили, а посетители чайных и ресторанов, что попадались нам на встречу, выходили на улицу, подбадривали нас

и отпускали неодобрительные возгласы в адрес нашего сопровождающего.

Мы шагали по деревне, а лавочники и прохожие присоединялись к протестному маршу: «Отпусти их, отпусти! — скандировали они, проклиная дружинника и подбадривая нас. — Посмотри, что вы сделали с исламом! Ты называешь себя мусульманином, а сам как обращаешься с тварями Господними?» За процессией увязались несколько мальчишек, злорадно улюлюкая, пока мы не дошли до дверей в комитет. К нашему облегчению, на месте никого не оказалось.

Нам повезло: все уехали в город на большую демонстрацию.

— Стойте здесь, я сейчас приду, — сказал дружинник. Мы постояли несколько минут, а потом бросились к двери и побежали к машине. Всю дорогу домой дети плакали на заднем сиденье, а мы с Биджаном твердили, как нам повезло, ведь мы легко отделались. Людей сажали в тюрьму на несколько дней или подвергали порке даже за меньшие преступления. Я повернулась к детям и попросила Негар спеть песенку про петушка. Пыталась шутить с Дарой, но дети притихли и уже не могли веселиться.

Видимо, Дара вспомнил тот случай в горах, когда предпочел Зорро Ростему и Каве. Отец тогда сказал: «Твои дети родились на той же земле, что ты, твой отец, отец твоего отца и все наши

предки. И все мы переживали трудности, плохие времена и хорошие, но никогда не поворачивались спиной к своей стране. Режим может забрать наше имущество, но нельзя позволять ему отнять нашу культуру и веру».



*Негар и Дара
в детском саду*

Всю восьмилетнюю войну иракцы периодически бомбили Тегеран и сбрасывали на нас ракеты. И все это время Биджан исправно ходил на работу, даже если ракета падала рядом с его офисным зданием, причиняя значительный ущерб и выбивая все окна. В подобных обстоятельствах мне казалось самым важным держаться за ощущение «нормальности». Теперь мне проще рассматривать различные события в связи друг с другом, но тогда все казалось нагромождением фрагментов; в отсутствие четкой рутины взаимосвязь терялась.

В 1987 году я снова начала преподавать. Я не преподавала с тех пор, как меня уволили из Тегеранского университета в 1982 году, и все это время писала — главным образом, очерки

о западной и современной персидской художественной литературе. В Тегеранский университет я так и не вернулась — с ним у меня было связано слишком много плохих воспоминаний; я устроилась на работу в Университет имени Алламе Табатабаи, конгломерат из двадцати трех колледжей и небольших университетов, объединенных после революции. По сравнению с другими учебными заведениями этот был более либеральным, а заведующий кафедрой английского языка — блестящим лингвистом, уважаемым в своих кругах и заинтересованным в сохранении высокого качества преподавания. Во время войны занятия проводились нерегулярно, но я преподавала всего два дня в неделю и по большей части все равно сидела дома, писала и готовилась к занятиям.

В последние два месяца перед заключением мира Ирак усилил бомбардировки городов, особенно Тегерана. Иногда на нас падали одновременно шесть ракет. Что делали те, кто оставался в городе? Кто-то строил бомбоубежище в подвале, другие притворялись, что не происходит ничего из ряда вон выходящего, все нормально — и отключения света, и тесные посиделки в одной комнате с друзьями и родственниками, которые зашли в гости, но вынуждены были остаться на ночь, и завешенные одеялами окна, заклеенные скотчем, чтобы не посыпались осколки стекла, и звук сирен

противовоздушной обороны, которые обычно раздавались уже после налета.

Как ни странно, все происходящее казалось почти праздником. Соседи и друзья собирались вместе. В промежутках между отключениями света мы смотрели кино, пили контрабандную водку и домашнее вино и пытались создать ощущение безопасности, возвращая странное чувство близости, возникающее между людьми в чрезвычайных обстоятельствах. Я спала в детской или в маленьком коридорчике, отделявшем нашу спальню от детской. Там не было окон, и когда отключали свет, я читала при свече. Мне хотелось быть рядом с детьми, что бы ни случилось; я сильнее всего тревожилась о том, что не смогу разделить их судьбу. После бомбардировок мать почти всякий раз, в любое время дня и ночи стучалась к нам, заходила и спрашивала: «С тобой все в порядке? Не бойся».

Потом однажды бомбежки прекратились. Гости перестали оставаться на ночь, свечи убрали подальше в ящики. Больше не отключали электричество, сирены ПВО сменились сигналами скорой помощи, но страх никуда не делся: новое ощущение безопасности казалось обманчивым. Мир принес с собой тишину, но та давила на нас не меньше страха перед бомбежками. Иран подписал мирный договор из безысходности, зная, что в войне ему не победить. Аятолла Хомейни, который сулил своим преданным войскам, что

те скоро торжествующе войдут в Ирак и захватят священный город Кербела, сказал, что подписание мирного договора сродни принятию чаши с ядом. Его мечта — распространить его собственную новизну ислама за пределы Ирана — потерпела крах. Восьмилетняя война унесла жизни почти миллиона человек. Война закончилась 20 августа 1988 года, а год спустя, 3 июня 1989 года умер аятолла Хомейни. С восстания 5 июня, благодаря которому Хомейни оказался в центре иранской политической жизни, прошло полвека. И что все это значило для нас?

Что теперь? За ужинами и на кофейных посиделках теперь только и говорили, что о «трансформации режима». Настало время высказать наши разочарования революцией, не оправдавшей ожиданий, коррумпированными лидерами, которые не принесли стране свободу и процветание, проигранной войной. Мирный договор с Ираком перечеркнул надежды тех, кто втайне верил, что война закончится победой исламского режима. Тех, кто чувствовал себя обманутыми не светскими политиками, а бывшими революционерами, тех, кто патрулировал наши улицы с оружием и пытался очистить университеты от нежелательных элементов, тех, кто ушел на войну и вернулся разочарованным калекой. И кто был в этом виноват? Уже не империалисты и не их агенты, стремившиеся модернизировать Иран.

Но, как ни парадоксально, разочарование может таить в себе надежду. Кое-кто из бывших молодых революционеров обратился к новым идеям и начал поддерживать еретические взгляды — Карла Поппера²⁷ и Спинозу. Теперь они критиковали регрессивные религиозные идеи и протянули руку светским интеллектуалам. Они присоединились к движению, позже названному «религиозным реформизмом». Стали тяготеть ко всему, что отвергали в начале революции, — секуляризму, западной философии. Почувствовав себя изгоями в мире, что прежде казался безопасным, они начали искать новых друзей. Светские интеллектуалы, в свою очередь, усомнились в целесообразности своей идеологической негибкости и открылись диалогу и обмену мнениями. Последователи исламского философа Абдолкарима Соруша начали принимать к публикации статьи светских интеллектуалов, в том числе и мои, посвященные модернизму, формализму и Владимиру Набокову. Стали выходить переводы трудов западных либеральных философов.

²⁷ Карл Раймунд Поппер (1902–1994) — австрийский и британский философ, социолог, создатель идеи социального критицизма и открытого общества — общества, в котором индивиды могут открыто критиковать действия своего правительства.

Проблема заключалась в том, что иранское общество сильно опережало своих лидеров, и те, кого режим избрал своей мишенью, особенно женщины, не ушли в подполье, а, напротив, становились все более яркими фигурами общественной и культурной жизни. Я в шутку начала вести учет всего, за что мы должны быть благодарны Исламской республике: без нее мы бы не радовались дуновению ветерка на волосах и коже и теплу солнечных лучей, произведения Вирджинии Вулф или стихи Форуг Фаррохзад не вызывали бы у нас чувство освобождения, мы бы не понимали, какое это счастье — идти по улице в легком летнем платье и слушать музыку. Больше никогда мы не будем принимать это как должное. Но список этим не ограничивался. Исламская республика также побудила нас задуматься о прошлом и начать изучать историю. Даже тем, кто стал мишенью режима, — женщинам, меньшинствам, интеллектуалам, писателям, — нашлось бы за что его благодарить: как бы еще они узнали, что у них есть тайные способности? Если одного лишь женского волоска, фильма Феллини и Беязи, книги Фаррохзад достаточно, чтобы нарушился баланс всего политического строя, если с ними надо бороться, чтобы этого не случилось, не свидетельствует ли это о силе угнетаемых и слабости угнетателей?

Парадокс, но за разочарование иранской молодежи и бывших революционеров в системе следует

благодарить саму систему. Стали рушиться идеологические барьеры, делившие людей на «восточных» и «западных», «чужих» и «своих». Отец верил, что, как при Конституционной революции, перемены в Иране наступят благодаря союзу светских и прогрессивных религиозных сил, и лишь обе эти группировки приведут к реальным политическим изменениям.

Я постепенно пришла к такому же выводу. Прошлое вмешалось в настоящее и вступило с ним в сговор. Ширин Эбади, первая женщина, ставшая членом Тегеранского окружного суда, а впоследствии лишенная звания судьи с установлением новых законов, согласно которым женщины не могли быть судьями, стала адвокатом по защите прав человека. Еще одна женщина — Мехрангиз Кар, известная журналистка и адвокат, — не только выступала в суде, но и сотрудничала с молодым священнослужителем Мохсеном Саидзадехом; вместе они написали ряд всколыхнувших общественность статей о правах женщин. В результате Кар и ее семья подверглись бесконечным преследованиям, а Саидзадеха лишили сана и посадили в тюрьму. Религиозный интеллектуал Акбар Ганджи, в первые годы после революции выступавший за исламизацию университетов и подавление инакомыслия и прославлявший установление шариата, теперь, чуть больше десяти лет спустя, ощущал большую идеологическую близость с немецкой

еврейкой Ханной Арендт, чьи труды, по его мнению, как нельзя лучше описывали происходящее в Исламской республике. Нечто подобное произошло с режиссером Мохсеном Махмальбафом: в начале революции тот показывал свои фильмы политзаключенным, надеясь обратить их в свою идеологию, а в интервью заявлял, что известных режиссеров шахского периода нужно казнить. Теперь он сам рассказывал мне, как изменились его взгляды, и признавался: «Думаю, благодаря искусству у человека появляется возможность прожить несколько жизней; человек живет один раз и видит мир лишь с одной точки зрения, но искусство способно создавать другие, отличные углы восприятия». Вспоминая эти слова, я всякий раз благодарю Исламскую Республику Иран: лишив нас радостей воображения, любви, культуры, она лишь подтолкнула нас им навстречу. И никакая власть, никакое принуждение уже не смогли бы загнать этого джинна обратно в лампу.

Через два дня после последнего прекращения огня мы с отцом на три дня поехали на Каспий. В противоположную сторону стояла пробка: тегеранцы, уезжавшие к морю на время бомбежек, возвращались домой. На протяжении всей поездки, которая длилась четыре с половиной часа, отец останавливался, как в детстве, и показывал мне редкие полевые цветы. Мы с детьми сидели на заднем сиденье.

Эта поездка была и радостной, и грустной: мы радовались, потому что война закончилась, и грустили, вспоминая счастливое время до революции. Теперь наш прибрежный городок, необыкновенно красивое место, выглядел как после вражеского набега. Природа и революция взяли свое. Вода подошла ближе, и многие виллы у самого берега стояли заброшенными. Садовые стены рассыпались, пострадали и некоторые дома. На пляже валялись куски каменной кладки, старая обувь и одежда. Закрылись шикарные рестораны и отели. Я хорошо помнила один такой отель — «Мотель Гу», один из первых больших курортных отелей в Иране с танцами на пристани, вечерними играми в бинго и вечеринками на пляже. Теперь отель огородили уродливой стеной и забором; там разместилась штаб-квартира революционной гвардии. Маленькая площадь в центре некогда оживленного городка, где в туристический сезон происходило все самое интересное, работал кинотеатр, магазинчики и кофейни, теперь патрулировалась полицией нравов. Вместо популярной музыки из громкоговорителей, висевших по углам, лились революционные лозунги и военные марши. На фоне морского пейзажа мужчины и женщины в темных, почти траурных одеждах смотрелись нелепо.

Перед самой революцией отец продал свою любимую виллу на берегу. Я настояла, что мы

должны ее навестить. Мы припарковались на углу и подошли к дому. Большой сад поделили на части и обнесли стеной. Все лучшие воспоминания моих подростковых лет были связаны с поездками на море. Я любила пышную изумрудную зелень сада, расположенного совсем близко от моря, влажный воздух, полнящийся чарующими ароматами и окутывающий тело, покой, цветы, которые здесь казались крупнее и ярче и будто светились изнутри. Но после революции я возненавидела это место. Каспийский регион стал мишенью для гнева и пренебрежения властей. Я не хотела смотреть, как любимый оазис моей памяти превращается в обшарпанное, Богом забытое место.

Богиня дурных новостей

В НАЧАЛЕ 1990 года я ездила на конференции в Остин, штат Техас, и в Лос-Анджелес. Через два дня после моего возвращения отец зашел на ужин. Пришел рано, казался рассеянным и немного взбудораженным. В гостиную вбежала Негар, стала показывать подарки, которые я им привезла; за ней вошел Дара, как флагом, размахивая костюмом Зорро. Отец поцеловал их и произнес:

— Мне надо поговорить с вашей мамой. У меня для нее хорошие новости.

Мы пошли в библиотеку. Я села на диван, он подвинул стул, наклонился ко мне и сообщил, что женился на Шахин.

Я оторопела. Я знала, что разговоры о замужестве велись, и мы с Шахин иногда виделись. Она даже помогала мне с дизайном интерьеров. Но о конкретных планах речи не было. Он специально подождал моего отъезда из страны и женился на ней — так мне казалось.

— Ты скрыл это от меня! Не может быть, чтобы ты не планировал это до моего отъезда. — Он заявил, что сделал это ради моего же блага, что я сама сказала, что не хочу больше лгать матери о его отношениях с другими женщинами. А потом добавил:

— Я бы не стал на ней жениться, если бы знал, что она тебе не нравится. Я думал, вы подруги. — Кажется, именно в тот момент я засомневалась в его искренности. Как я могла быть так слепа все эти годы, как могла не понимать, что он делает меня соучастником и мы вместе придумываем сказки для матери? И что все это рано или поздно приведет к тому, что он будет так же придумывать сказки, чтобы умиловить меня?

Думаю, с Шахин отец был счастливее, чем с моей матерью, хотя их отношения разворачивались по знакомому сценарию: он стал ей другом, отцом, бухгалтером и попечителем. Сам ходил за покупками, помогал по дому. Писал письма ее брату-наркоману и упрекал его от ее имени. Пообещал, что перед своей смертью обеспечит ей жизнь, которую она заслуживает, — то есть, пользуясь доверенностью на свое имя, продаст все имущество, которое принадлежало нам. В отчаянных попытках вернуть наши конфискованные земли он заключал сделки с сомнительными личностями, которых всю жизнь избегал. А Шахин во многом относилась к нему не лучше моей матери. У нее так

и не сложились теплые отношения с его семьей, она воротила нос от моих дядей и кузенов. Когда мы приезжали к ним в гости на Навруз (персидский Новый год) или по другим праздникам, отец тревожился, что наши дети что-нибудь прольют. У них дома мы всегда чувствовали себя не в своей тарелке и сидели на самом краешке стульев; хотелось быстрее оттуда сбежать. Шахин была мелочной, придавала слишком много значения званиям и брендам. Это доходило до абсурда: однажды подруга заметила, что на блузке, которую Шахин подарила мне на день рождения, срезана этикетка, а вместо нее на рукав булавкой приколот дизайнерский логотип. Отец пытался ее защищать, напоминал, что раньше она мне очень нравилась, настаивал, что никогда не стал бы жениться на ней без моего одобрения. Иногда он даже плакал — поражался, что я ему не верила. Но я была его самым доверенным союзником; естественно, было больно, когда он мне врал.

«Господин Нафиси был несчастен лишь в последние два года жизни, — рассказывала моя лучшая подруга Пари. — А в целом они с ней хорошо жили», — добавляла она, видимо, чтобы меня успокоить. За эти последние два года Шахин заставила отца продать один из островов, записанный на нас с Мохаммадом; правительство полуофициально его конфисковало. Она переживала, что в случае его смерти деньги перейдут или государству,

или нам, а она останется ни с чем. Даже в таком преклонном возрасте, имея проблемы с сердцем, отец дважды в неделю ездил на Каспийское побережье, умасливал и подкупал людей, которые заняли остров, — местные исламские революционные комитеты и духовенство. А я все повторяла, чтобы он оставил этот остров в покое. «Деньги нам не нужны, — говорила я. — А тебе не нужна головная боль». Мне не хватало духу напомнить ему, что прежде он хвастался, что никогда не склонится перед шахом или другой властью, а теперь унижался и ублажал власть ради куска земли.

Отец любил Шахин, в этом я ни капли не сомневаюсь. И та, наверно, его по-своему любила. В отличие от матери, она признавала его преданность ей. Но он так и не обрел покой, который искал. Раз в неделю он приходил к нам на ужин и всегда казался нервным и встревоженным. Хотел, чтобы я полюбила его жену — не просто уважала ее, а именно полюбила. («Ази хочет с тобой поговорить, — озадачивал меня он, звоня из дома и передавая ей трубку. — Она скучает по вашим разговорам», — добавлял он.) И еще он переживал из-за денег.

Всю свою жизнь почти до самой смерти он почти каждое утро ходил на работу. Денег было достаточно, чтобы вести комфортную жизнь, но Шахин этого было мало. «Я обещал о ней позаботиться, — сказал он. — Я дал слово». Она раздумала

становиться дизайнером одежды, и он помог ей открыть бюро дизайна интерьеров. Повел меня к нотариусу переоформить доверенность, чтобы продать еще землю. Они с Шахин зачем-то пытались убедить нас, что зарабатывает в семье она, что ее бюро процветает и приносит доход.

Он пытался понять Шахин, как когда-то пытался понять мою мать. В своей последней дневниковой тетради за несколько месяцев до смерти он написал: «Шани, если ты будешь видеть мир таким, каким тот является на самом деле, ты будешь реже ошибаться. Проблема в том, что ты принимаешь свои мечты и желания за реальность, а потом разочаровываешься». Он обращался к Шахин, а мог бы то же самое сказать себе.

Шахин разделяла дар моей матери замещать фантазией реальность, но, в отличие от матери, не была уязвимой. Она использовала свои неудачи, чтобы добиться определенной цели. Защита, в которой она нуждалась, была вовсе не абстрактным требованием любви и внимания; она имела вполне конкретное материальное наполнение. В ее алчности не было ничего загадочного; наверно, поэтому она получила, что хотела, а моя мать так и осталась ни с чем.

Недавно близкий родственник сказал мне: «Твой отец на самом деле не сделал ничего плохого. Все мужчины заводят романы. У кого-то их было даже больше, чем у Ахмада. Но они не вмешива-

ют в свои любовные дела семью и друзей. Умеют скрытничать. Я не понимаю, зачем Ахмад женился. Мужчины женятся на женщинах моложе себя ради секса или чтобы о них заботились в старости. Ахмад же все делал сам. В их доме он ходил за продуктами, мыл посуду, носил за женой сумку и постоянно отправлял ее одну в отпуск, чтобы она отдохнула». Этот человек хотел знать, почему отец не вел себя как «нормальный» мужчина. Почему все его романы оборачивались такими неприятными скандалами? Я сама не раз об этом задумывалась, когда могла трезво размышлять о происходящем. Любила бы я его больше, будь все иначе? Не думаю. Я любила его, потому что его грехи не были обычными; он чувствовал себя виноватым и хотел любить, а не изменять. Его последняя дневниковая тетрадь полна тревоги из-за его «обещания» Шахин, которое, как мы выяснили после его смерти, он выполнил с лихвой, даже отчасти пожертвовав своим добрым именем.

В личной жизни, как в политике, надо или принимать правила, или открыто и принципиально против них бунтовать. Но в обоих случаях придется платить. Ничего не бывает просто так. Какой ценой дается соглашательство или бунт? Отец не принадлежал ни к соглашателям, ни к бунтарям, поэтому ему пришлось заплатить двойную цену. Он не мог жить спокойно, соглашаясь с условностями; не мог и отринуть ожидания

общества и испытать удовлетворение от приходящей с этим свободы. В его дневниках я встречаю две противоположные тяги: желание порвать со всем и жить, как хочется, и страх из-за того, что будет, если он так поступит.

Моя мать донимала его с завидным упрямством — названивала ему на работу, расспрашивала друзей и знакомых, чем он занимается, обвиняла меня, что не защищаю ее, что предаю ее ради «этого типа и его потаскухи». Она стала названивать моей подруге Пари у меня за спиной — сначала чтобы пожаловаться на жизнь, потом подрядила ее добыть документы на землю. Узнав, что отец женился, она на несколько недель превратила нашу жизнь в сущий ад. Я твердила, что не имею к этому отношения, что сочувствую ей, и пообещала, что из уважения к ней не буду принимать новую жену отца у нас дома. Я пыталась быть честной. Но ничего не вышло. Слишком много всего произошло, слишком много недоверия накопилось между нами за годы. Меня поражало одно: почему женщина настолько гордая, с такими строгими моральными принципами не подала на развод гораздо раньше? Может, потому что считала статус разведенной более унижительным, чем необходимость терпеть в несчастливом браке? Или, вопреки ее уверениям, она все же его любила?

Она утверждала, что с самого начала знала, что у него была «другая женщина», иначе почему

он порвал с Зибой-ханум? Потом начинала сама себе противоречить и говорила, что, забрав у него все деньги, Зиб-ханум сама его бросила. Иногда она утихомиривалась и пыталась уговорить меня стать ее шпионкой. Просила, чтобы я дала ей их номер телефона. «У меня его нет, — отвечала я. — Я звоню ему на работу». Тогда она стала донимать Биджана, детей, наших друзей; наконец нашла их номер и стала названивать им днем и ночью, угрожать и оставлять сообщения на автоответчике. Забудь, советовали ей все и каждый. Живи счастливо с детьми и внуками, благодари Бога, что они здоровы и любят тебя. «Любят?» — скривившись, отвечала она.

Люди становятся коллекционерами по разным причинам, но обычно преследуют конкретную цель или зациклены на каком-либо объекте — спичечных коробках, например, пепельницах или произведениях искусства. Почему-то именно предметы становятся одержимостью. Мать была скорее барахольщицей, чем коллекционером, и собирала ненужный хлам. Когда я была маленькой, она иногда использовала свои старые ткани и шила одежду себе или мне, но потом начала просто складировать отрезы в сундуках, где те лежали аккуратными стопочками.

Ее чуланы были сердцем дома, его тайным пульсом: сундуки, доверху набитые тканями, одеждой,

подарками, которые она покупала отцу, мне и брату. В двух сундуках хранились серебро и фарфор, оставшиеся еще со времен ее первого брака. После революции и ухода отца она начала запасать продукты первой необходимости. Хвасталась, что рис и сахар у нее сохранились еще с дореволюционных времен. В огромных количествах закупала сливочное масло и почти никогда его не использовала. Должно быть, эти кладовые обеспечивали ей чувство безопасности, но до самой своей смерти она так и не научилась пользоваться вещами по назначению: никогда не доставала серебро, не ела с лучшего фарфора, не носила шубы и не давала детям играть в игрушки и ломать их. Иногда, внезапно и без причины, она отдавала дорогие вещи, которые много лет берегла как зеницу ока, — не нам, что было бы естественно, а почти незнакомым людям. Что бы я у нее ни попросила, она всегда мне отказывала и даже забирала вещи, которые отдала когда-то давно.

Так же точно она относилась к людям — коллекционировала их, как вещи. В последние годы она жадно собирала истории о преступлениях, совершенных исламским режимом. Ими она охотно делилась. Мы часто просыпались по утрам от стука в дверь или, возвращаясь вечером из гостей, обнаруживали ее на лестничной площадке. «Слышали?» — выпаливала она и рассказывала нам очередную ужасную историю. Богиня дур-

ных новостей, она тревожилась, когда остальные тревожиться забывали. Я уже научилась замечать особый блеск в ее глазах и еле сдерживаемое волнение в голосе; тогда я понимала, что нас ждет очередная история об убийстве. Она описывала все в мельчайших подробностях: ритуал забивания камнями, когда мужчин закапывали в землю по пояс, а женщин — по шею; камни выбирали не слишком крупные и не слишком мелкие. Одному мужчине удалось сбежать, и его простили, ведь кто сумел убежать, тому даровали прощение. Она с трепетом рассказывала об уличных повешениях, когда нарушителя вешали на подъемном кране другим в назидание. И причитала: что, если Дара и Негар наткнутся на повешенного по дороге в школу? Так мы узнавали о мужчине и женщине, которых нашли обезглавленными в гараже (я даже запомнила имя этой женщины — Фирузе Санаи); о старухе, которую ограбили и убили, — при этом она намекала на себя, ведь мы оставляли ее одну, уезжая в отпуск на несколько дней, а если бы уехали насовсем, она и вовсе осталась бы одна.

На протяжении 1990-х режим периодически давал послабления, но систематическое преследование инакомыслящих и светских интеллектуалов продолжалось. Писателей, поэтов, переводчиков убивали, когда те спокойно шли по своим делам, в магазин или в гости. Мать внимательно слушала наши разговоры за ужином: мы обсуждали

таинственное исчезновение Ахмада Мир Алаи, одного из лучших иранских переводчиков и моего доброго коллегу из Тегеранского университета, профессора древнеперсидской культуры и языка Ахмада Тафазоли и поджог книжного магазина «Морге Амин» исламскими дружинниками, выступавшими против публикации книги Шарнуш Парсипур. «Слышали? — закричала она однажды, ворвавшись рано утром к нам в квартиру. — Слышали, что господина Голшири арестовали?» Мы уже знали; нас разбудили рано утром и сообщили, что накануне вечером Голшири и еще пятерых писателей арестовали в доме немецкого консула.

Всякий раз, когда я уезжала из Ирана на конференцию, за несколько дней до моего отъезда мать устраивала кампанию. Обычно она стучалась в дверь кухни и заходила, не дожидаясь ответа. «Не забудь им все рассказать, — говорила она. — Ты должна им все рассказать!» Она хотела, чтобы я рассказала о преступлениях режима. Жадно слушала западные радиопередачи, Би-би-си и «Голос Америки»²⁸ и пересказывала нам все новости. «Британцы снова взялись за свое, мутят воду, — сообщала она. — Они в сговоре с режимом; они вечно врут!» Она даже вела спи-

²⁸ Минюст РФ признал «Голос Америки» иностранным агентом. — *Примеч. ред.*

сок жертв режима, убитых за пределами Ирана: бывший премьер-министр Бахтияр, его близкий соратник Абдолрахман Боруманд, брат Форуг Фаррохзад Ферейдун. Бывало, она приглашала меня на кофе и велела внимательно слушать, что рассказала ей подруга или вообще незнакомый человек о событиях в стране. Когда она впервые заявила, что я должна «им» все сообщить, я спросила: кому «им», мам? «Да тем, кто тебя пригласил. Махназ». При шахе Махназ Афхами занимала должность министра по женским вопросам. Она была нашей родственницей. Ее младшая сестра Фара, моя подруга детства, активно участвовала в деятельности Иранского студенческого объединения. Было время, когда мы обе были готовы выйти на демонстрацию против Махназ, но теперь сестры оказались в одной лодке. В 1970-е Махназ инициировала проекты по защите прав женщин; именно благодаря ей были приняты многие законы. Из-за этого она находилась на верхней строчке черного списка исламского режима. Махназ жила в США в изгнании; туда же на восьмом месяце беременности бежала Фара с трехлетней дочерью после казни своего мужа Фарамарза. Когда я уезжала на конференцию, мать всегда просила передать Махназ привет и сказать, что люди знали о ее добрых делах и были ей благодарны. «Раньше ты смеялась над такими, как Махназ, — с укоризной говорила мать. — Ты ее не ценила». Мне хотелось

напомнить, что в свое время она сама не одобряла Махназ и начала восхищаться ей совсем недавно. «Ее они послушают», — говорила мать.

Я до сих пор вижу, как она стоит у двери гаража ранним утром, готовая исполнить прощальный ритуал; она держит на подносе Коран и маленькое блюдечко с водой, в которой плавает цветок. Обрызгав меня водой — ритуал приносил удачу и хранил путников, — она достает из кармана скомканный листок белой бумаги и протягивает его мне. «Тут я записала имена всех, кого посадили в тюрьму и убили. Передай своим друзьям. Обязательно передай», — почти умоляюще произносит она. «Ладно, мам». «Надеюсь, ты не как обычно говоришь, что сделаешь, а на самом деле даже не собираешься ничего делать», — отвечает она, а я сажусь в машину и закрываю дверь.

Иногда я радовалась, что мы жили так близко к матери. Когда Дара и Негар были маленькими, мама часто рассказывала им сказки, когда они укладывались на дневной сон. Расстилала на полу большое одеяло, раскладывала три подушки, и они втроем ложились в ряд. Я проходила мимо их комнаты и через открытую дверь видела Негар; та лежала на спине, сунув в рот большой палец и уставившись в потолок; на ее лице застыло рассеянное выражение, что всегда бывает на лицах детей, когда те отключаются от текущей

реальности и переносятся в иной мир. Дара, как обычно, требовал достать любимые предметы из книжки с картинками. «Хочу луну, — говорил он — Эту луну!» Когда они подросли, мать научила их играть в карты. По вечерам я спускалась, и мы вместе играли в пасур, джин рамми и в очко. Она рассказывала о своем отце — тот был заядлым игроком и иногда играл с ней, а поскольку их было только двое, каждый изображал еще и отсутствующего партнера: сложный процесс, я никогда не понимала, как они это делали. Она всегда проигрывала детям и расплачивалась с ними шоколадом и деньгами. Я часто приходила домой из гостей или с собраний и слышала смех с кухни; заходила и видела маму, Негар и Дару за кухонным столом.

Она покупала им подарки: Негар — колечки и сережки, Даре — игрушки. У меня в ящике лежит длинная золотая цепочка с маленькими подвесками: крошечное сердечко, гранат, тапочка, ключики, символы крылатых зороастрийских божеств — после революции они были очень популярны. Она вязала детям цветные носки, варежки и шарфы, а по утрам поднималась до середины лестницы и выкрикивала их имена. «Спускайтесь, покормим птичек!» — говорила она. В 1997 году мы переехали в США, и когда я звонила, она всегда говорила: «Передай Даре, что я кормлю его птиц». В голосе сквозили слезы.

Она любила обоих детей, но Дара, сын, был ее любимчиком. Она часто обвиняла нас, что мы пользуемся его добротой. Он казался ей похожим на Мохаммада, а Негар она сравнивала со мной, но добавляла, что ее дети, то есть мы, конечно, красивее. Это были легкие, счастливые минуты — время с внуками всегда было для нее счастливым, за исключением случаев, когда она переносила на них злость на моего отца. У меня сохранились дневники Негар, которые та вела, когда ей было восемь. «Сегодня маман Несси велела нам больше к ней не приходить, — писала она. — Сказала, что она больше не наша бабушка, что теперь наша бабушка какая-то турчанка Шахин. Я заплакала, но она ответила: „Этого хочет ваша мама“».

Иногда она поднималась наверх, когда нас не было дома, собирала «хорошие» детские игрушки — подарки на дни рождения и другие праздники — и прятала их, чтобы дети их не сломали. Пишу об этом сейчас и до сих пор поражаюсь, насколько непонятна ей была сама идея удовольствия и игры; она воспринимала их как угрозу и считала, что за радостью неминуемо следует потеря и скорбь. Однажды наша няня Тахмине-ханум, которая знала каждый уголок в маминой квартире и иногда ей помогала, отвела нас с Негар и Дарой на первый этаж, когда матери не было дома. Открыла дверь шкафа, и нашим глазам открылось невиданное зрелище: шкаф, сверху донизу набитый плюше-

выми медведями и другими мягкими игрушками, куклами Барби, машинками и грузовиками. Все это сестры Биджана присылали детям из Америки. Это выглядело так странно, что дети рассмеялись, и мы забрали любимые игрушки, отплатив матери той же монетой. У нас не хватило духу забрать их все, не могли же мы оставить ее ни с чем. «А ты нас ругала, что мы игрушки потеряли!» — воскликнула Негар, когда мы тихонько шли наверх с охапками мишек.

В последние годы жизни мать почти все время проводила в гостиной рядом со спальней. Эта комната нагоняла уныние, хотя была солнечной, со стеклянными дверьми от пола до потолка, выходившими на балкон с видом на сад. Но радостный солнечный свет не мог перекрыть гнетущего впечатления от множества фотографий, заполонивших все свободные поверхности, столы и стены. Они стояли бессистемно, маленькие среди больших, и на стенах почти все висели криво, склоняясь друг к другу, как пьяные незнакомцы в баре.

В этой комнате она угощала гостей своим легендарным кофе. В выборе гостей, как и в фотографиях, тоже царил полный хаос: она приглашала охранников из соседней больницы, родственников Саифи, моих студентов и наших соседей; совсем чужих людей, с которыми познакомилась в доме подруги, в такси или автобусе. Эта пестрая толпа



Мать в последние годы жизни среди своих фотографий

рассаживалась у нее в гостиной на краешках стульев, словно опасаясь сидящих рядом незнакомцев. Иногда мать расплачивалась за свою неразборчивость: например, одно время к ней заходил в гости мутный тип по имени Ахмад-ага, похожий на смазливового лысого полицейского Коджака. Он стал ее любимчиком и одно время ходил к ней каждый день и якобы докладывал о тайной деятельности оппозиции. Он назвался политическим активистом и рассказывал ей фантастические истории о тайных делах на базаре, загадочных восстаниях в мусульманских школах и зверских убийствах, совершенных народными дружинами и революционной гвардией.

Каждый день мать пересказывала нам его байки с еле сдерживаемым восторгом и таким трогательным доверием, что мы не решались открыто усомниться в правдивости его слов. Мы пытались дипломатично ее предостеречь, но она никогда не соглашалась слушать критику в адрес тех, кому благоволила. Ахмад-ага вымогал у нее деньги якобы на помощь жертвам режима и борцам за свободу, а потом исчез так же внезапно, как появился, прихватив с собой два антикварных ковра и все ее серебро, в том числе ценные подарки от ее матери и первого мужа. Как и другие, кто крал ее вещи — а Ахмад-ага был не единственным, — он знал, что она хранила ценности в подвале рядом с гаражом. Ее было легко обмануть, надо было лишь сказать правильные слова. Попасть в число ее любимчиков тоже не представляло труда: надо было лишь заявить о себе как об абсолютном и безоговорочном противнике исламского режима. А уж те, кто объединился с ней против моего отца, могли добиться от нее чего угодно. Ей казалось, что людям, которые с ней соглашались, можно доверять. Мы с братом не пошли на эту сделку, надо отдать нам должное, но этот мятеж дорого нам обошелся.

Хотя мать давно перестала общаться с тетей Миной, я продолжала ее навещать. В середине 1980-х она заболела. Один день запомнился мне

особенно хорошо: тетя Мина была в ностальгическом настроении и впервые решила рассказать мне свою версию истории.

— Твоя мать — странная женщина, — сказала она, встала и подала мне альбом с фотографиями. — Она может обвинить человека во всех грехах и порвать с ним все отношения, при этом рассчитывать, что через несколько недель тот будет вести себя так, будто ничего не случилось. Иногда мне кажется, она подпитывается скандалами и специально мутит воду.

— Беда Незхат в том, что она во всем доходит до крайности, — продолжала Мина. — Она слишком добра и щедра, и люди понимают, что никогда не смогут отплатить ей тем же, а потом она вдруг становится излишне требовательной и давит. — Тетя Мина призналась, что они с матерью часто ссорились из-за того, как мать ко мне относилась. — Когда ты уезжала в Англию или Америку после летних каникул, Незхат так злилась, что проклинала тебя и надеялась, что твой самолет разобьется.

— Не знаю, что было хуже, — сказала она. — Самоубийство ее матери или новость о смертельной болезни Саифи, которую тот сообщил ей в брачную ночь.

— Самоубийство? — Я впервые слышала такую версию: прежде никто даже не намекал, что бабушка, возможно, покончила с собой. Будь это

так, почему никто об этом не говорил? Мина отмахнулась.

— Не знаю, как это произошло, но слухи ходили разные... говорили, что она умерла в родах, или от инфекции, или даже что твой дед ее убил, но поговаривали также, что она была несчастна и покончила с собой. Ты же слышала, что у ее племянницы Фахри были проблемы с психикой — кажется, депрессия? Думаю, Незхат просто не хотела знать правду, а теперь какая разница, столько воды утекло. — Меня шокировала эта информация, как и спокойный тон, которым тетя Мина ее сообщила. Я давно искала этот кусочек головоломки, и вот наконец он встал на место.

— Иногда мне кажется, что Саифи очень плохо повлиял на твою мать, — продолжала тетя Мина. — После его смерти она так толком не оправилась. Долго ходила в черном. — Отец писал, что когда впервые увидел мать, та была в черном, а «печать горя» по-прежнему лежала на ее лице. — В ней тогда умерла жизнь, и она так и не научилась снова быть жизнерадостной. — «Отсутствие любви» — так сформулировала этот недуг моя ученица; вероятно, в нем крылась мамина беда. Многие женщины страдали от отсутствия любви. Сама тетя Мина, моя бабушка, даже некоторые мои ученицы, совсем юные. — Она обожествила Саифи; ни один мужчина этого не заслуживает, — с лукавой улыбкой

проговорила Мина. — Надеюсь, ее пример тебя кое-чему научил.

Я не могла спросить мать, покончила ли бабушка с собой, но спросила отца.

— Не знаю, — ответил он. — Люди говорили разное. Но никому не было дела до этой бедной женщины, никто не стал выяснять.

В последующие годы я расспрашивала об этом кузин и кузенов матери, но никто ничего не знал. Мне осталось лишь смириться с тем, что никто не знал и не помнил ничего о бабушке, и зафиксировать факты, которые были точно о ней известны, а также факт, что о ней все забыли. Однажды друг спросил, почему мне было так важно узнать правду. «Правда, — сказал он, — не приносит утешения; ложь и забвение куда утешительнее».

Меньше чем через год после той нашей встречи тетя Мина умерла. Она долго болела раком желудка. Сильно похудела, отчего стала выглядеть еще элегантнее и благороднее. Несмотря на болезнь, она всегда была одета безупречно и содержала в идеальном порядке свою красивую квартиру, обставленную антикварной мебелью. В отличие от маминого жилья, у Мины всегда во всем был порядок и гармония. Мать не возражала, что я навещаю ее, но не потеплела к ней, когда я сказала, что она больна. Обычно стоило сообщить матери о чьем-то несчастье, и та сразу забывала о прежней вражде. Но тетя Мина болела

и умирала, а мать так ни разу не проявила к ней любопытства или сочувствия. «Мне сказали, что она мухлюет в карты, — как ни в чем ни бывало сообщила она. — Я стала ее защищать, но что есть, то есть — она жульничает, и никто не хочет с ней играть».

Раньше мать гордилась, что всегда помогает друзьям и родственникам, которых постигло горе, и раздражала меня своими заявлениями, что почти никогда не ходит на свадьбы, зато на похороны — всегда. Но когда умерла ее мачеха, мать совсем не горевала, хотя беспокоилась за тетю Нафисе и проводила с ней много времени. На поминках она говорила громко и даже смеялась. Подруги тети Нафисе с нескрываемым удовольствием одергивали ее и повторяли: «Незхат-ханум, *пожалуйста...*»

Я регулярно навещала тетю Мину в больнице. Последние несколько дней она провела в отделении интенсивной терапии. Помню, я стояла за стеклом с ее дочерьми и наблюдала за ней. Тетя металась, не могла лежать спокойно, а мы стояли и ощущали свою беспомощность, чувствовали, что уже ее потеряли. Когда она умерла, я пошла на кладбище с ее младшей дочерью Лейлой. Мы смотрели через стекло, как тетю омывали и готовили к мусульманским похоронам. Я рассказала об этом матери; та сидела на диване в своем выцветшем бледно-зеленом

халате. Смерть Мины она никак не прокомментировала.

— Лейла — хорошая девочка, она мне нравится, — наконец произнесла она, а потом встала, направилась к двери, повернулась и спросила: — Хочешь кофе?

В реальном мире

Отец играл роль посредника между матерью и миром. Когда у той возникали проблемы с водопроводом, домом, садом, слугами — да чем угодно, — она звонила ему на работу, прерывала его встречи и ждала, что он немедленно бросится ей помогать. Если она хотела отправиться в путешествие, он оформлял ей загранпаспорт и билеты. Если на вечеринке друг или знакомый чем-то ее обижал, злилась на отца, что тот ее «не защитил». В начале революции, когда новый режим велел бывшим парламентариям явиться в суд и выплатить суммарную зарплату, полученную при работе на режим, отец ходил на предварительные слушания от ее имени и платил штрафы. Мать была одержима идеей женской самостоятельности, но при этом считала окружающих обязанными ее защищать и оберегать. Сначала это была отцовская ответственность, потом — наша с братом.

Что касается домашних и практических забот, то теперь, после ухода отца, мать полагалась на нас, но на самом деле «на нас» означало «на Биджана». Отец выплатил ее долг правительству, но потом ее опять вызвали в суд на второй допрос, который был скорее формальностью. Справится ли она без него? Мы не знали. Я вызвалась ее сопровождать; многие друзья предлагали то же самое. Но она решительно отказывалась. «Надеюсь, — говорила она, — день, когда мне придется в чем-то зависеть от окружающих, не настанет никогда!» Когда я стала настаивать, она ответила: «Прошу, не утруждай себя, я вполне способна сама о себе позаботиться. Так было всю мою жизнь. Такова моя доля», — холодно и надменно постановила она.

Это правда: она прекрасно справилась без моей помощи. Она вернулась с торжествующим видом и рассказала, как с вызовом сообщила суду, что ей нечего стыдиться. Она гордо говорила о своей деятельности в парламенте. Они не нашли, к чему придраться: она голосовала против закона о капитуляции, наделявшего американских военных дипломатическим статусом; против закона о защите семьи. Оба этих закона при новом режиме отменили.

— Я им сказала, что любой здравомыслящий человек поставил бы мне статую из золота, но мы-то знаем, что этого никогда не будет! Я сказала

прокурору — тот, кстати, не был священником, — что была мусульманкой задолго до его рождения и гожусь ему в матери. «Не утруждайтесь, мне не нужны ваши религиозные наставления. Ни за что на свете вам не удастся убедить меня в смысле этой тряпки, которую вы нам навязали; можно подумать, мусульманкой женщину делает покрытая голова!».

— И что он ответил, мам? — спросила я.

— О, он не такой, как они все; думаю, в глубине души он против системы. Он рассмеялся и сказал: я знаю, что вы — хорошая мусульманка, и знаю, что вы на самом деле так не считаете. «Еще как считаю, — ответила я, — Приходите ко мне домой, я угощу вас кофе и все вам объясню».

Перед уходом она сказала прокурору, что ее отец пил и играл в азартные игры, но был более правоверным мусульманином, чем многие наши сегодняшние лидеры, так как практиковал основной постулат ислама — милосердие к окружающим, чего не скажешь о нынешних правителях.

В тот день она так радовалась, будто обнаружила в себе скрытый потенциал. Оказалось, ей не нужен посредник во взаимодействии с миром. Но она поняла это слишком поздно; начав пересказывать эту историю Биджану, она приправила ее обвинениями в отцовский адрес — мол, тот донес на нее властям, среди которых у него имелись дружки.

— Подумать только: тот, кто клялся, что никогда не склонится перед шахом, угождает *этим*, а все потому, что должен обеспечивать эту потаскуху, которую зовет женой.

Я ВПЕРВЫЕ ПОЕХАЛА НА КОНФЕРЕНЦИЮ В США и Европу за несколько дней до Нового 1990 года. Тогда в Тегеране у нас был дом и дети, у мужа — любимая работа, а я стала известным литературным критиком. Почти двадцать лет, с начала 1980-х и до нашего отъезда — мы уехали летом 1997-го — я изучала персидскую литературу и писала о ней. С детства я наблюдала, как отец обращался к художественной литературе, находя в ней параллели с жизнью, как использовал сюжеты из «Шахнаме» и классических персидских произведений, чтобы рассказать нам об Иране, и это стало для меня естественным. В современной литературе и поэзии я искала объяснение человеческому свойству конфликтовать с реальностью и избегать ее. Я заметила, что, рассказывая о своем опыте, люди прибегают к языку не чтобы открыться, а чтобы спрятаться. Я была уверена тогда и уверена сейчас, что в современной иранской литературе крылись ключи к истинному пониманию политических и общественных событий.

Но потом я вдруг поняла, что мне мало быть литературным критиком. В нашем политическом климате было проще писать очерки и статьи, от-

вечавшие академическим требованиям; так завоевывалось уважение интеллектуальной элиты. И я потихоньку начала отступать от требований. Помню, с каким восторгом я добавляла в очерки едва заметные намеки на правду, как птичка, осторожно собирающая веточки и приносящая их в гнездо. Однако форма научной статьи была неподходящей: мои пылкие идеи после «причесывания» и облечения в казенный академический язык казались какими-то искусственными и надуманными. Я начала писать о Владимире Набокове отчасти потому, что его произведения нравились моим студентам. У нас с ним были общие интересы: одержимость идеей изгнания, твердая вера в мир воображения, который человек повсюду берет с собой, и мятежную силу литературы, а также убежденность, что художественная литература способна превратить страдания в объект вечной красоты.

В романах Набокова содержатся темы, представляющие опасность для тоталитарного склада ума: уважение к личности, эротическая любовь, чуткий анализ сложных отношений между жертвой и угнетателем. Набоков понимал, что невозможно контролировать реальность посредством воображения.

В 1994 году вышла моя книга «Анти-Терра»; через несколько месяцев я ушла из университета. Мне нравилось преподавать, но чем популярнее

становились мои занятия, тем сильнее администрация усложняла мне жизнь. Я внедрила программу приглашенных авторов: на мои занятия приходили известные писатели, режиссеры и художники, выступали с лекциями и общались со студентами. Первым стал знаменитый режиссер Аббас Киаростами; это была его первая публичная лекция после революции. Один из моих студентов, кинолюб господин Форсати, возглавлявший Исламскую студенческую ассоциацию, помогал мне организовать эти встречи. Послушать Киаростами собрались сотни человек. А последнюю лекцию из этой серии читал Бахрам Бейзаи, очень известная, но противоречивая фигура, театральный режиссер, с беспощадной откровенностью критиковавший режим. В начале революции он написал популярную и любимую критиками пьесу о смерти последнего царя Персидской империи Йездегерда, того самого, которого убил мельник накануне арабского вторжения. После лекции Бейзаи мы с Форсати спускались по лестнице, и он произнес: «Вы же понимаете, что эту программу придется свернуть? Бейзаи — последняя капля. Администрация считает, что с политической точки зрения это подрывная деятельность».

На мои занятия стали приходиться студенты из других университетов. Я им не запрещала; в Тегеране мало где можно было открыто дискутировать о литературе, я это прекрасно понимала.

Разве можно было отказывать тем, кто в свободное время хотел обсудить «Тома Джонса, найденыша» или «Грозовой перевал»? Но декан факультета не разделял моего великодушия. Он решил запретить «чужим» студентам приходить на лекции и ввел новое правило: все, кто хотел поговорить со мной в университете, должны были сперва идти к нему получать разрешение. Новые правила и запреты вводили каждый день. Меня то хвалили, то ограничивали мою деятельность. В какой-то момент мне стало казаться, что я больше сражаюсь с администрацией, чем делаю свою работу. Я подала заявление об уходе, но его отказывались принять два года. Уволить меня не составляло труда, но чтобы я сама уволилась? Да кем я себя возомнила? Так они рассуждали. По крайней мере, так мне это виделось со стороны. После увольнения я два года вела частные занятия для семи своих любимых студенток и одного студента, который тоже считал, что имеет право у меня учиться.

Решение об отъезде мы с мужем принимали очень долго. Несколько месяцев спорили о будущем — нашем и детей, о том, как можем послужить своей стране. Эти споры велись тогда в каждой семье, среди всех наших друзей и знакомых. Помнишь, говорил Биджан, как мы жили в Америке и каждый день мечтали вернуться? А я мечтала, чтобы у моих детей был такой же выбор, как у меня, чтобы они посмотрели мир и сами решили, где

хотят жить. Я также хотела быть писателем и преподавателем, считала это необходимым условием своего выживания. Работа Биджана не была напрямую связана с режимом. Он был партнером архитектурного бюро, работал с коллегами, которых любил и уважал, а проекты, которыми они занимались, были интересными и давали чувство самореализации и нужности. А еще он был мужчиной, о чем я неустанно ему напоминала; в этом была разница между нами. Он пытался отшутиться, приводя в пример свой опыт, напоминая, как мы находили способ обойти мусульманские законы.

Дело было не в том, что он со мной не соглашался. Со дня моего возвращения в Тегеран меня не покидало ощущение, что меня вырвали с корнем, я никогда не чувствовала себя дома. Вероятно, это ощущение возникало из-за моего пола и профессии. Он же, напротив, был как рыба в воде и с той же целеустремленностью, с какой брался за проекты, начал реализовывать мечту о постоянном доме. Он лелеял эту мечту с тех пор, как в свои семнадцать уехал из Ирана. И через восемнадцать лет после нашего возвращения осуществил ее, построил дом — почти собственный остров — где было место для семьи, друзей, коллег. Мысль о том, чтобы оставить этот дом, причиняла боль.

Как-то раз за полночь Биджана остановила революционная полиция, когда тот ехал домой с вечеринки. Его обвинили в употреблении алко-

голя; он действительно пил, но отрицал это. Его отвели в штаб-квартиру революционного комитета, где он всю ночь просидел в камере с наркоманами и обычными молодыми людьми, которых арестовали за то, что они ходили на вечеринки, и за прочие подобные преступления. Утром Биджана и его сокамерников отвели к начальнику революционного комитета. Ночной «улов» обычно отвозили в суд на микроавтобусе, но дежурный офицер тихонько шепнул Биджану, что тот может поехать на обычном автобусе или взять такси; тогда ему придется заплатить за такси, но он может поехать не в суд, а домой. Таким образом офицер прозрачно намекал, что отпустит Биджана, если тот даст ему взятку. В такси он сказал Биджану, что тот должен сдать анализ крови; также напомнил, что он мог позвонить кому-то из членов семьи или другу, чтобы его забрали из суда. Биджан понял намек. Офицер получил взятку, водитель из офиса Биджана сдал за него анализ крови, и Биджана отпустили. Разумеется, не всем удавалось так легко отделаться. Наших друзей заставляли мыть туалеты в тюрьме, били и штрафовали. Во время облавы на домашнюю вечеринку двое знакомых пытались бежать от вооруженного отряда; один выпал из окна, другой сорвался с пожарной лестницы. Оба разбились насмерть.

Когда я жаловалась на нашу покорность и молчаливое одобрение происходящего, Биджан

замечал, что многие иранцы не поддавались требованиям режима. Люди делали вид, что согласны с правилами, а потом их нарушали; так поступали даже члены администрации и правительства. Государство не могло контролировать эти акты неповиновения. Неподчинение вызывало восторг; мы чувствовали себя озорными детьми, и мне это нравилось, но оставались сомнения. Больше всего меня тревожило, что подобное неповиновение подразумевало молчаливую договоренность между народом и режимом. Ведь важно не просто не подчиняться правилам, а заявлять, что это твое право, причем заявлять открыто. «Мать многое нам запрещала, — рассказывала я Биджану, — но мы все равно делали; нам казалось, что можно ей соврать, в этом нет ничего страшного, и совесть нас совсем не мучила, потому что мать нас тиранила» (хотя я солгала, совесть, конечно, нас мучила). «И что же, получается, наша ложь была оправдана? Это болезнь общества: жертвы сами становятся соучастниками преступлений против них же самих! Можно сколько угодно оправдываться, но мы с тобой — лжецы и обманщики, пока им подыгрываем и, даже хуже, считаем это в порядке вещей».

Привычка притворяться, что мы соглашаемся с требованиями режима, ослабляла моральные принципы и развивала в нас духовную лень. Знакомые мужчины с презрительной усмешкой спрашивали: «А что вы так всполошились из-за

какой-то тряпки?» Они не понимали, что, во-первых, хиджаб — не «какая-то тряпка»; многие, как мужчины, так и женщины, наделяли его глубоким духовным смыслом. Во-вторых, дело было не в моем отношении к этой «тряпке», хотя мне и не давали его высказать, а в свободе выбора. Режим и власть имущие не имели права указывать женщине на ее обязанности перед Богом.

Шарнуш Парсипур вспоминала, как сидела в тюрьме и охранник велел ей молиться. Она ответила, что помолится без хиджаба, так как считает, что у Господа нет пола и он может быть как мужчиной, так и женщиной, скорее даже второе, поэтому ей нет причин от него закрываться. Парсипур не участвовала в политической жизни, и все же ее посадили в тюрьму и подвергали ужасным наказаниям, так как она отказывалась склониться перед властью. Думаю, она, как Джон Локк, верила, что концепция верховной власти ошибочна²⁹. Но теперь и светские образованные мужчины насмехались над нами за наш отказ носить хиджаб; мол, зачем выставляем себя дурами? А еще они вовсю пользовались новыми законами и брали в жены молоденьких вторых жен, а также разводились с супругами без их согласия. Да, проблема режима

²⁹ Английский философ Джон Локк считал, что народ является источником власти, и первым выдвинул концепцию разделения властей.

была в том, что пред лицом его многочисленных искушений замолкал голос разума.

Мы с Биджаном оба были в чем-то правы. Но решение «уехать или остаться» было очень личным, и что бы мы ни выбрали, пришлось бы дорого заплатить. Мне повезло: в силу профессии я не была привязана к месту. Преподавать и писать можно



Мы с отцом, Негар и Дарой, начало 1990 года

везде. Но я чувствовала себя виноватой перед родителями. Не хотелось их бросать. Сколько стариков их поколения остались в Иране, в то время как дети уехали за границу, и некому было о них позаботиться. Отец повторно женился, а как же мама?

Я много раз обсуждала наш возможный отъезд с отцом. Он считал, что уехать стоит, по крайней мере на несколько лет. Я твердила, что буду ску-

чать. Он отвечал: «Я сам уехал от отца, когда мне было восемнадцать: так устроен мир. Ты должна думать о себе». Признался, что и сам подумывал об отъезде из Ирана.

Однажды утром, когда мы уже почти не сомневались, что уедем, я спустилась в мамину квартиру. Мама стояла на кухне. Я прошлась по комнате, рассмотрела фотографии: Негар в красном платье стоит под деревом; Дара с еще пухлыми младенческими щечками и озорным выражением лица; мы с Мохаммадом в черно-белых нарядах, ему — два, мне — около семи. Зашла мать, принесла две чашки кофе и печенье. Я стала рассказывать о последней поездке в США, сказала, что меня взяли в двухгодичную стипендиальную программу для преподавателей в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. Она замолчала. «Что ж, хорошая новость, — сказала она и вспомнила, как мы с ней ездили в Англию. — Пусть у твоих детей будет такая же возможность, — сказала она и добавила: — Вы же не навсегда уезжаете». Я ответила: «Не хочется оставлять тебя одну, может, поедешь с нами?» Мать саркастично улыбнулась. «Это мой дом, — проговорила она. — К тому же я не никуда не могу поехать. Этот тип, твой отец, об этом позаботился».

Вопрос об ее отъезде из Ирана поднимался и раньше. Мохаммад и Шахран жили в Англии уже

почти десять лет и умоляли мать к ним приехать. У той вечно находились отговорки, но главной была та, что из-за отца, который так и не оформил с ней развод по всем правилам, она не могла уехать из страны без его нотариально заверенного согласия. Она считала это его ответственностью. «И я ни за что на свете не стану его ни о чем просить, даже на смертном одре, — говорила она. — Грустно, что именно я голосовала против закона о защите семьи из-за этого самого пункта о согласии на выезд, и теперь я же из-за него подвергаюсь унижениям!» Она говорила с таким убеждением, что мы ей верили. Но позже выяснили, что развод все-таки был оформлен по всем правилам, с пометкой в свидетельстве о рождении — то есть она была вольна ехать, куда захочет.

А бывало, она говорила: «Как бы то ни было, я поклялась себе, что никогда ни о чем не попрошу у режима и не буду вымаливать у них загранпаспорт. Даже если это значит, что я никогда больше не увижу своих любимых детей и внуков!» «Но мам, — возражала я, пытаюсь ее увещевать, — ты имеешь право на паспорт. Не надо никого умолять, тебе и так его дадут». Мои доводы всегда приводили или к категоричному отказу с ее стороны, или к торопливому заявлению, что «у нее дела» и она поедет за границу, когда покончит с этими делами. Но теперь я была в отчаянии. Мне казалось, всем пойдет на пользу, если мы уговорим ее

приехать и навестить нас или моего брата. Наконец она согласилась пересмотреть свою позицию, но добавила, что сперва должна «позаботиться о важных делах». «Это моя страна», — торжественно произносила она, и нам уже стало казаться, что она участвует в важных политических делах и потому не может уехать из Ирана. «Можно сказать, — добавляла она, — страна так же важна для меня, как мои дети. Я серьезно отношусь к своему патриотическому долгу».

Сначала мать радовалась нашему отъезду. Рассказывала о нем друзьям и знакомым. Поворачивалась ко мне и спрашивала: «В какой университет тебя взяли?» «Университет Джонса Хопкинса, мам». И она говорила в трубку: «Да, точно, туда. Нет, не в клинику Джонса Хопкинса, а в университет, очень хороший; она получила стипендию». А потом опускала трубку и снова поворачивалась ко мне. «А что это за стипендия, расскажи еще раз? — и загадочно добавляла: — Ты скоро вернешься, через пару лет. Помяни мое слово: вчера приходил Ахмад-ага и сказал, что народ на базаре очень недоволен режимом. Через два года от режима ничего не останется». (И я пыталась представить, как духовенство собирает чемоданы и говорит: «Ну все, мы уходим. Может, еще увидимся, а может быть, и нет».) «Ты же можешь вернуться через два года?» «Да, мам, могу», — в отчаянии отвечала я.

Однажды я расплакалась, а она спросила: «Чего плачешь? Бедная Ази, вечно переезжаешь с места на место, нет у тебя в жизни ни радости, ни дома». Она велела рассказать всему миру о том, что творится в Иране. «Это твой долг перед родиной. Я пришлю тебе сведения, — заговорщическим тоном говорила она. — Само собой, по телефону об этом говорить нельзя. Но мы придумаем тайный язык. Если я скажу „ага заболел“, ты поймешь, что речь о режиме».

Время шло, мы начали собираться и готовиться, а она с каждым днем утрачивала кураж и все сильнее тревожилась. Без причин объявляла мне бойкот или жаловалась, что мы ее опять бросаем, что она останется одна в большой квартире. Я напомнила, что наверху в квартире Мохаммада жила его теща, а нашу квартиру мы сдали коллеге Биджана. «И что я буду делать, когда вы уедете и бросите меня на милость этого типа, твоего отца?» «Мам, Пари — мой адвокат и подруга, ты ни в чем не будешь нуждаться». «А ты отдашь мне документы на землю перед отъездом? Можешь хоть это сделать?» — спрашивала она. «Конечно», — отвечала я, прекрасно понимая, что мне не хватит духу попросить их у отца. «Помню, как ты боялась, когда много лет назад, когда ты была маленькой, — говорила она со слезами, — мы жили в этом огромном сыром доме в Ланкастере. Я по несколько часов в день выписывала

для тебя слова из словаря. А теперь...» — она умолкала.

Близился день отъезда, и я отчаянно пыталась проводить с матерью буквально каждую свободную минуту. Мы часами сидели в ее гостиной; я пыталась ее разговорить. Ходила по комнате и расспрашивала, показывая на фотографии. «Мам, а это кто?»; «О, смотри, это же ты и тетя Мина»; «А у тебя остались фотографии Саифи после свадьбы?» Она отвечала неохотно, а стоило спросить о Саифи или моем деде, автоматически, почти слово в слово пересказывала истории, которые я слышала уже много раз.

Как-то утром она принесла из чулана маленький чемодан. Он был доверху набит старыми фотографиями. Мы рассыпали их по полу. На балконе смеялись Негар и Дара. Стеклянные двери были распахнуты, они играли в какую-то дурацкую игру, придумывали слова. Иногда кто-то из них придумывал особенно смешное слово, и они хохотали. Мать не стала садиться рядом; пока я рылась в чемодане, она ходила из комнаты в кухню и лишь изредка комментировала то или иное фото. Я отложила несколько снимков. Я знала, что не смогу сохранить этот момент в памяти: дети на балконе, мать, с которой мы наконец говорим почти спокойно, чувство безопасности и близости, которое я не испытывала уже несколько десятилетий.

«Негар, Дара, — мать вошла с подносом и подозвала детей. — Готов ваш кофе и ваш шоколад». «Мам, не давай им кофе, они еще маленькие», — хотела сказать я, но промолчала: знала, что она ответит «уж ты-то мне не указывай, что можно детям, а что нельзя!»

Я стала одержима ее прошлым. Мне хотелось ее узнать, понять, что же такое с ней случилось, что она казалась такой далекой и одновременно близкой и уязвимой. Но с ней было трудно общаться, трудно разговаривать. Мне никогда не удавалось подобрать нужные слова. Не могла же я сказать: «Мам, я понимаю твои чувства и благодарна тебе за Ланкастер и все прочее, но папу я тоже люблю». Не могла сказать, что больше всего на свете мне хотелось одного — чтобы она меня любила. Чтобы она коснулась меня — не из жалости, а по собственному желанию. «Чего ты хочешь, мам?» — хотелось спросить мне. Но я не спрашивала. И мы столько всего так друг другу и не сказали.

В последние месяцы перед отъездом из Тегерана мои дни были окрашены ностальгией; казалось, настоящее уже померкло и отошло в прошлое. Мне запомнилось одно утро; мама позвала меня выпить кофе. Я зашла; она хозяйничала на кухне и велела мне располагаться в гостиной, пока она варила кофе. Я ждала ее, оглядывалась по сторонам и вдруг заметила изменения в этой

комнате, на которую прежде не обращала особого внимания. Мать всегда любила принимать гостей в небольшой гостиной. Сперва она передвинула всю мебель в спальню и обустроила гостиную в смежной комнате, где раньше спал отец. Затем переставила кровать в эту новую гостиную; днем кровать превращалась в диван, а ночью она на ней спала. Теперь она практически жила в этой комнате круглосуточно. Изменились и снимки на стенах. Сколько я себя помнила, у матери всегда были фотографии нас вчетвером — на одной из них отец стоял с цепочкой мэра и ключом. Были и другие — например, типичный семейный портрет, где Мохаммаду лет пятнадцать. Фотограф пытался улучшить фотографию и так засветил мне глаза, что те казались почти зелеными. И вот я заметила, что мать убрала почти все фотографии, на которых был отец.

Теперь в комнате осталось множество фотографий ее детей и внуков. Среди цветных снимков Негар, Дары и Санам я заметила одну черно-белую фотографию. На ней была изображена молодая невеста, серьезная, торжественная, и улыбающийся жених со светло-каштановыми волосами. Мать и Саифи. На прикроватном столике лежали две книги, обе из моей библиотеки. Любимые книги моего детства. Одна нравилась мне, когда мне было примерно одиннадцать лет. Лейла подарила ее мне на день рождения, и я хвасталась,

что читала ее двенадцать раз. Книга, написанная в форме дневника, называлась «Дезире» и представляла собой романтизированную биографию Бернардин Эжени Дезире Клари, дочери богатого купца из Марселя, с которой подружился Наполеон и якобы обручился с ней, когда был еще беден, а после предал ее, женившись на Жозефине. А Дезире вышла за одного из генералов Наполеона и позже стала королевой Швеции. Вместо картинок в книге были кадры из фильма с Джин Симмонс, Марлоном Брандо и Мерль Оберон; неудивительно, что эти исторические фигуры всегда ассоциировались у меня именно с сыгравшими их актерами. Книга начиналась со слов: «Мне кажется, женщины с большим бюстом более привлекательны, поэтому завтра я намерена набить лифчик носовыми платками». Мать забрала эту книгу и еще одну мою любимую — «Хижину дяди Тома» — и читала их, думая, что в них отображены реальные исторические факты. Я пыталась объяснить очевидное — что это художественная литература, но она предпочитала верить в свой вымысел, и я оставила ее в покое. Рассказала о Гарриет Бичер-Стоу и других женщинах, которые боролись за женские права и против рабства; заметила, что их борьба очень напоминает нашу. Я также рассказала, как в свой первый приезд в Париж пыталась найти мостик, где Дезире стояла и размышляла о самоубийстве, узнав, что Наполеон намерен же-

ниться на Жозефине; там ее и нашел ее будущий муж.

Я сказала матери, что планирую написать книгу и посвятить ее ей. «И как назовешь?» — спросила она. «Женщины, потерявшие стыд», — ответила я. «Думаешь, мне понравится книга с таким названием?» «Нет, мам, я просто вспомнила, как вы с тетей Миной рассказывали, что раньше считалось, будто женщины научатся читать и писать и от этого станут распутными и захотят писать мужчинам любовные письма; короче, потеряют всякий стыд. Я об этом хочу написать, о том, как некоторые до смерти боятся, что женщины станут образованными». Я пересказала ей рассказ Шарнуш Парсипур, действие которого происходило в конце девятнадцатого века. Однажды отец героини, *адиб* — поэт-ученый — шел по улице, погрузившись в мысли и не замечая ничего вокруг, и тут его сбил какой-то иностранец верхом на коне, вероятно, англичанин. Рассердившись на рассеянность *адиба*, бесовестный иностранец бьет его по лицу кнутом. Следует ужасный скандал. Иностранцу велют пойти в дом ученого и извиниться. Для англичанина этот простой конфликт, вероятно, проходит незамеченным, но жизнь *адиба* меняется навсегда. Изменения проявляются сперва в мелких деталях. В то время в персидских домах редко стояли стулья и мебель: даже обеспеченные люди сидели на коврах на полу, облокотившись на большие подушки.

Чтобы принять иностранца должным образом, ученому пришлось взять напрокат западную мебель. Это — первый признак иностранного вторжения. Далее англичанин нарушает еще одно правило. В большинстве персидских домов у порога принято снимать обувь. Иностранец то ли не знает об этом обычае, то ли пренебрегает им и входит в дом в сапогах. Он должен был извиниться, а на деле демонстрирует свое превосходство. Главным результатом встречи становится то, что ученый, к своему изумлению, узнает, что Земля круглая. Прежде он догадывался об этом, но предпочитал игнорировать данный факт. Он инстинктивно устанавливает связь между присутствием в доме иностранца, круглой формой Земли и грядущими изменениями и смутой и наконец заявляет: «Да, Земля круглая; теперь и женщины начнут думать, а стоит им начать думать, они потеряют всякий стыд.»

Я сказала матери: «Вот что я имела в виду под женщинами, потерявшими стыд, — таких женщин, как ты, аме Хамдам, твоя учительница Озру-ханум. Тех, кто отстаивал свое право на образование. Я хочу написать об этих женщинах и о героинях персидской литературы».

Я не стала добавлять, что также хотела бы написать о непокорных женщинах — Рудабе, Вис, Форуг, Аламатадж. О женщинах, которые не боялись рисковать, не боялись... как это сформулировать?

Не боялись своей чувственности. Мне хотелось спросить, в чем разница между образованной женщиной, к примеру доктором медицины, и женщиной, что любила танцевать.

Она же думала о своем. «Я всегда хотела, чтобы ты выучилась, — сказала она, — и стала полезной своей стране. И я добилась своей цели. Родитель, который применяет дисциплину, всегда нелюбимый. Любимый — тот, кто балует». Тут я должна была сказать: «Да, все это благодаря тебе, ты дала нам образование, и всем, чего я добилась, я обязана тебе. Ты хотела, чтобы я осуществила твою мечту». Надо было признать ее заслугу. Но почему-то мне казалось, что уже слишком поздно.

Хотелось бы мне думать, что с того дня наши отношения изменятся. Но на следующий день, и на следующий, все вернулось на круги своя. Она открывала дверь моей кухни и набрасывалась на меня с оскорблениями, а мои гости в гостиной тем временем продолжали разговор и делали вид, что ее не слышат. Услышав, что я разговариваю по телефону с отцом, она в сотый раз стала требовать документы на землю, которая была их совместной собственностью, а я молчала. Потом она заявляла, что другого от меня и не ждала, так как у меня те же проклятые гены.

Однажды, примерно за неделю до нашего отъезда из Ирана, она пришла ко мне рано утром. Сказала, что хочет кое-что показать. Она

выглядела раздраженной и вручила мне большую пухлую папку. «Ты мне никогда их не показывала, тебе это даже в голову не приходило», — проговорила она. В папке оказались копии моих статей — всех до единой. Она даже скопировала предисловие, которое я написала для персидского перевода книги Ричарда Райта «Американский голод». Были у нее и письма от моих студентов и их стихи; она поместила их в рамочки. «Ты их выбросила», — заметила она. Если бы не эта папка, сейчас у меня не сохранились бы многие мои статьи, опубликованные в Иране. «Твоя новая книга об этом русском писателе — совсем не понимаю, зачем тебе это. Не понимаю, почему ты решила писать именно о нем. Но я рада, что ты занимаешься тем, что нравится. Это мой последний подарок, — добавила она. — Денег у меня нет благодаря этому типу и его потаскухе, но я рада, что оставила детям то, что никто не сможет у них отнять».

Последним утром она пришла в гараж попрощаться. На ней был вечный выцветший бледно-зеленый халат, она выглядела сердито и почти не реагировала на наши приветствия. Когда я попыталась поцеловать ее на прощание, она отвернулась. Как обычно, она вынесла Коран и маленькое блюдце с водой, в которой плавал цветок, и выполнила прощальный ритуал на безо-

пасное путешествие. Побрызгала водой нам вслед, туда, куда ступала наша нога — считалось, что это приносит удачу. Но мне запомнилось лишь выражение обиды и злобы на ее лице.

Уезжая, я представляла себе мать. Я научилась этому трюку в детстве: посмотреть в окно, запомнить вид, закрыть глаза и мысленно нарисовать его, а потом снова открыть глаза и сравнить. Я повернулась и снова посмотрела на нее в бледно-зеленом халате, в полумраке темного гаража, и поразилась, какой она казалась старой — пятна на лице, все еще красивые седые волосы, высокие скулы и потухшие глаза. Старость родителей шокирует нас так же, как взрослость детей, но первое осознание, в отличие от второго, никогда не бывает радостным и приносит лишь грусть. Я вдруг подумала о том, какая она хрупкая, какая одинокая. Потом закралась другая мысль и пустила корни. Я скоро ее потеряю, подумала я; но чтобы что-то потерять, надо что-то иметь. Мне было бы жаль потерять их с отцом. Я жалела мать — не так сильно, как отца, который все же исполнил свою мечту, хоть и совсем не так, как ему хотелось. Но я все же жалела ее, потому что ей было нечего терять: ее собственная мать умерла слишком рано, а с отъездом моего отца она лишилась того, что осталось от ее дома. Эта мысль пять лет таилась где-то на задворках ума, и лишь после ее смерти пришло полное осознание.

Мы уехали немного раньше необходимого. Отец ждал нас в аэропорту, чтобы проводить и помочь с багажом. У него были знакомые среди сотрудников таможи; если бы что-то пошло не так, он бы похлопотал, а я постоянно волновалась, что что-то обязательно пойдет не так. Но ничего не случилось; никто не стал к нам цепляться. А я думала лишь об одном: я всю жизнь переживала, что отец умрет, а теперь, наверное, вижу его в последний раз.

Отец подарил мне истории, ставшие моим домом: домом, который всегда со мной. С матерью было сложнее. Я пришла к книгам, к своему призванию и семье и благодаря ей, и вопреки. По прихоти судьбы я в конце концов стала такой, какой она хотела меня видеть: женщиной, находившей счастье и в семье, и в работе. Моя дочь Негар исполнила мамину мечту: поступила в медицинский институт и сейчас учится на врача. Она сказала: «Мам, я стану первой женщиной-врачом в семье. Маман Несси была бы рада».

Чтобы быть счастливыми, люди нуждаются в признании, в том, чтобы их видели и любили такими, какие они есть. Но с мамой это было невозможно. Отец — он был весь как на ладони, со всеми его грехами и добродетелями. То ли дело она. Глядя в зеркало, она видела в нем бездну. Она и нас превратила в зеркала, отчаянно пытаясь найти отражение, которого там не было. Иногда я ловила себя

на том, что смотрю в зеркало, а вижу лицо матери. Я никогда не считала, что похожа на нее, а когда посторонние это замечали, я принималась яростно отрицать наше сходство. Я вся в отца, твердила я. Но шли годы, и я все чаще и чаще слышала этот комментарий, причем от собственной дочери, которая, по словам друзей, была на меня похожа. И я действительно напоминала мать — не не цветом кожи и не разрезом глаз; наше сходство было более глубоким. В мелькавшем на лице выражении, в призрачной тени, на миг омрачавшей лицо. Она смотрела на меня из зеркала — не добрая и ласковая, а холодная и неумолимая.

УЕХАВ ИЗ ИРАНА, я взяла с собой кусочек ветхой зеленой ткани с цитатой Мозафереддин-шаха, царя из династии Каджаров, написанной арабской вязью с завитушками. Свиток принадлежал моей бабушке, маминой матери, которая состояла в родстве с шахом; ткань буквально рассыпалась в руках. Этот кусочек зеленой ткани напоминал мне о бабушке, которую я никогда не видела; именно он ассоциировался у меня с ней, хотя от нее мне достались еще и другие антикварные ткани. Я залезла в старый чемодан в кладовой и забрала все фотографии, которые только смогла. Когда мы обосновались в США, я взяла в привычку доставать их и подолгу рассматривать. Запомнила каждый жест, все туфли матери, форму

ее сережек, манеру запрокидывать голову на некоторых снимках.

Несколько лет назад коллега Биджана, снимавший нашу тегеранскую квартиру, приехал в Вашингтон и рассказал, как мать приглашала его и его семью на кофе. «С ней было интересно, — сказал он. — Незхат-ханум рассказывала о своем первом муже и его семье, о том, каким добрым был ее отец — она была его любимицей, он предпочитал ее другим детям. И самое странное, она все время твердила: „Не верь никому, кто скажет, что моя мачеха дурно со мной обращалась. Она любила меня как родную дочь и относилась ко мне очень хорошо“».

Она разговаривала с голосом в своей голове. После ухода отца ей надо было поддержать свой старый миф. Она должна была ощущать себя нужной если не живым, то мертвым. Я всегда хотела знать, почему мать перестала танцевать после первого танца с Саифи. Теперь я получила ответ: она так и не смогла оставить в прошлом тот первый танец, и самого Саифи тоже. Сколько раз тетя Мина твердила: «Забудь, Незхат, забудь. Расслабься уже, отпусти». В любом танце для начала надо расслабиться, а мать этого сделать не могла.

Мне тоже пришлось научиться расслабляться и отпускать — отпускать ее, переставать постоянно ей сопротивляться. Я импульсивно повернулась

к коллеге Биджана, как делала раньше в похожих ситуациях, и хотела было сказать: *нет, все было не так, как она сказала, она опять сочиняет*. Но я промолчала. Стала думать, что, возможно, теперь у нее просто не осталось другого способа жить; она должна была путешествовать в прошлое, которое любила, видоизменять мир и представлять его таким, каким ей хотелось. И я должна была позволить ей жить в этом мире, где ее отец обращался с ней по-доброму, мачеха была ей как мать, сестра — лучшей подругой, а муж вечно танцевал с ней первый танец. Так они и ходили по кругу в гостинной дома, которого больше нет.

Последний танец

МАТЬ УМЕРЛА 2 января 2003 года; я тогда писала благодарности к своей новой книге. Я посвятила книгу родителям и своей собственной семье и, как положено, написала, что мать всегда поддерживала меня в моих начинаниях и радовалась моим успехам. Теперь же мне казалось, что я должна поменять эти строчки. Как отдать должное матери? И что о ней написать — правдиво, от души?

Несколько месяцев накануне ее смерти я горевала по ней, будто она уже умерла. Однажды моя подруга Пари позвонила из Тегерана и сказала, что мать положили в больницу. Она говорила спокойно. «Сейчас все уже в порядке, — сообщила она. — Госпожа Нафиси ведет себя как обычно, приглашает медсестер выпить с ней турецкого кофе с конфетами. Представь, — добавила Пари, — нам пришлось принести в больницу ее кофеварку и чашки, иначе она грозилась уйти».

Но Пари не удалось меня успокоить. Как только она повесила трубку, я подумала: «Она умирает». Несколько дней бродила по дому, плакала и разглядывала фотографии, которые забрала с собой, когда мы уехали из Тегерана. Домашние всполошились. Ходили вокруг меня на цыпочках и не спрашивали, почему я часами сидела на кровати, подперев спину подушками и разбросав на одеяле фотографии, и с лупой в руке разглядывала старые черно-белые снимки матери.

Прошное настигает нас не постепенно, а всегда неожиданно, как удар ножа. Прошное всегда обрывочно. И можно пытаться сложить фрагменты воедино, но понять прошлое получится, лишь если принять его безвозвратную и обрывочную природу.

В тот день я оплакивала смерть матери, хотя та еще не умерла, и каждый день звонила в Тегеран или отвечала на звонки из Тегерана и выслушивала отчет о ее состоянии в больнице. Ей сделали рентген и перевезли домой. Днем и ночью с ней кто-то находился. В последние дни ее перевезли в дом Тахмине, бывшей няни наших детей, которая стала нашей близкой подругой. Я разговаривала с разными людьми, и все пытались меня успокоить. Я предлагала невозможное: вернуться домой, оформить ей паспорт, отвезти ее в Вашингтон. Я говорила с ней по телефону, и иногда она меня

узнавала, а иногда не понимала, с кем разговаривает.

Стоило нам уехать из Тегерана, как от ее злобы и обиды не осталось и следа. По телефону она осыпала меня лаской, которую никогда не проявляла в моем присутствии. «Хотя я одна и ужасно скучаю по детям и внукам, — говорила она, — я рада, что вас здесь нет. Я горжусь, что воспитала таких преданных и порядочных детей». Иногда она говорила, что слышала меня вчера по радио «Голос Америки» или Би-би-си. Опускала голос и заговорщически добавляла: «Они слышат все, о чем ты говоришь. Понимаешь?» «Да, мам». «Всегда говори правду. Я учила своих детей никогда не лгать».

«Скоро у меня будут для тебя новости, — продолжала она. — Тот человек, помнишь?» «Да, конечно». Уверена, что если бы кто-то нас подслушивал, они наверняка бы поняли, что «тот человек» означает «режим». «Понимаешь, о ком я?» «Да, мам». «Он очень болен. Очень». «Серьезно?» «Да, друзья рассказывали, что он безнадежен».

«А как Дара? — изменившимся тоном вдруг спрашивала она. — Передай ему, что я теперь кормлю его птичек. Он там совсем один; не обижайте бедного малыша». В конце каждого разговора она спрашивала: «А что тебе прислать? Грецких орехов? Тебе что-то нужно?» Иногда приезжал кто-то из Тегерана и передавал мне посылки с орехами,

сушеной вишней и маленькими золотыми медальонами для детей.

В этот раз, когда я говорила с ней в больнице, ее голос звучал иначе. Она немного пожаловалась, но забыла спросить, что мне прислать. «Мам, слушайся врачей», — сказала я. «Передай Даре, что я кормлю птичек, — ответила она. — И не обижайте его, бедный мальчик, он совсем один; вы его не цените. Я тоже одна, но я горжусь, что у меня есть вы двое, такие образованные, такие порядочные люди. Я рада, что ты никогда не шла на компромисс», — добавила она. «Пришли мне сушеной вишни, пожалуйста», — попросила я. «И орехов?» — спросила она. «И орехов, мам. Люблю орехи».

В последний раз, когда я ей звонила, она казалась совсем слабой, но была в приподнятом настроении. Она была очень рада меня слышать. «Ази, это ты?» — спросила она. «Да, мам, — ответила я. — Мам, нам тебя так не хватает. Я так многим тебе обязана». «Что?» — переспросила она. «Я так многим тебе обязана. Ты поехала со мной в Ланкастер, сидела ночами. . .» Но она отвлеклась и больше меня не слушала. «Что тебе прислать? Грецкие орехи остались?» «Да, мам, да, пожалуйста, мам. . .» Разве могла я сказать ей — мам, пожалуйста, не умирай? Ее голос то и дело обрывался; она больше не нуждалась в моем внимании. Когда я звонила, она обычно так много говорила, и раньше мне хотелось, чтобы она говорила

меньше, но теперь я хотела слышать ее голос, а она молчала. Она была так одинока, но больше в нас не нуждалась.

В день, когда я узнала о ее смерти, шел снег. Я была одна и ждала подругу, которая должна была заехать и отвезти меня на работу. Зазвонил телефон. Повесив трубку, я не стала ничего делать. Я столько месяцев представляла себе ее смерть, а теперь не могла даже об этом думать. Дезире, любимая героиня моего детства, говорила, что слова «смерть настигнет каждого» никогда никого не утешают. Папа тоже умрет, подумала я.

Почему мы не уделяем больше внимания тем, кого любим? Почему не расспрашиваем во всех подробностях о детстве, о том, что они чувствуют, о чем мечтают, от чего устали, о чем им не хочется говорить? Почему не настаиваем? Почему не храним все фотографии, ничего не записываем, не расспрашиваем других о том, что им известно, — тех, кто старше нас, кто знает то, чего не знаем мы?

Меня охватил необъяснимый страх, что придется говорить с окружающими о смерти матери. Я даже не хотела звонить брату в Лондон, рассказывать мужу и детям. Мне самой надо было кое-что понять, прежде чем вслух признать факт ее смерти.

А как же невидимые жители параллельного мира, сотканного из ее прошлого? Она создала

этот мир, а потом взвалила на нас ответственность за безвозвратно утерянное былое. Но они же неизбежно явятся, эти призраки, которых десятилетиями удавалось держать в узде; вскоре они явятся и потребуют, чтобы им разрешили говорить за себя, как потребовала я. Теперь всякий раз, когда я пыталась писать благодарности к книге и начинала со слов «моей матери Незхат», эти призрачные тени выступали из сумрака и с вызовом спрашивали: «И что там с твоей матерью Незхат? Давай, скажи нам правду в кои-то веки».

Умерла ли она, как жила, окруженная иллюзиями? В жизни эти иллюзии были разрушительными, но в конце стали ее спасением. Пари сказала, что ближе к концу они говорили ей, что режим пал и скоро мы с детьми вернемся из Америки. Мать начала расспрашивать про конкретных представителей режима. Хотела знать, что случилось с бывшим президентом Рафсанджани, с высшим руководителем аятоллой Хаменеи. Пари отвечала, что они ждут суда. Все закончится хорошо; все случилось именно так, как вы предсказывали, говорили они. Услышав об этом, я подумала, что мать до конца отказывалась принимать все, о чем ей не хотелось знать, и до последнего сопротивлялась «нежелательному».

После смерти матери я в течение нескольких недель регулярно поднималась наверх в спальню, рассыпала по кровати ее фотографии

и рассматривала их через лупу. Родных тревожило мое поведение, но меня почему-то успокаивал этот ритуал. Однажды Негар и Дара сели со мной. Помню, они пытались уговорить меня спуститься вниз и посмотреть с ними «Сайнфелда», как обычно; их голоса были спокойны, но глаза тревожно блестели. Ничего не добившись, они сели на край кровати; брали ту или иную фотографию, комментировали ее, удивлялись, какой молодой была маман Несси и как совсем иначе выглядела. Дара сказал, что скучает по своим птичкам, которых они вместе кормили, хотя на самом деле это была ее идея, а он ходил с ней, чтобы ей подыграть. «Маман Несси не птичек кормила, а меня, — сказал он. — Шоколадом и конфетами». «Потому что ты был ее любимчиком, — заметила Негар. — Меня дедушка больше любил; называл меня „маленькая Ази“ и рассказывал истории из „Шахнаме“. Мы вместе сажали цветы в саду. Маман Несси тоже рассказывала истории. В основном сказки, но мне больше нравилось слушать, как они познакомились с Саифи». Негар спросила, помню ли я, как бабушка рассказывала про свое красивое платье и первый танец. «Они кружились и кружились», — сказала Негар и показала руками, как они кружились. Конечно, я все помнила. Я снова попыталась вспомнить мамин голос — он доносился словно издалека, когда она описывала тот волшебный день, застывший во времени, как

сказки, которые она любила рассказывать моим детям.

«Мы познакомились на свадьбе моего дяди. Мне было всего девятнадцать; в тот день я выглядела потрясающе. Церемоний было две: одна в середине утра — я надела крепдешинное платье — и еще одна вечером, на нее я пришла в платье из атласа. Саифи был очень хорош собой — сын премьер-министра; как и я, из царского рода Каджаров. Он все смотрел в мою сторону, но, поскольку на свадьбе присутствовал мой отец, не решался подойти ближе. Ни один мужчина не осмеливался ко мне подойти, кроме дяди: с ним я танцевала первый танец. Стоило отцу уйти, как Саифи пригласил меня танцевать, и не раз, а целых четыре; мы танцевали до тех пор, пока дядя не начал гневно на нас посматривать. На следующий день Саифи с семьей пришли к нам в дом просить моей руки...»

Опасности любви

КОГДА мы уехали из Тегерана, я попыталась сохранить в памяти образ отца: как он стоял в аэропорту и смотрел на нас, пока мы ждали в очереди на таможню. Тогда я думала, что больше никогда его не увижу. Я очень по нему скучала, пока мы жили в Потомаке, штат Мэриленд, но никогда не звонила первой: звонил всегда он и оставлял сообщения на автоответчике, а я по голосу, не по словам, понимала, что он обижается. «Просто хотел услышать твой голос, — говорил он. — Сегодня же у Негар день рождения». «Слушал тебя по „Голосу Америки“ и Би-би-си, но хотел бы услышать по телефону». Вышла «„Лолита“ в Тегеране», и я сначала не стала отправлять ему экземпляр. «Слышал, что у тебя вышла книга, — сказал он автоответчику. — Люди спрашивают, о чем она, а я не знаю, что ответить. Я твой отец, а все узнаю последним». У меня разрывалось сердце, когда я слышала его голос, но я не знала, как реагировать на эти сообщения.

Иногда я перезванивала; обычно он звонил с работы, и я тоже звонила ему на работу. Мы подолгу разговаривали; услышав его голос, я начинала сильнее тосковать и обещала писать. Говорила, что пришлю ему статьи о своей книге. Иногда он присылал факс и просил меня быть добрее к его жене — мол, он ее действительно любит, и ему всегда казалось, что я тоже ее любила, что мы с ней друзья. После этих факсов я обычно ему перезванивала. «Ты правда счастлив?» — встревоженно спрашивала я.

В последний раз мы виделись летом 2003 года в Лондоне, где собирались всей семьей. Шахран и Мохаммад развелись, Мохаммад женился на другой женщине, замечательной, ее звали Джорджи. И у меня, и у Мохаммада сохранились с Шахран теплые дружеские отношения; она тоже жила в Лондоне. Летом папа казался таким слабым. Он был все тем же щеголем, обаятельным и предупредительным, но выглядел хрупким. При встрече мы заплакали и в течение последующих шести дней много раз лили слезы за разговором. Я все хотела убедиться, что он счастлив, хотя он каждый раз об этом твердил. Он казался обеспокоенным. Повторял, что должен продать землю. Он обещал Шахин, что та ни в чем не будет нуждаться. Говорил, что мы, его дети, в порядке, мы финансово обеспечены, у нас любящие семьи, но у Шахин

никого нет. Кроме матери, которая недавно умерла, никто никогда не ценил ее, да и та больше любила сына, хотя он никогда о ней не заботился. Я бы поверила ему, если бы эти слова не были мне хорошо знакомы, если бы он не повторял все то же самое почти всю жизнь, пока был женат на матери. Он также сказал, что хочет уехать из Ирана и провести последние годы жизни с нами. Мы с братом всячески это поощряли. Когда он у-



*Отец с сыном
Мохаммада Синой,
2002 год*

ехал, Мохаммад сказал, что начнет готовить папин переезд в Англию; сперва перевезет его, затем его жену.

Мы гуляли в парке Финсбери: брат играл с сыном, мы с отцом прохаживались вокруг озера. Папа сказал: «Я не был бабником. Я изменял твоей матери всего два раза — с Зибой и Шахин. Твоя мать была хорошей женщиной, доброй, поэтому мне было так тяжело от нее уйти. Я пытался, все перепробовал,

но она с самого начала была для меня потеряна; все самое важное случилось с ней до нашего знакомства».

Осенью 2004 года мы с братом и Джорджи условились вместе провести рождественские каникулы. Они хотели, чтобы мы все поехали в Новый Орлеан. Но внезапно в ноябре Мохаммад позвонил и сказал, что поездку пришлось отменить: папа болен, у него случился сердечный приступ. Мохаммад немедленно уезжал в Тегеран. В отличие от болезни матери, я восприняла это поначалу спокойно. Всю жизнь я боялась его потерять. Теперь мне казалось, что моя тревога меня оберегает; я так сильно хотела, чтобы он жил вечно, что мое желание работало как заклинание и, как мне казалось, могло спасти его от смерти. До попадания в больницу он каждый день работал, выходя из дома рано утром, и дважды в неделю ездил на Каспийское море, договариваясь о сделках с землей, которую его жена так мечтала продать. Он сражался с революционными комитетами, пытался увещевать местных жителей, самовольно занявших его земли после революции, местное духовенство — всех, кто был готов брать взятки или перейти на его сторону. В последнем дневнике только и записей о том, как он тревожился из-за этой земли. Он пишет о Мохаммаде, о Джорджи, о ее матери, приезжавшей в Тегеран. Одна запись сделана дрожащим почерком и полна надежды — она о том, что мы с Мохаммадом предлагаем ему уехать из Ирана и перебраться в Лондон. Он написал, что хочет этого больше всего в жизни. Как и в тюремных дневниках,

он много пишет об Иране и иранцах, о дальнейшем пути развития нашего государства.

Я позвонила ему в больницу. «Привет, пап», — сказала я. «Мохаммад, это ты?» — спросил он. «Нет, это я, Ази». «А я как раз читал твою книгу. Прочел сто пятьдесят страниц». («„Анти-Терра“ и „Читая „Лолиту“ в Тегеране“: книги Ази», — написал он в верхнем углу страницы дневника.) Он сказал, что ему уже лучше. Скоро он вернется домой. Как только доктор разрешит, улетит в Лондон.

Отца выписали, и через несколько дней брат отправился в Лондон готовиться к его приезду. В их доме было много лестниц. Они продали его и в большой спешке купили другой дом, потеряли в деньгах, но сделали все, чтобы отцу было удобно. Мохаммад позвонил и сообщил, что отец приедет в январе; велел мне собираться в Лондон. У меня было много дел, и, помню, я все думала — ну почему именно сейчас, почему не в другое время, например, месяца через два? Как я поеду в Лондон, когда у меня столько работы? Я поговорила с папой по телефону, и тот сказал, что ему лучше. «Скоро увидимся», — сказал он. А через два дня позвонил Мохаммад. На следующий день после того, как врач дал добро на поездку в Лондон, папа умер.

Ближние друзья в подробностях рассказали мне о последних днях и минутах матери. Но я не знала ничего о том, как отец провел свои последние часы. На протяжении болезни за ним ухажива-

ли мой дядя и кузен, врачи. Они присылали мне историю болезни и результаты диагностики. Даже после выписки из больницы отец ходил на работу. Дядя сказал, что ситуацию усугубили стресс и поездки на Каспий, но отец не страдал. Он никогда не хотел болеть и причинять окружающим неудобство. Всегда это говорил. Может, и умер, потому что не хотел причинять неудобство дочери, чтобы ей не пришлось менять свои планы.

После выписки из больницы он жил в гостевой комнате, потому что не хотел мешать жене, вставая среди ночи. В ночь, когда он умер, ему стало плохо около полуночи, но жена зашла к нему не сразу. Смерть подтвердили в шесть утра.

Я думаю об этих часах, этих днях и пытаюсь представить, что он чувствовал. Боялся ли, как свидетельствует запись из последнего дневника, в которой он жалуется на провалы в памяти, на то, что его «дорогая» Шахин давит на него по поводу земли на севере, на страх смерти? Обрел ли он покой, как твердил много раз и как написано в эпитафии, которую он сочинил для собственного надгробья?

Мне несколько раз говорили: я не виновата, что не находилась рядом с родителями в момент их смерти. Но меня это не утешает. Мне не становится лучше, когда я убеждаю себя, что не увиделась с ними из-за политики; меня не успокаивает мысль, что другим дочерям пришлось куда хуже

моего — например, детям моей бывшей школьной директрисы, которых не было рядом, когда на нее надевали мешок и расстреливали. Я проклинаю тоталитарные режимы за то, что те задевают наши глубочайшие чувства. Революция научила меня не утешаться чужим несчастьем, не благодарить судьбу за то, что на долю других выпало больше страданий. Подобно любви и радости, боль и потеря — слишком личное, слишком индивидуальное переживание; сравнение с другими никак на них не влияет.

В итоге я все же поехала в Лондон. В новом доме Мохаммад и Джорджи поселили меня в папиной комнате — единственной, которая была полностью готова и укомплектована мебелью; в гостиной еще стояли коробки. Это была маленькая комната на первом этаже. Там стоял комод, ваза с цветами, а окно выходило в маленький садик. Почти всю комнату занимала кровать. Когда я прощалась с братом в аэропорту, он сказал: «Ну вот и все. Теперь мы — старшие».

После смерти отца Мохаммад вернулся в Тегеран, побывал на его похоронах и прочих церемониях. Позвонил мне и сказал, что от нас зависит, будем ли мы поддерживать теплые дружеские отношения с Шахин-ханум. Все-таки отец любил ее и рассчитывал, что мы отнесемся к ней почтительно. Я позвонила высказать соболезнования,

и мы долго разговаривали: она рассказала, как в последние минуты он держал ее за руку, твердил, как любит ее, и благодарил за все, что она для него сделала. Я попросила ее отдать Мохаммаду копии отцовских стихов, особенно посвященных матери — у нас были не все, — и несколько его картин — после смерти матери их вернули отцу, там были ее портреты и наши с Мохаммадом. Шахин пообещала это сделать. Через несколько дней перезвонила и исключительно добрым и сочувствующим тоном попросила прислать ей копию моего свидетельства о рождении, чтобы она могла получать отцовскую пенсию. Я снова напомнила ей прислать отцовские стихи и картины. Также попросила отдать мне несколько памятных личных вещей. Получив копию моего свидетельства, Шахин отправила мне папины очки, два галстука и ремень. Присылать копии стихов и картины она отказалась. Эта подлость разорвала последнюю тонкую нить, что связывала нас с ней.

Много десятилетий назад, во время нашей первой настоящей ссоры с матерью, когда в возрасте четырех лет я инстинктивно и с некоторой досадой поняла, что не могу переставить кровать в свой любимый угол комнаты, отец научил меня возвращать себе чувство контроля над ситуацией, переносясь в иной мир, который никто не может у меня отнять. После Исламской революции я осознала хрупкость нашего повседневного

существования, легкость, с которой можно отнять у человека все, что он называет домом, все, что составляет его идентичность, ощущение «я» и чувство собственной принадлежности. Я поняла, что отец и его истории подарили мне возможность строить дом, не зависящий от географии, национальности или чего-либо еще, что другие люди могли у меня отнять. Эти истории не оградили меня от боли, которую я испытала после смерти родителей, не принесли утешения и не помогли подвести черту. Но лишь после смерти отца и матери я поняла, что они, каждый по-своему, подарили мне дом, который всегда со мной; дом, хранящий воспоминания и неподвластный тирании людей и времени.

БЛАГОДАРНОСТИ

Эта книга посвящена памяти моих родителей Незхат и Ахмада Нафиси. Я выражаю им свою любовь и почтение. Мне также хотелось бы поблагодарить моего брата Мохаммада — неизменно внимательного, щепетильного и великодушного брата, который совершенно не причастен ко всему описанному в этой книге; моего мужа, лучшего друга и критика Биджана Надери и наших детей Негар и Дару Надери за их любовь, терпение и поддержку, за нашу общую историю и за то, что вместе мы смогли вообразить невозможное; а также Брайс Нафиси Надери за долгие часы в ее замечательной компании.

Спасибо моей любимой племяннице Санам Бану Нафиси, которой я рассказала так много историй, и племяннику Сине Нафиси, новому рассказчику в нашей семье; моей близкой подруге и невестке Джорджине Перри-Крук (я навсегда запомню комнату с цветами). Спасибо Шахран Табари,

прочитавшей рукопись с неизменным интересом и вниманием. Я благодарна ей за прозорливые замечания и предложения, за дружбу и любовь.

Есть и другие члены нашей семьи, чья поддержка облегчила мой труд по написанию этой книги: мои золовка Мани Агазаде и ее муж Кью, вторая золовка Таране Шамзад и наш дорогой друг Мохаммад Шамзад, светлая ему память и благодарность за щедрость, деликатность и любопытство. Спасибо моему кузену Хамиду Нафиси, прочитавшему черновой вариант рукописи, за его время и замечательные комментарии. Спасибо нашему хорошему другу «Фариару».

За любовь, поддержку, чудесную компанию и беседы благодарю: Джоанну Лидом Акерман, Ладан Боруманд и моего кузена Абди Нафиси (благодаря ему я чувствую себя в Париже, где бы ни находилась), Фару Эбрахими, моих дядю и тетю Резу и Ашраф Нафиси, моих кузенов Надера и Коруша Нафиси, Саманту Пауэр, Альберто Мангуэля, «Пари», Софи Бенини Пьетромарш, Джеки Лайден, Хайде Дарагахи, Стивена Баркляя и замечательных сотрудников Steven Barclay Agency, в том числе новенького Майло.

Спасибо друзьям, коллегам и учреждениям, которые помогли с изучением и подготовкой материала для книги: Фонду иранских исследований и моей доброй подруге Махназ Афхами за поддержку и доступ к документам и библиотеке Фонда. Мой

друг и коллега Хормоз Хекмат, главный редактор «Иран Наме», щедро поделился своим временем и ресурсами и обеспечил меня книгами, ценной информацией и помощью с описанием исторических событий. Я также благодарна своей подруге Азар Ашраф, ассистентке отдела специальных коллекций библиотеки Принстонского университета, за доступ к документам и источникам.

Массуме Фархад, куратор галерей Фрира и Саклера Смитсоновского института, как всегда, помогла не только дружбой, комментарием и поддержкой, но и дала мне доступ к замечательным фотоархивам старого Тегерана и фотографиям периода Каджаров. Я также благодарна ей и моей подруге Рое Боруманд за то, что еще раз напомнили мне о неделимости формы и содержания. Спасибо Рое и фонду Боруманда по защите демократии в Иране за информацию о трагедии в кинотеатре «Рекс» в Абадане.

Информация о Саифи и молодости моей матери и необходимые контакты попали ко мне благодаря Хале Эсфаханиари, а Фанни Эсфаханиари и есть та милая австрийка, о которой я рассказываю.

Спасибо Маджиду Нафиси, что разрешил использовать цитату из его очерка «Любовь и революция», опубликованного 3 января 2008 года (<http://www.iranian.com/main/2008/love-and-revolution>), и текст его письма к покойной жене Эзатт Табиян, опубликованный в переводе из книги

на фарси *Raftam golat bechinam* (Стокгольм, Швеция: Baran Publishers, 2000).

Спасибо биографу доктора Фаррухру Парсы Мансуре Пирниа за информацию и фотографию доктора Парсы.

Переводы поэмы Фирдоуси «Шахнаме» на английский выполнены Диком Дэвисом, неподражаемым переводчиком, которому мы обязаны переводами лучших произведений классической персидской литературы на английский язык. Переводы Форуг Фаррохзад взяты из биографии Майкла Хиллмана «Одинокая женщина». Мемуары Саида Нафиси выходили под названием *Bib Rivayat-i Said Nafisi: Khatirat-i Siyasi, Adabi, Javani*. Информацию об исламской революции я взяла из книги Бакера Мойна «Хомейни: жизнь аятоллы» (*Khomeini: Life of the Ayatollah*).

Я также хочу поблагодарить библиотеку Школы международных исследований им. Сидни и Эзры Мейсонов (SAIS Mason) при Университете Джонса Хопкинса, библиотеку Гельмана при Школе международных исследований Университета Джорджа Вашингтона, и публичную библиотеку округа Колумбия (филиал Вест-Энд), а также Politics and Prose и Bridgestreet Books.

Мой агент Сара Чэлфант стала мне уникальной подругой и мудрым советчиком с момента нашего первого разговора о Генри Джеймсе. Ей и другим сотрудникам Wylie Agency я обязана неувловимым,

но важным элементом книги — качеству. Без их неослабевающей преданности мои книги существовали бы потеряли.

Я также хочу еще раз выразить благодарность Школе международных исследований Университета Джонса Хопкинса за то, что предоставили мне место и время для написания этой книги и других проектов в Школе. Особая благодарность декану Джессике Айнхорн и Тому Кини, бывшему директору Института внешней политики, а также его нынешнему директору Теду Бейкеру. Я писала эту книгу, продолжая работать в Университете Джонса Хопкинса, благодаря гранту Фонда Смита Ричардсона. Спасибо Фонду за щедрость.

Лейла Остин начинала работать моей ассистенткой, но за последние три года наши отношения перешли от рабочих к теплым дружеским и ценному сотрудничеству. Лейла оберегала мое рабочее пространство не только от посторонних вмешательств, но и от препятствий, которые я чинила себе сама. На разных этапах она помогала с исследованием и сбором материала, составлением глоссария и хронологии, и выполняла эти задачи с интеллектуальным любопытством и добросовестностью, с какими берется за все дела.

В издательстве Random House эту книгу вела Кейт Медина; она внимательно, терпеливо и заботливо поддерживала ее, невзирая на все трудности. Я рада, что книга попала в хорошие руки.

Хочу также поблагодарить Миллисент Беннетт за поддержку в любое время дня и ночи и за терпение к автору, который на всех этапах написания книги никак не хотел расставаться со своей рукописью. Мы редко ценим труд и преданность людей, остающихся за кадром, а ведь без работы команды невозможно выпустить даже маленькую книжку. Мне бы хотелось особенно поблагодарить моего издателя Джину Сентрелло и всех чудесных сотрудников Random House: Тома Перри, Салли Марвин, Лондон Кинг, Бенджамина Дрейера, Винсента Ла Скалу, Кэрол Шнайдер, Санью Диллон, Авиде Баширрад, Клэр Тисне, Рэйчел Бернстайн, Элизабет Полсон, Дебби Арофф, Анну Бауэр, Джин Мидловски, Лору Голдин, Дебору Фоли, Ричарда Элмана, Барбару Бахман, Марию Брэкел, Фрэнки Джонс, Рэйчел Омански, Кейт Норрис, Эллисон Меррилл, Джиллиан Скиави, Дженнифер Смит и Кэрол Потикни.

Все эти трудные годы Джой де Менил оставалась для меня идеальным редактором и хорошим другом. Словами не выразить благодарность за ее поддержку, преданность своему делу, бесценные замечания и предложения. Рождение этой книги всегда будет ассоциироваться у меня с рождением дочери Джой, чудесной Сесили Луизы Рид.

Пожалуй, самые прекрасные воспоминания, связанные с написанием этой книги, — время, проведенное в писательской резиденции Амери-

канской академии в Риме весной и летом 2005 года и в резиденции корпорации Яддо в июне 2007 года. Выражаю благодарность этим двум прекрасным учреждениям и их хранителям.

Наконец, большая часть этой книги написана в различных местах Вашингтона. Упоминаю те, где я бывала особенно часто: Национальная галерея искусств и музей «Собрание Филлипса» и музейные кафе; кафе «Сохо»; «Старбакс» в районе Уотерфрант, книжный магазин «Барнс энд Ноубл» в Джорджтауне и магазин книг и грампластинок «Бордерз» на 18-й улице.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ³⁰

Здесь приведен писок литературных произведений, которые я упоминаю в мемуарах.

Поэзия

Форуг Фаррохзад. Избранные стихотворения

Фахраддин Гургани. Вис и Рамин

Абулькасим Фирдоуси. Шахнаме

Хафиз

Омар Хайям. Рубаи

Руми

Саади

Сохраб Сепехри. Избранные стихотворения

Ахмад Шамлу. Избранные стихотворения

³⁰ Авторский список рекомендованной к прочтению литературы шире; здесь приведены только произведения, издававшиеся на русском языке. — *Примеч. ред.*

Проза

Симин Данешвар. Рассказы

Садег Хедаят. Слепая сова

Шарнуш Парсипур. Женщины без мужчин

Ирадж Пезешк-зод. Дядюшка Наполеон

Обейд Закани. Веселая книга

Публицистика

Пол Остер. Измышление одиночества

ВАЖНЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ ИРАНА XX ВЕКА

Далее перечислены избранные моменты в истории Ирана XX века, ставшие историческим фоном для событий этой книги.

1905 – 1911: в ответ на обширные протесты против деспотической монархической системы царь из династии Каджаров Мозафереддин-шах подписывает Конституционную хартию — первый подобный закон на Ближнем Востоке. Протесты возглавляют недовольные представители духовенства, базарные торговцы и иранская интеллигенция, в том числе женщины. Принятая в итоге Конституция резко ограничивает власть шаха, объявляет об учреждении парламента и официально помещает шаха под юрисдикцию закона. В 1909 году шейх Фазлолла Нури, консервативный священнослужитель и противник конституционных реформ, повешен за противодействие конституционным ограничениям власти духовенства.

Аятолла Хомейни и религиозные консерваторы впоследствии объявляют его мучеником.

1921: на фоне внутренней политической нестабильности, экономического спада и зарубежного вмешательства во внутреннюю политику Ирана Реза Хан, полковник Персидской казачьей дивизии, обученной российскими офицерами, возглавляет успешный военный переворот против династии Каджаров. Он становится главнокомандующим и министром обороны при новом премьер-министре Зияэддине Табатабаи.

1925: коронация Реза Хана; он становится Реза-шахом Пехлеви, основателем династии Пехлеви. Шестнадцать лет его авторитарного правления сосредоточены на формировании сильного централизованного правительства, укреплении территориальной целостности и суверенитета Ирана и создании административных, судебных и образовательных институтов, необходимых для выхода Ирана на современный уровень развития. Считается, что именно он модернизировал Иран на западный манер; его инициатива обрушивается на духовенство и все аспекты иранского общества, которые он считает «отсталыми».

1935: при Реза-шахе название страны официально меняется с Персии на Иран. В попытке

провести быструю модернизацию в 1936 году он издает государственный указ, запрещающий ношение хиджаба в общественных местах. Это одна из многих принятых им мер против религиозных предписаний. Под давлением общественности в 1941 году указ отменяют. В 1934 году учрежден Тегеранский университет — первый в Иране вуз западного типа.

1941: во время Второй мировой войны Великобритания и СССР, исторически преследовавшие в Иране свои интересы, объединяются и оккупируют страну, пытаясь противостоять захвату немцами иранских нефтяных ресурсов. Реза-шаха, чье недоверие обоим союзникам приводит к налаживанию тесных связей с Германией, вынуждают отречься от трона в пользу сына, Мохаммада Резы Пехлеви. Он отправляется в ссылку в Йоханнесбург и там в 1944 году умирает.

1943: Иран объявляет войну Германии; это становится условием вступления в ООН. Президент США Франклин Рузвельт, британский премьер-министр Уинстон Черчилль и генсек Советского Союза Иосиф Сталин встречаются в Тегеране в ноябре 1943 года и уверяют шаха, что поддерживают неприкосновенность Ирана.

1945 – 1946: хотя принятая в Тегеране в 1943 году трехсторонняя декларация союзных сил гарантировала территориальную неприкосновенность Ирана после окончания войны, в 1945 году СССР отказывается отводить войска от северной границы государства и поощряет движение сопротивления, которое приводит к формированию двух сепаратистских движений в северных регионах Азербайджана и Курдистана. В 1946 году в результате давления со стороны Совета безопасности ООН и США происходит свержение этих двух просоветских автономных правительств. В начале 1945 года пост премьер-министра ненадолго занимает Сахам Солтан (отец Саифи).

1951 – 1953: премьер-министром становится Мохаммед Моссадег; он проводит успешную национализацию нефтяной промышленности, невзирая на протесты со стороны британцев. Однако он встает поперек горла шаху, и в 1952 году тот снимает его с поста, а затем снова делает премьер-министром из-за его огромной популярности. В 1953 году Моссадег вынуждает шаха отправиться в короткую ссылку в Рим. Осенью 1953 года ЦРУ устраивает переворот и свергает Моссадега; шах возвращается.

1961: отец Азар Ахмад Нафиси становится мэром Тегерана.

1963: на пост премьер-министра назначают Хасана Али Мансура. В результате «белой революции» — реформ, благодаря которым у женщин впервые в иранской истории появилась возможность участвовать в политической и административной деятельности — мать Азар Незхат становится одной из шести первых женщин — членов парламента. Директор школы Азар доктор Парса становится сенатором, а позже — министром образования. «Белая революция» вызывает широкое недовольство духовенства; пользуясь этим, аятолла Хомейни разжигает протесты против светских правительственных реформ. После протестов, получивших название «мятеж 5 июня», Хомейни попадает за решетку. В декабре сажают в тюрьму отца Азар.

1964: принимают закон о капитуляции: американские солдаты получают в Иране дипломатическую неприкосновенность. Следует взрыв националистических и антиправительственных настроений. Аятоллу Хомейни освобождают из тюрьмы и высылают в Турцию. В конце концов Хомейни находит пристанище в соседнем Ираке.

1965: по пути в парламент убивают премьер-министра Мансура.

1967: принимают закон о защите семьи, предоставляющий женщинам больше свобод и юридических прав на детей. С сентября по ноябрь проходит суд над Ахмадом Нафиси. Его оправдывают по всем обвинениям.

Доктор Фаррухру Парса назначается на пост министра образования. Всю свою карьеру она выступала за гендерное равенство в Иране. Получив степень доктора медицины, преподавала биологию в школе Жанны д'Арк — тегеранской школе для девочек. В 1963 году доктора Парсу избрали в парламент; она продолжает бороться за права женщин и поощряет принятие поправок в существующие законы о женщинах и семье. В 1965 году ее назначают заместителем министра образования; в 1968 она становится первой женщиной в составе кабинета министров. Фаррухру Парса казнена в 1980 году Исламской республикой.

1971: шахское правительство организует роскошные празднования 2500-летнего юбилея со дня основания Персидской империи Киром Великим. Празднования в Персеполисе планировались в течение десяти лет; их подготовка обошлась в 120 миллионов долларов. Весь мир наблюдает за торжеством; в Персеполис съезжаются представители королевских семей и главы государств со всего света. Подобное расточительство критикуют как внутри страны, так и за ее пределами.

1975: шах создает однопартийную систему и учреждает Растахиз — партию возрождения иранской нации. Однако попытка объединить страну посредством объединения правительства не встречает поддержку общества. Возникает парадокс: иранское общество все больше либерализуется, но политическая система при этом становится все более закрытой. Это приводит к отчуждению среднего класса.

1976: шах меняет иранский солнечный календарь с исламского на доисламский (исламский календарь ведет отсчет от переселения пророка Мухаммеда в Медину (Хиджру); доисламский — с основания Персидской империи в 558 году. до н.э.). Попытка акцентировать доисламское прошлое Ирана вызывает ярость духовенства; антимо-нархические настроения растут. Махназ Афхами становится министром по женским вопросам. Ее карьера в сфере борьбы за женские права началась еще в 1970 году, когда она возглавила Организацию женщин Ирана. Будучи главой этой организации, она работала над поправками в закон о защите семьи. В 1976 году ее назначили министром по женским вопросам; она занимала этот пост до Исламской революции 1979 года. За этот период иранки получили право равной оплаты равноценного труда, матери малолетних детей — право работать на полставки с сохранением жалования; были

созданы детские сады и ясли на предприятиях. В 1978 году ее попросили следить за работой комиссии, которой поручили отслеживать соблюдение прав женщин в соответствии с национальной программой реформ.

1977: президент США Джимми Картер учреждает Управление по правам человека, провоцируя волну требований по организации подобного управления при иранском правительстве. В результате давления общественности освобождают ряд политзаключенных. Во время официального визита шаха в Америку его встречают протестами и демонстрациями. Азар среди протестующих.

1978: оппозиция шахскому режиму усиливается и приводит к беспорядкам по всей стране, подготавливая почву для Исламской революции. В августе последователи Хомейни поджигают кинотеатр «Рекс» в Абадане; гибнут 430 человек. Организацию пожара по ошибке приписывают шахской тайной полиции САВАК. Это заблуждение приводит к дальнейшему усилению общественного недовольства монархией и готовит почву для восстания духовенства, поддерживаемого большинством светской интеллигенции. Ирак экстрадирует Хомейни; тот переезжает в Париж и продолжает призывать к революции и свержению режима на глазах мировой общественности.

1979: в январе на фоне усиливающихся протестов шах уезжает из Ирана и назначает премьер-министром Шахпура Бахтияра. Однако Бахтияру не удается взять ситуацию под контроль. В феврале Хомейни возвращается в Тегеран, начинается Исламская революция. 2500-летняя монархия сменяется Исламской республикой под руководством аятоллы. Устанавливается шариат, закон о защите семьи отменяют, запрещают все «западное». Первого апреля учреждают Исламскую республику. В апреле Бахтияр уходит в подполье; в 1991 году в Париже его застрелят. Тюрьму Эвин штурмуют и занимают революционеры. В ноябре происходит захват американского посольства; дипломатов берут в заложники, что является нарушением закона о капитуляции, дарующего дипломатическую неприкосновенность гражданам США. Международная общественность возмущена, но заложников освобождают лишь в 1981 году.

1980–1988: в сентябре 1980 года иракская армия под руководством президента Саддама Хусейна вторгается в западный Иран и пытается взять под контроль провинцию Хузестан, где находятся богатые нефтяные месторождения. Иракцы также стремятся занять оба берега реки Шатт-эль-Араб, протекающей по границе Ирана и Ирака. Им ненадолго удается оккупировать иранский город Хоррамшахр (Хорремшехр), но к 1982 году

их оттесняют к границе. После этого Иран и Ирак начинают периодические взаимные авиационные и ракетные обстрелы городов, военных баз и нефтяной инфраструктуры. В 1988 году, через восемь лет после начала войны, Ирак соглашается на иранские условия: вывод иракских войск с оккупированных иранских территорий; разделение контроля над рекой Шатт-эль-Араб; обмен военнопленными.

1989: через год после окончания ирано-иракской войны умирает аятолла Хомейни.

ГЛОССАРИЙ

«*Омид Иран*» — иранский журнал, популярный в 1960-х.

«*Сепид Сеях*» — крупная иранская газета середины 1960-х.

Адиб — персидское слово, означающее человека, в совершенстве владеющего письменной речью, поэта-ученого, образованного человека.

Аме — тетя со стороны отца.

Аму — дядя со стороны отца.

Ахемениды — правящая династия древней персидской империи Ахеменидов, существовавшей с 550 по 300 год до н.э.; первая из персидских империй, контролировавшая значительные регионы Большого Ирана. Основатель империи — Кир Ве-

лий. Эпоха Ахеменидов считается относительно спокойным периодом в истории Ближнего Востока; на трех континентах мирно сосуществовали множество различных культур, практиковались разные религии и обычаи. Империя Ахеменидов при Кире и Дарии Великом славилась своими прогрессивными методами планирования, превосходной организацией административной и военной сферы, гуманистическими взглядами.

Бахаи (*бахаисты*) — последователи Бахауллы и религиозного течения *бахаизм*. Течение основано в девятнадцатом веке в Персии; основной его идеей является духовное единство всего человечества. Бахаисты утверждают, что на протяжении всей истории человечества основные мировые религии вовлечены в текущий диалог, а все пророки всех религий связаны между собой; человечество коллективно эволюционирует. Эта секта, являющаяся ответвлением шиизма, становится центральным объектом преследований в Исламской республике, главным образом из-за их утверждения, что Бахаулла — «сокрывшийся имам»³¹. В ортодоксальном шиизме это считается ересью.

³¹ Двенадцатый имам, последний преемник пророка Мухаммеда, который, по преданию, исчез в малолетнем возрасте в 873–874 году и должен появиться перед концом света.

Бахман — одиннадцатый месяц персидского солнечного календаря.

Джан — ласковая приставка к имени, означающая «мой дорогой». Разговорный вариант — *джун*.

Джимократия — термин, возникший в эпоху президентства Джимми Картера, когда во внешней политике США произошли изменения, неизбежно повлиявшие на восприятие прав человека внутри Ирана и за рубежом.

Заяндеруд — одна из крупнейших рек Иранского нагорья, находится в провинции Исфахан.

Зороастризм — исконная религия персов. В основе зороастризма — философия и учения пророка Заратустры (Заратуштры), воспринимавшего вселенную как космическую борьбу правды и лжи. В основе его религиозной философии лежала идея о том, что целью человеческого рода, как и прочих живых существ, является поддержание *аши* (естественного порядка вещей, сочетающего сотворение, существование и свободную волю). Для людей это означает активное участие в жизни и следование принципу «праведные мысли, праведные слова, праведные деяния». Зороастризм был доминирующей религией Большого Ирана до арабского завоевания и распространения исла-

ма; в настоящее время число приверженцев религии уменьшилось и составляет не более 200 тысяч во всем мире.

Зуркане — спортивный зал для занятия традиционной иранской борьбой, где обучали *пахлаванов* (благородных людей, крепких физически и морально). Ритуальные тренировки проводятся под барабанный бой и ритмичные напевы стихов из «Шахнаме» Фирдоуси — поэмы, рассказывающей о легендарных подвигах древних персидских царей и воинов. Женщинам запрещено входить в зуркане и участвовать в спортивных состязаниях.

Иран-э Джаван (клуб «Молодой Иран») — группа политических активистов, состоящая главным образом из писателей и интеллектуалов; основана в 1921 году с целью установления в Иране демократии. Первым официальным рупором организации стал журнал «Аянде» («Будущее»); на его страницах реализовывался манифест группы и выражалась острая необходимость в «национальном единстве» Ирана, прежде всего в отношении национального языка.

Исфахан — столица провинции Исфахан, третий по величине город в Иране, расположен примерно в 340 км к югу от Тегерана. Был столицей Ирана около двухсот лет; знаменит прекрасной

исламской архитектурой, множеством крытых мостиков, дворцов, мечетей и минаретов. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каджары — династия, правившая Ираном с 1794 по 1925 год. Одним из наиболее примечательных событий этого периода была Конституционная революция, в ходе которой была установлена свобода прессы, слова и собраний, неприкосновенность жизни и имущества. Конституционная революция положила конец персидскому Средневековью. После оккупации Персии во время Первой мировой войны правление шаха Султана Ахмада само сошло на нет, а в 1925 году к власти пришел Реза Пехлеви; это ознаменовало конец династии Каджаров.

Каср — тюрьма в Тегеране, одна из старейших политических тюрем в Иране и первая, где заключенные получили возможность воспользоваться своими юридическими преимуществами.

Кербела — город в Ираке в 100 км к юго-западу от Багдада. В шиизме считается одним из священных городов наряду с Меккой, Мединой, Иерусалимом и Эн-Наджафом. Во время битвы при Кербеле умер мученической смертью второй шиитский имам Хусейн. Мухаррам — ежегодный праздник в память об этом трагическом дне.

Мектеб — маленькая тесная комната, служащая мусульманской начальной школой; здесь мальчики учились декламации Корана, чтению, письму и грамматике под руководством низкоквалифицированных учителей и низших чинов духовенства.

Мулла — мусульманский титул, который присваивали мусульманским чиновникам в местном управлении и руководителям мечети. Также может использоваться как уничижительное наименование необразованных исламских священников низшей иерархии.

Навруз — традиционный персидский (иранский) Новый год, празднуется в первый день весны и знаменует собой начало персидского календаря. Это доисламский праздник, обычно он совпадает с астрономическим весенним равноденствием и выпадает на 21 марта или ближайшие к нему дни.

Пасур — иранская карточная игра для четырех игроков.

Пехлеви — династия, правившая имперским государством Иран с коронации Реза-шаха Пехлеви в 1925 году до свержения его сына, Мохаммеда Резы Пехлеви в ходе Исламской революции 1979 года. Реза-шах провел масштабную модернизацию Ирана и прозападные реформы, централизовал

правительство. Мохаммед Реза продолжил реформаторскую политику, создал сильную армию и поддерживал дружеские отношения с Западом во время холодной войны. Падение династии Пехлеви ознаменовало конец древней монархической традиции в Иране. Более подробная информация — в разделе «Важные вехи в истории Ирана XX века».

Рамадан — мусульманский религиозный пост, приходится на девятый месяц мусульманского лунного календаря. Считается, что в этот месяц Коран открылся архангелу Джибрилю (Гавриилу), а тот впоследствии передал его пророку Мухаммеду. В Рамадан правоверные мусульмане отказываются от воды и пищи с рассвета до заката. Эта практика призвана научить терпению, жертвенности и смирению. В Рамадан больше времени уделяют молитве и почитанию Бога: отмаливают прошлые грехи и просят наставления на будущее.

Растахиз — партия возрождения иранской нации, учреждена 2 марта 1975 года Мохаммедом Резой Пехлеви в качестве новой и единственной политической партии, к которой должны были принадлежать все иранцы. Так шах пытался умиротворить население, предоставив ему в ограниченной форме возможность участвовать в политиче-

ском процессе. Однопартийная система прожила недолго и приказала долго жить с началом Исламской революции в 1978 году. В наши дни Раствахиз существует в изгнании, носит название Иранская монархическая партия и находится в оппозиции Исламской республике.

Сефевиды — иранская шиитская династия, правившая Персией с начала XVI века и до 1722 года. Сефевиды пытались унифицировать многокультурный Иран и с этой целью установили шиизм официальной религией империи.

Сефидруд — река в иранском городе Гермсар, один из крупных притоков реки Теджен (Герируд). Сефидрудом также называют расположенную на реке курортную зону.

Сунниты — самая многочисленная ветвь ислама; «сунна» означает «принцип» или «путь». Сунниты верят, что первые четыре халифа мусульманской общины были законными преемниками пророка Мухаммеда, и считают, что поскольку Аллах не указал на последующих лидеров общины, их следует определять выборным путем. В рамках суннизма выделяют четыре школы суннитской юриспруденции (мазхабы): маликитская, шафиитская, ханафитская и ханбалитская.

Туде — иранская коммунистическая партия, основанная в 1941 году и имевшая тесные связи с компартией СССР.

Туман — иранская валюта до 1932 года. В 1932 году заменена риалом (1 туман = 10 риалов), но многие иранцы до сих пор в обиходе называют деньги туманами.

Хаджи-ага — почетный титул, дающийся мужчине (ага), совершившему паломничество в Мекку (хадж).

Хамадан — столица иранской провинции Хамадан, построен между 3000 и 1100 годами до н.э.; считается одним из древнейших городов как в Иране, так и во всем мире.

Хан — обращение, эквивалентное слову «господин».

Чадра — верхняя одежда или открытый плащ, который носят некоторые иранки в общественных местах. Представляет собой длинный полукруг ткани, распахивающийся спереди. Чадру накидывают на голову и придерживают руками спереди.

Шейхиты — исламская секта, которая была основана в 1826 году и просуществовавшая до начала

XX века. Ее основатель Ахмед аль-Ахсаи модернизировал учение шиитов, поставив под вопрос авторитет духовенства и основополагающий постулат шиизма о сокрытии двенадцатого имама³².

Шиизм — вторая по численности ветвь ислама, отличающаяся от суннизма тем, что не признает авторитет первых трех халифов (лидеров). Шииты верят, что истинными преемниками пророка Мухаммеда являются только его родственники и потомки (имамы). Это различие привело к духовным разногласиям и разным версиям жизнеописания пророка и традиций: к примеру, в шиизме имамов почитают как безгрешных. Крупнейшее ответвление шиизма — двенадесятничество, являющееся в Иране правящим большинством, — также придерживается концепции *сокрытия* — имеется в виду исчезновение двенадцатого имама, Махди, мессии-анской фигуры, которая должна вернуться в судный день и восстановить справедливость в мире.

Эвин — тюрьма в Тегеране, знаменитая своим крылом для политических заключенных. До и после революции в Эвине содержались многие известные диссиденты.

³² Согласно шиитской традиции, имам Махди (двенадцатый имам) исчез в малолетнем возрасте и ушел в «сокрытие», чтобы однажды вернуться и уничтожить гнет и тиранию.

ОБ АВТОРЕ



АЗАР НАФИСИ — внештатный профессор и директор проекта «Диалог» Института зарубежной политики Университета Джонса Хопкинса. Преподавала западную литературу в Тегеранском университете, Свободном исламском университете и Университете Алламе Табатабаи в Иране. В 1981 году уволена из Тегеранского университета за отказ покрывать голову. В 1994 году попала в стипендиальную программу для преподавателей Оксфордского университета; в 1997 Нафиси и ее семья уехали из Ирана в США. Статьи ее авторства публиковали в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Уолл Стрит Джорнал» и «Нью Репаблик»; она частый гость на радио и телевидении. Живет в Вашингтоне с мужем и двумя детьми.

www.azarnafisi.com

МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ ЛАЙВЛИБА»
ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕМИИ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Азар Нафиси

ЧИТАЯ «ЛОЛИТУ» В ТЕГЕРАНЕ

Перевод Ю. Змеевой



Выдающийся документальный роман, заслуженно получивший мировую популярность. Книга о том, как политика вторгается в личную жизнь человека, и о жажде свободы, которую невозможно уничтожить. Правдивая история, наполненная поразительными деталями, — взгляд изнутри на существование в стране-изгое.

Азар Нафиси, дочь бывшего мэра Тегерана, получившая образование в Америке, возвращается на родину, чтобы преподавать иранским студентам зарубежную литературу. Исламская революция рушит все планы, и занятия превращаются в тайные собрания. В то время как стражи порядка устраивают рейды по всей стране, фундаменталисты захватывают университеты, а цензура душит искусство, девушки в гостях у Нафиси безбоязненно снимают хиджабы и вдохновенно погружаются в миры Джейн Остин, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Владимира Набокова.



Азар Нафиси
О ЧЕМ Я МОЛЧАЛА

Мемуары блудной дочери

Популярное издание

Перевод с английского Юлии Змеевой

Редактор Дарья Ивановская

Корректор Валентина Матюшкина

Верстка Светланы Зорькиной

Подписано в печать 27.02.2024.

Печать офсетная.

Книга напечатана на книжной бумаге Mondi.

Кремовый оттенок бумаги обеспечивает удобство чтения.

Формат 84×108/32. Объем 29,4 усл. п. л.

Тираж 3000 экз. Заказ №

ООО «Издательство «Лайвбук»

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1 – 2

По вопросам оптовых закупок

обращайтесь по электронному адресу

tatiana@livebooks.ru и тел. +7 (495)114-52-45

Все книги издательства

можно приобрести в магазине редакции по адресу:

Москва, ул. Большая Ордынка, д. 13/9, стр. 1, под. 2, оф. 9

и на сайте livebooks.ru. Тел. +7 (495)114-52-45

Ищите нас в социальных сетях:

[www.vk.com/livebookph](https://vk.com/livebookph) и др.,

а также в Телеграме: <https://t.me/livebooks>